

K50³/₂₅

K50³/₂₅

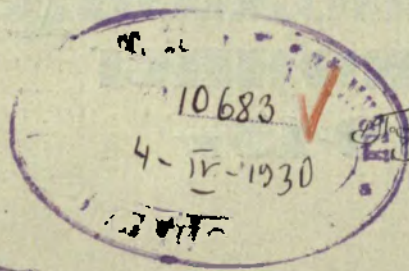
249

"ДЕНЬ НЕЧАТН"
ИЗДАНИЕ



СБОРНИКЪ НА ПОМОЩЬ
ЖЕРТВАМЪ ВОЙНЫ
МОСКВА 1945 г.

Обложка, книга, вкладные рисунки по меццо-тинто и 2 хромо-
типографских печатались в мастерских Т-ва А. А. Левен-
сонъ, 3 хромо-типографских в мастерских Т-ва Н. Д.
Сытина, 1 хромо-литографски в мастерских Т-ва Н. Н.
Кушнера и поты в потопечатнѣ Н. Н. Юргенсона.



*Александръ Александровичъ Левенсонъ
Николайъ Давидовичъ Сытинъ
Николайъ Николаевичъ Кушнеръ
Николайъ Николаевичъ Юргенсонъ*

КЛИЧЪ.

Подъ редакціей П. А. БУНИНА, В. В. ВЕРЕСАЕВА, Н. Д. ТЕЛЕШОВА.

Художественный отдѣлъ подъ наблюдениемъ
А. М. ВАСНЕЦОВА и В. В. ПЕРЕПЛЕТЧИКОВА.

УЧАСТВУЮЩІЕ:

Авилова Л. А. — Айзманъ Д. Я. — Андреевъ Л. Н. — Арсеньевъ К. К. —
Ашукинъ Н. С. — Балтрушайтисъ Ю. К. — Бальмонтъ К. Д. — Баранце-
вичъ К. С. — Батюшковъ О. Д. — Бибииковъ А. Н. — Блокъ А. А. —
Бродскій И. И. — Брюсовъ В. Я. — Бѣлоусовъ И. А. — Бунинъ И. А. —
Васнецовъ В. М. — Васнецовъ Ал. М. — Василенко С. И. — Вереса-
евъ В. В. — Веселовскій Ю. А. — Вильде Н. Н. — Виноградовъ С. А. —
Вяткинъ Г. А. — Гальперинъ М. П. — Гиляровскій В. А. — Глаголь С. С. —
Глазуновъ А. К. — Гречаниновъ А. Т. — Грузинскій А. Е. — Давы-
довъ Н. В. — Елиатьевскій С. Я. — Е. И. — Зайцевъ Б. К. — Ива-
новъ Вяч. И. — Ипполитовъ-Ивановъ М. М. — Карзинкина Е. А. —
Каревъ Н. — Коинъ А. О. — Кондурушкинъ С. С. — Корещенко
А. Н. — Крашенинниковъ Н. А. — Кругликова Е. С. — Ладъженскій
В. П. — Лысенко А. В. — Мамонтовъ С. С. — Мушкетеръ Л. Г. —
Нелидова Л. Ф. — Нестеровъ М. В. — Пастернакъ Л. О. — Пап-
ковъ Г. П. — Переплетчиковъ В. В. — Петровскій А. И. — Петров-
скій П. Н. — Полѣновъ В. Д. — Пришвинъ М. М. — Рахманиновъ
С. В. — Рѣпинъ И. Е. — Серафимовичъ А. С. — Скрябинъ А. Н. — Со-
логубъ О. К. — Степановъ А. С. — Сургучевъ И. Д. — Сухотинъ
П. С. — Тардовъ В. Г. — Телешовъ И. Д. — гр. Толстой И. Л. — Тре-
невъ К. А. — Тулубъ З. П. — Тулубъ П. А. — Цатурянъ А. Г. —
Черемновъ А. С. — Чумаченко А. А. — Шанксъ Э. Я. — Ширяе-
въ А. — Шкляръ Н. Г. — Шмелевъ И. С. — Щенкина-Куперникъ
Т. Л. — Оедоровъ А. М. — Экъ Е. М. — Яблочковъ Г. А.

Неизданныя стихотворенія гр. О. Л. Соллогуба. Сцены В. А. Слѣпцова.
Письмо А. П. Чехова.

Все участвующіе въ сборникѣ—писатели, художники и композиторы—дали свои произведенія
безвозмездно; издательскія, книжныя, бумажныя и типографскія фирмы по подпискѣ приняли
на себя расходы по напечатанію книги, потъ и рисунковъ; редакціи газетъ и журналовъ
помѣщаютъ бесплатно объявленія, поэтому вся вырученная отъ продажи сборника «КЛИЧЪ»
сумма поступаетъ полностью

НА ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМЪ ВОЙНЫ.

ПОКОЙ.

Не спится. Думается.

На окнѣ забыли спустить штору и сквозь запотѣвшее стекло мутно блѣтается свѣтлая, холодная, осенняя ночь.

Не видишь, но знаешь: высоко-высоко забрался мѣсяцъ и залилъ свѣтомъ всю усадьбу. Свѣтло въ цвѣтникѣ съ опустошенными взрытыми клумбами, съ круглымъ бассейномъ, въ которомъ тонкимъ ледкомъ задернуло воду. Свѣтло на дорогѣ, надъ которой стоятъ пушистыя, полупрозрачныя лиственницы и съ тихимъ звономъ роняютъ свои золотыя иголки на мерзлую землю.

Свѣтло на выгонѣ за воротами, гдѣ около забора стоитъ бѣлая скамейка подъ ярко-бѣлой березой и ложатся черныя тѣни по побѣлѣвшей отъ мороза травѣ. Свѣтло на дворѣ, гдѣ всѣ окна и двери службъ закрыты, и крѣпко спитъ ярко освѣщенный луной сторожъ Дмитрій, сидя на ступенькѣ крыльца и плотно завернувшись въ чуйку. Выше, на крыльцѣ, спятъ собаки. Всюду свѣтло, тихо и неподвижно.

Не спится. Думается.

Въ комнатѣ слишкомъ жарко натопили печь. Отъ нея пышетъ. Какая-то безпокойная муха носится по комнатѣ и жужжитъ. Подъ умывальникомъ скребется мышь, а среди пола неподвижно лежитъ какой-то маленькій темный комочекъ. Что это? Не поймешь.

И вдругъ въ тишину врывается далекій, длительный, гармоничный звукъ и вслѣдъ за нимъ постепенно нарастаетъ что-то тревожное и все близится, все усиливается. Въ свѣтлое пятно окна ничего не видно, но кажется, что вся ночь потрясена и что золотыя иголки лиственницы уже не каплютъ, какъ роса, а льются шумнымъ водопадомъ.

Но тревожное начинаетъ спадать, затихать, удаляться. Это прошелъ ночной поѣздъ, проскользнулъ темной змѣйкой среди залитыхъ луннымъ свѣтомъ спокойныхъ, таинственныхъ полей. Замедлилъ ходъ у полустанка, зябко дремлющаго у опушки лѣса и, тусклый, сонный, переполненный тусклыми сонными людьми, покатился дальше.

Пріятно чувствовать себя дома, въ своей постели, а не въ вагонѣ, гдѣ тѣсно, душно, гдѣ плачетъ ребенокъ, кашляетъ старуха и непрерывно, рѣзко хлопаетъ дверь.

Но не спится. Думается.

Нельзя забыть, что это послѣдняя привычно-одинокая ночь. Завтра, въ эту же пору, почной поѣздъ не промчится мимо безслѣдно: когда его тревожный шумъ начнетъ спадать, затихать, удаляться, на платформѣ полустанка, у опушки лѣса, останется какая-то тѣнь прошлаго, съ незнакомымъ забытымъ лицомъ. Что она скажетъ? Что она сдѣлаетъ? Какъ она объяснитъ свой пріѣздъ?

Какъ она потомъ войдетъ въ этотъ домъ, который не видалъ ее больше 20-ти лѣтъ? За этотъ срокъ измѣнилась вся жизнь. Теперь въ этомъ большомъ домѣ всѣ комнаты, кромѣ этой, пусты. Нѣтъ матери. Умерла и Вѣрочка, жена. Были дѣти, не стало и дѣтей: выросли, разбрелись... Только за перегородкой въ передней, на сколоченной изъ досокъ кровати, попрежнему спитъ старый Савельичъ, а у изголовья его, на столѣ, разбросаны платиныя и сапожныя щетки и стоитъ открытая банка съ ваксой. Савельичъ рассказываетъ, что каждую ночь по его головѣ бѣгаютъ крысы и такъ гремятъ посудой, которую онъ, немытой, оставляетъ на ларѣ, что приходится думать, что это не просто крысы, а какъ бы знаменіе. Не было бы въ домѣ бѣды! Такихъ смѣлыхъ крысъ еще никогда не бывало.

И вотъ завтра, въ эту же пору, неизвѣстно зачѣмъ и почему, прямо съ прекраснаго, далекаго юга, пріѣдетъ почти забытая, почти незнакомая особа: сестра Елена.

Но что же это лежитъ среди пола? что-то темное, маленькое, неподвижное? Надоѣло догадываться и приходится чиркнуть спичкой и посмотреть.

Увядшая, потемнѣвшая отъ мороза, мертвая астра...

Ляля сама наливаетъ себѣ чай и руки ея дрожать. Она въ дорожномъ костюмѣ удивительно пзящиаго покроя и такъ молода, красива, бѣлокура и стройна, будто ей не переставало быть 20 лѣтъ. Она рассказываетъ брату о томъ, какъ много она путешествовала, сколько интереснаго видѣла, а онъ ходитъ по комнатѣ взадъ и впередъ и съ раздраженіемъ чувствуетъ стыдъ за свою наружность, за свой костюмъ, за то, что домъ запущенъ и неопрятенъ, самоваръ давно не чищенъ, а Савельичъ возмутителенъ съ ногъ до головы. Все, что говоритъ сестра, раздражаетъ его и мучитъ, какъ скрытый упрекъ. Конечно, даже для своихъ лѣтъ, онъ слишкомъ постарѣлъ, опустился. Но сознаетъ это въ первый разъ.

— Ну, а я...—говоритъ онъ и натянуто улыбается,—я бы въ твоей заграничѣ и дня не могъ бы прожить. Ты меня извини, но я бы не могъ.

Она кротко удивляется.

— Но почему?

— Да не симпатично мнѣ это, не по нутру, лживо, напыщенно, пошло, пусто...

Онъ такъ мучительно волнуется, что плохо владѣетъ собой и ему самому противно, что онъ такъ нервенъ, не сдержанъ и, какъ ему кажется, неопрятенъ, какъ Савельичъ.

Сестра не понимаетъ и виновато улыбается. Она и робка, какъ дѣвочка. На полустанкѣ она чего-то испугалась. Испугалась пустоты, тишины, мертвепаго луннаго свѣта. Всю дорогу до дома ѣхала и дрожала. И теперь она пугливо оглядывается и настороженно прислушивается.

— Что это?



Пересвѣтъ и Ослябя

В. М. Васнецовъ.
Пересвѣтъ и Ослябя.



— Савельичъ что-нибудь уронилъ.

— А теперь?

— Собака лаетъ.

Брату хочется сказать сестрѣ. «Сдѣлай одолженіе, презирай меня, презирай!» И бесѣда тянется вяло и пятапуто, а послѣ чая онъ сейчасъ же ведетъ гостью въ ея комнату.

Тамъ горитъ только одна свѣча. Пламя колыхается, и по голымъ стѣнамъ пляшутъ уродливыя тѣни. Неуютно и пусто.

Онъ замѣчаетъ на полу дорогія дорожныя вещи и вдругъ вспоминаетъ, что не позаботился о прислугѣ: кромѣ Савельича, по обыкновенію, никого нѣтъ.

— Обойдешься сегодня безъ горничной?—угрюмо спрашиваетъ онъ.— Знаешь, жизнь моя несложна... Забываю, что для другихъ далеко не такъ просто одѣться, раздѣться, поѣсть. Ты меня извини.

— Что ты! Зачѣмъ? Я не хочу причинять тебѣ никакихъ хлопотъ,—торопливо отвѣчаетъ Елена. И стоитъ среди комнаты растерянная, оглядывается, прислушивается.

— Чья это была комната?—спрашиваетъ она.—Вообрази, забыла.

Но вдругъ на лицѣ ея изображается ужасъ.

— А здѣсь пѣтъ мышей? Кажется, въ деревнѣ осенью всегда мыши?

Послѣ ухода брата она нерѣшительно подходитъ къ окну, поднимаетъ занавѣску и смотритъ.

Высоко забрался мѣсяцъ съ едва замѣтнымъ ущербомъ и залилъ свѣтомъ всю усадьбу. Пустой цвѣтникъ похожъ на кладбище съ свѣжими могилами, еще не обложенными дерномъ. Неподвижны прозрачныя деревья. Надъ дорогой подѣзда стоятъ стройныя пушистыя лиственницы и кажется, что на ихъ верхушкахъ вдали разсыпаны звѣзды. Какая-то бѣлая фигура медленно-медленно идетъ по этой аллеѣ...

Съ испугомъ задерживаетъ она занавѣску, опять оглядывается, прислушивается и въ изнеможеніи падаетъ на кровать.

День ясный и холодный. Воздухъ такъ прозраченъ, что видно, какъ блеститъ крестъ на церкви сосѣдняго села. Ворона въ саду, завозившись на деревѣ, обламываетъ и роняетъ на землю сухую вѣтку и кричитъ «кра-а». Ляля, которая стоитъ на балконѣ, вздрагиваетъ отъ испуга и смѣется.

— Прекрасно!—говоритъ она брату.—Нѣтъ, правда, прекрасно!

Онъ беспокоится о томъ, что ей не удалось отдохнуть. Теперь, при дневномъ свѣтѣ, онъ пораженъ ея худобой, ея хрупкостью, ея болѣзненнымъ видомъ. Наканунѣ ему казалось, что она почти не перемѣнилась, теперь онъ видитъ, что перемѣна ужасная, что сестра, дѣйствительно, только тѣнь прошлаго.

Вся она закутана въ длинное, драпированное манто и мѣха и все-таки, дрожитъ отъ холода.

— Пройдемся?—предлагаетъ онъ ей и съ безпокойствомъ спрашиваетъ.

— Ты можешь ходить?

Она осторожно спускается по ступенямъ балкона.

— Какъ это странно и неестественно—такой просторъ,—говоритъ она и смѣется.—Миѣ все хочется спросить: гдѣ же люди? Что случилось, что нѣтъ людей?

И замѣтивъ, что братъ отвернулся и нахмурился, она спохватывается и лицо ея принимаетъ робкое, вповатое выраженіе.

— Ты расскажешь мнѣ про всѣхъ?—вкрадчиво проситъ она.—Развѣ я могла не помнить и не любить... вдали? И я оплакивала твои... наши потери не меньше, чѣмъ сдѣлала бы это здѣсь, Вася.

Братъ хмурится и молчитъ. Она чувствуетъ, что опъ не вѣритъ ей и знаетъ, что онъ правъ, но ей это больно и обидно.

А онъ идетъ рядомъ съ ней, угрюмый, связанный въ каждомъ своемъ движеніи отъ сознанія, что опъ не одинъ, отъ непривычки къ обществу, отъ недовольства собой, отъ неловкости за себя, и въ его дунѣ тоже боль и обида. Отчего онъ связанъ и неловокъ? Съ самаго пріѣзда сестры онъ, почему-то, утратилъ свое спокойствіе, взглянулъ па себя и на все окружающее другими глазами и все осудилъ. Онъ привыкъ къ своей жизни въ одиночествѣ и въ этой жизни была тишина, свобода, отрѣшенность отъ окружающаго и какая-то своеобразная, но глубокая и почти радостная полнота. Съ пріѣзда сестры онъ самъ замѣчаетъ только неоприятность, распушенность, одичаніе своей жизни и боль, стыдъ и раздраженіе въ своей душѣ. Будто и самой души не стало совсѣмъ, а остался какой-то болѣзненный и истрепанный комокъ нервовъ и вотъ лежитъ опъ въ груди и болитъ. И нѣтъ привычныхъ чувствъ, нѣтъ привычнаго настроенія. Все нарушено и уничтожено ея же присутствіемъ, а она не можетъ не осудить его и не жалѣть. Какъ сказать ей, что она не имѣетъ права осуждать и жалѣть?

Они идутъ по длинной аллеѣ сада и желтые, сухіе листья шуршатъ подъ ихъ ногами. Чтобы не молчать, онъ рассказываетъ ей о тѣхъ, кого не стало, а она плачетъ. Плачетъ тихо, беззвучно, стыдливо вытирая слезы и, зная, что онъ не понимаетъ этихъ слезъ, не вѣритъ имъ.

Въ концѣ сада они останавливаются и долго стоятъ молча и смотрятъ. Надъ пашней летятъ грачи, а далеко, по черной дорогѣ, тащится обозъ. Его еле видно, потому что онъ далеко, но ясно слышно, какъ скрипятъ колесо и какъ перекликаются голоса мужиковъ. А на самомъ горизонтѣ стоитъ лошадь и ея силуэтъ такъ четокъ, точно онъ нарисованъ па фопѣ неба.

Ляля не понимаетъ, зачѣмъ они тутъ стоятъ и на что смотрятъ. Все пусто, безцвѣтно, безжизненно, уныло... Она утомилась и охотно присѣла бы гдѣ-нибудь на солпышкѣ, на припекѣ. Она робко оглядывается на брата и въ первый разъ видитъ па его лицѣ выраженіе спокойной, ясной задумчивости. Онъ какъ будто забылъ, что не одинъ. Отъ этой отчужденной ясности неприятно, даже немного жутко. О чемъ можно думать съ такимъ лицомъ?

Но коротки осенніе дни.

Вечеромъ въ столовой трещитъ каминъ. Лампу не зажигали.

Ляля, закутанная въ мѣха, лежитъ па кушеткѣ и лицо ея нылаетъ отъ лихорадки и отъ отблеска огня.

Ей опять страшно: гдѣ она? Зачѣмъ? До чего чуждо ей все кругомъ, и этотъ братъ, и этотъ домъ, и эта мертвая тишина усадьбы...

Ей представляется, что она можетъ разболѣться здѣсь и умереть и тогда сердце ея замираетъ отъ ужаса. Это не мысль, а кошмаръ. Ей хочется вкочить, спастись бѣжать... И она не можетъ постичь, какъ она могла рѣшиться па эту поѣздку и не можетъ повѣрить, что ей еще удастся вырваться отсюда и вер-

нутъся къ своей прежней, привычной жизни. Вернуться, хотя бы не на долго, хотя бы на годъ, на мѣсяць, даже на нѣсколько дней.

Ея братъ ходитъ по комнатѣ взадъ и впередъ за ея спиной и говоритъ. О чемъ онъ говоритъ—она не слышитъ. Это тоже чуждо, непонятно и страшно. Уже за обѣдомъ, который и готовилъ и подавалъ Савельичъ, и къ которому она едва могла прикоснуться отъ отвращенія и безгливости, онъ началъ объяснять ей, что для него вся обстановка жизни только бремя, которое онъ съ облегченіемъ сбросилъ съ плечъ. Теперь онъ одинокъ и имѣетъ право жить такъ, какъ ему хочется и какъ ему пріятно. а пріятно ему не зависѣтъ ни отъ чего окружающаго, освободить свою душу отъ мелочей. Онъ пытался доказать ей, что онъ нашелъ какой-то необычайный, завидный исходъ, при которомъ все горе жизни, все ея неудачи, обиды и даже страданіе и одиночество обращаются въ покой и радость, что этотъ исходъ доступенъ всеѣмъ и не только доступенъ, но и необходимъ и что, если старость людей не самое прекрасное время жизни, то только оттого, что люди не хотятъ этого исхода, боятся его, какъ предвѣстника смерти и неестественно кончаютъ жизнь, не отрѣшившись отъ нея, не освободивъ отъ ея путь своей души. И вотъ онъ опять говоритъ-говоритъ и что-то оправдываетъ и что-то доказываетъ и защищаетъ, а Ляля все кажется, что онъ сейчасъ, въ отчаянш, ударится головой о стѣпу и закричитъ, что и такая боль—наслажденіе.

Дрова трещать въ каминѣ, лицо горитъ и сердце начинаетъ колотиться сперва сильно и медленно, потомъ все скорѣй и скорѣй... Невозможно больше оттягивать рѣшительную минуту. Надо сейчасъ же, немедленно сдѣлать то, зачѣмъ она сюда пріѣхала, а завтра, съ первымъ же поѣздомъ, бѣжать, спастись... Еще одинъ такой день и, пожалуй, будетъ поздно.

И, прерывая его, она тихо, робко зоветъ:

— Вася!

— Радости жизни,—говоритъ онъ,—должны соответствовать возрасту людей, и тѣ радости, которыя уже не соответствуютъ, метятъ за себя и даютъ только муку и въ этомъ указаніе и путь. Книги, мысли, природа, тишина...

— Вася!

Его голосъ и шаги сразу смолкаютъ.

— Слушай! — говоритъ Ляля прерывающимся отъ волненія голосомъ.— Вотъ что мнѣ надо тебѣ сказать... Вотъ зачѣмъ я пріѣхала...

Онъ неподвиженъ, а она долго и съ трудомъ переводитъ дыханіе.

— Я знаю и не обманываю себя,—вдругъ твердо говоритъ она,—мнѣ очень недолго жить. Можетъ быть, и ты видишь? Я очень больна...

Она умолкаетъ, а онъ идетъ на цыпочкахъ и осторожно садится у ея ногъ. Огонь изъ каминна теперь освѣщаетъ его лицо и оно серьезно и строго.

— Видишь?—замирающимъ отъ страха и надежды голосомъ спрашиваетъ она.

Онъ медленно киваетъ головой.

— Вижу.

Ей становится душно и она откидываетъ мѣхъ на груди, и, поднявъ глаза къ потолку, видитъ, какъ прыгаютъ и извиваются по немъ безпокойныя тѣни.

— Ляля! Можетъ быть я не правъ, что такъ прямо и откровенно отвѣтилъ?—спрашиваетъ братъ.

— Все равно,—тоскливо отвѣчаетъ она.—Даже... тѣмъ лучше. Легче просить... Слушай: дашь ты мнѣ денегъ? столько, сколько мнѣ надо до моей смерти? Не бойся, не такъ ужъ много... Я тебѣ верну.

Онъ удивленно поднимаетъ голову и глядитъ на нее.

— Я тебѣ верну,—нетерпѣливо продолжаетъ она.—Я прожила все, все, кромѣ своихъ драгоценностей, но вещей у меня много. Одно мое кольцо... Я напишу духовное завѣщаніе... Я могла бы все продать, или даже заложить и мнѣ бы хватило... Но, пойми, я не могу съ ними разстаться. Это была бы уже не жизнь.

— Это была бы уже не жизнь?—переспрашиваетъ онъ.

— О, конечно! Ну, да... ты не поймешь. Но вѣдь я говорю не о твоей жизни, а о своей. Вѣрь.

И поднимаясь и роняя на полъ свои мѣха, она протягиваетъ къ нему руки и молить.

— Вася, не откажи мнѣ! Слушай: мнѣ такъ мало осталось жить и то, что осталось, теперь для меня такъ дорого, такъ... необходимо. Такъ жадно мнѣ хочется жить, Вася! и жить красиво, жить такъ, какъ я умѣю, какъ я люблю. Никогда, понимаешь ли, никогда, никогда мнѣ не было такъ дорого каждый день, каждый часъ, п если бы ты зналъ, о, если бы ты зналъ...

Она закрываетъ лицо руками и плачетъ, но въ этихъ слезахъ что-то непонятно поражаетъ и отталкиваетъ ее брата. Такъ не плачутъ отъ скорби или страха смерти.

— Что,—если бы я зналъ?—глухо спрашиваетъ онъ.

— Какъ прекрасна жизнь!—со вздохомъ упоенія отвѣчаетъ она.—Ты не можешь знать... Многие не знаютъ... У людей часто... эта суровость, сухость... будни эти, даже въ любви, требовательность и къ себѣ и къ другимъ, правила... Я не знаю, что! Все это мѣшаетъ, блѣднитъ жизнь. Вотъ ты говоришь возрастъ... Но если я, въ своемъ возрастѣ, умѣю такъ жить, какъ никогда не умѣла? Если я, даже благодаря своему возрасту и опыту, создала пзъ своей жизни новую красоту и радость, о которой раньше не имѣла понятія? Я всегда любила роскошь, но почему-то я только окружала себя ею, пользовалась ею. Теперь я создаю ее. Это непонятно? У меня своя роскошь, неотдѣлимая отъ меня, слитая со мной. Но развѣ ты не понимаешь, что она была бы мертва, холодна безъ любви? И меня любятъ и я люблю. Это сказка! это волшебный сонъ! И когда я умру, это не смерть придетъ, безобразная, отвратительная,—это порвется струна... Ахъ, только бы скорѣй, скорѣй пазадъ! Боже мой, подумать, какъ я далеко!—Она нагибается, поднимаетъ съ полу свои мѣха, опять закутывается въ нихъ и большими блестящими глазами глядитъ на огонь.

Братъ сидитъ у нея въ погахъ, сгорбленный, поникшій, съ нахмуреннымъ лбомъ.

— Боже мой, какъ я далеко!—съ ужасомъ повторяетъ Ляля и вдругъ страшное безпокойство еще шире раскрываетъ ее глаза.

— Но ты завтра отпустишь меня? Ты пообѣщаешь мнѣ денегъ и вышлешь ихъ? Ты обѣщаешь? да?

Онъ молчитъ.

— Ты, можетъ быть, не вѣришь мнѣ, что все мои драгоценности цѣлы? Но часть ихъ здѣсь, со мной. Я не могла привезти все, я боялась. Что сдѣлать, чтобы ты мнѣ вѣрилъ? Мнѣ раньше не приходило въ голову, что ты можешь мнѣ

не повѣрить. Ты скажи мнѣ все, что ты хочешь и какъ ты хочешь. Но не думаешь же ты, что я обманываю? У меня состояніе въ драгоцѣнностяхъ. Понимаешь? состояніе! Я могу написать завѣщаніе. Что я могу еще?

Онъ молчитъ.

— Вася! — испуганно, съ отчаяніемъ и мольбой тихо говоритъ она. — Неужели ты мнѣ откажешь? Тогда убей меня лучше сейчасъ. Тогда ужъ лучше убей... Вернуться мнѣ тогда нельзя.

Она вся дрожить.

Въ домѣ мертвенно тихо и только вдали слышенъ какой-то неясный шорохъ. Это гдѣ-то возится или Савельичъ, или крыса.

Въ каминѣ съ шумомъ разваливается обгорѣвшее полѣно и нѣсколько красныхъ угольковъ падаетъ на полъ, на желѣзный щитъ.

Ляля такъ скована ужасомъ, что у нея уже нѣтъ силъ говорить. Она медленно поворачиваетъ голову и зарывается лицомъ въ подушку. Но всеѣмъ существомъ своимъ она прислушивается, чутко и жадно.

— Я не могу еще опомниться, и понять, — наконецъ глухо говоритъ ея братъ. — Ты сейчасъ говорила о сухости и суровости. Я не хочу быть ни суровымъ, ни сухимъ, ни даже... требовательнымъ. Осудить тебя?... Нѣтъ! ты не думай. Но я хочу только убѣдиться: я вѣрно понялъ смыслъ? Ты ждешь своей смерти, скоро, очень скоро, и для нея тебѣ нужны мишура, ложь, угаръ, опьяненіе? Ты считаешь смерть безобразной и отвратительной и хочешь нарядить ее въ тѣ же пестрые тряпки, которыми ты украшала свою жизнь? Обманешь ли ты себя, Ляля? Быть можетъ, послѣдній взглядъ человѣка, брошенный на этотъ міръ, произвольно открываетъ ему ту истину, которую онъ никогда не хотѣлъ видѣть и знать. Что ты тогда увидишь? Какой ужасъ ты испытаешь и унесешь? Можетъ быть, ты не думала объ этомъ? Можетъ быть... не такъ жестоко, какъ необходимо, чтобы ты теперь же поняла, какъ унижительно и ужасна твоя слѣпота?

Ляля быстро поворачиваетъ голову.

— Слепота? — спрашиваетъ она.

Братъ отворачивается и первое выгибаетъ пальцы.

— Какая сказка? какой сонъ? — отрывисто спрашиваетъ онъ. — О какой «любви» ты говорила? Ты, пожилая, больная, умирающая женщина. И не тебѣ, бѣдной, нужны эти деньги, за которыми ты ѣхала десятки тысячъ верстъ, а кому-то другому...

Онъ машетъ рукой и умолкаетъ. И опять водворяется жуткая, мертвенная тишина.

— Это — ваша правда, — вдругъ утомленно, обиженно и съ дрожью возмущенія въ голосъ говоритъ Ляля. — О, да, я узнаю эту правду! Правда этого голага, безобразнаго дома, полнаго крысъ; правда этихъ скучныхъ, унылыхъ полей, надъ которыми бьются полуголодные, дикіе люди; правда такихъ людей, какъ ты, которые убиты жизнью и метягъ ей тѣмъ, что отрѣшаются отъ нея; правда фанатика, правда изувера. Но это не правда! нѣтъ! Ты говоришь: «это не такъ жестоко, какъ необходимо». Это потому, что жестокость тебѣ необходима! и для тебя и для другихъ. Если вы не будете жестоки къ себѣ и другимъ, у васъ не будетъ смысла жизни. Ты съ чувствомъ исполненнаго долга сейчасъ унижилъ и раздавилъ меня, потому что «можетъ быть, послѣдній взглядъ человѣка на жизнь» ... Можетъ быть! Зачѣмъ вы живете, если жизнь вамъ такъ противна? Зачѣмъ вамъ

спасать свои души, если эти души любят только страдание, а не радость, не во-сторгъ, не красоту? Ваша правда... Ваша правда...

Онъ слушаетъ молча и неподвижно, но когда ея голосъ обрывается отъ утомленія и слабости, онъ встаетъ и опять начинаетъ ходить за ея спиной. Въ комнатѣ темпо, а въ каминѣ только гряда красныхъ угольевъ и пепла. Плачетъ Ляля? Ничего не слышно.

— Сегодня ты слишкомъ утомлена,—спокойно говоритъ онъ,—а завтра мы подробно переговоримъ обо всемъ, какъ и что я могу для тебя сдѣлать. Будь покойна, Ляля. Все будетъ такъ, какъ ты хочешь. Все...

Не спится. Думается. Только что прошелъ ночной поѣздъ, всколыхнулъ тишину и замеръ вдали. Гдѣ-то далеко-далеко теперь мчится еще другой поѣздъ и тамъ, на мягкой постели купе международнаго вагона безспяно покоится измученное тѣло Ляли. Насколько сократитъ ея и безъ того недолгую жизнь это утомительное, бессмысленное путешествіе?

Передъ отъѣздомъ, радостная, благодарная, сияющая отъ счастья, она принесла ему цѣлую пачку фотографій и когда онъ разсматривалъ ихъ, она ея гордостью объясняла: «это я и мой другъ на террасѣ отеля», «это я и мой другъ на берегу моря», «это я и мой другъ на палубѣ парохода»... И лицо этого «друга» врѣзалось въ его памяти и теперь точно стоитъ передъ его глазами: очень молодое, очень красивое, очень... отвратительное ему. А она?.. Если бы это была не Ляля, сестра, родная жалкая, любимая, больная, близкая, несмотря ни на что, развѣ бы онъ тоже не нашелъ и ее отвратительной въ ея невпданныхъ имъ туалетахъ, которые не столько одѣвали ее, сколько позволяли ей быть раздѣтой такъ, чтобы это, все-таки, стоило очень дорого?

«Я здѣсь красива, не правда ли?»—спрашивала она.

А когда уже подали лошадей и она вышла на крыльцо, ей вдругъ бросился на глаза флюгеръ на колодцѣ; желѣзный всадникъ на желѣзномъ конѣ. Она увидела его и вскрикнула.

— Скажи!—точно въ испугѣ, быстро спросила она,—скажи! Это тотъ... старый? Это еще тотъ? который всегда?..

— Вспомнили, барышня!—засмѣялся Савельичъ.—Какъ же не тотъ? Тотъ и есть.

Тогда Ляля такъ же испуганно оглянулась и на Савельича и точно только теперь вспомнила и его.

И молча, плача, она обняла его и поцѣловала, а онъ тоже заплакалъ и бережно, слегка пошатываясь, свелъ ее съ крыльца къ экипажу и, подсаживая, поцѣловалъ рукавъ ея шубки.

И вотъ не спится. Думается. Мысли спутанныя. Въ чемъ онъ правъ? Въ чемъ онъ вшповать? Нужна ли жесткая, суровая правда? Убить онъ жизнь, или отрѣшился отъ нея самъ? Гдѣ эта граница, гдѣ жизнь перестаетъ быть душой и душа перестаетъ быть жизнью? Отчего такъ тяжело на душѣ? Такъ тяжело!

А за завѣшеннымъ окномъ сияетъ ночь. Стоятъ пушистыя, полупрозрачныя лиственницы, а надъ бѣлой скамейкой у забора ярко-бѣлая береза бросаетъ черную тѣнь на побѣлѣвшую отъ мороза траву.

Л. А в и л о в а.

УДАЧНЫЙ СЛУЧАЙ.

(Монологъ).

...— Яблоковъ, яблоковъ!.. Лимончики хороше... Яблоковъ, яблоковъ!.. Ой, какъ я усталъ... Боже мой, какъ я усталъ... Не держать ноги... Присяду на минутку, вотъ здѣсь, на камнѣ... Руки,—какъ будто ихъ ломомъ перебили... Бо сколько же вѣсу!.. Въ лѣвой корзинѣ полтора пуда яблокъ. Въ правой—двѣ сотни лимончиковъ... Положимъ, порядочно уже продалъ... Вѣдь ужъ часовъ пять какъ хожу и торгую,—стали корзинны легче... Ну, а все-таки, кости какъ поломавпыя... Старый вѣдь я... слабкопльный... А катаръ желудка? А одышка? А ревматизмъ?.. Охъ-охъ... Отдохнуть бы теперь, полежать бы на теплой лежанкѣ, согрѣть свои старыя кости... Уй-уй, какъ я озябъ!.. А вотъ, когда я вспомню, что со мной было на новый годъ, какую Богъ послалъ мнѣ удачу, то ужъ не надо мнѣ ни лежанки, ни отдыха, ничего... Такъ хорошо и весело становится на душѣ, что лучше всякой лежанки... Ой, что это было, что это было!..

Вотъ сижу, закрою глаза, начну себѣ представлять, какъ все это произошло, и въ сердцѣ у меня свѣтло дѣлается. Восходить въ сердцѣ солнце... Слава Богу!.. Слава Всевышнему на небѣ, что устраиваетъ опъ такія дѣла на землѣ... Знаете, Богъ никогда не оставляетъ человѣка. Онъ крѣпко поддерживаеъ людей, и не надо человѣку роптать! Конечно, на Бога надѣйся, а самъ не плошай. Если выпадетъ тебѣ удачный случай, то не надо зѣвать, и надо сейчасъ же воспользоваться и хорошенько его обработать. Я таки не зѣвалъ. Я таки очень замѣчательно все обработалъ... Знаете, какъ это было?.. Ой, охъ!... кости мои... поетъ спина... Видите ли, праздновали Новый годъ въ Дѣтскомъ саду... Тутъ у пасѣ на Слободкѣ устроили такой дѣтскій садъ, для маленькихъ дѣтей запасныхъ... Которыя дѣтки маленькыя, до десяти лѣтъ, а ихне отцы на войнѣ, такъ этихъ дѣтей мамыши приводятъ въ садъ, сами уходятъ на работу, а за дѣтьми въ саду смотрятъ, ихъ учатъ, кормятъ, моютъ,—все какъ слѣдуется. А вечеромъ матери приходять и забирають дѣтей къ себѣ... И тутъ бывають разныя дѣти—христіанскыя и еврейскыя, все вмѣстѣ. На войнѣ отцы все вмѣстѣ, а тутъ дѣти все вмѣстѣ.

Ну вотъ. На Новый годъ сдѣлали для дѣтокъ праздникъ... Ой! а мадамъ Гинзбургъ тутъ нѣту?... Ой, Боже мой!.. Если мадамъ Гинзбургъ здѣсь, то я же не могу рассказывать... Неловко... Нѣтъ здѣсь мадамъ Гинзбургъ?... Навѣрное нѣтъ?... Ну, такъ я буду говорить дальше.

...Сдѣлали очень большой парадъ, пригласили всѣхъ большихъ людей,— чиновниковъ, докторовъ, и которые въ банкѣ кассеры и бухгалтеры... Дамы, дамы!.. Можетъ триста дамъ!.. И многіе изъ приглашенныхъ, такъ они члены этого дѣтскаго сада, попечители, разные себѣ благотворители. Называется— «филаптропъ» ... Для этого праздника филаптропы пожертвовали разное угощеніе: кто конфетки, кто орѣхи, кто сладкій тортъ съ кишмишомъ, кто лимонадъ— газесъ... Ну, а кромѣ того дѣтямъ, конечно, полагается обѣдъ... Что на обѣдъ? Супчикъ. Пшенная каша. Мяса тоже кусочекъ,—обыкновенно!.. Такъ вотъ, тутъ какъ разъ и посылаетъ мнѣ Богъ удачный случай. Поживился я таки очень великолѣпно... Вдругъ, знаете, когда я узналъ, что готовится такой праздникъ, мнѣ какъ будто кто-то въ самое сердце говоритъ: «пойди и сдѣлай пожертвованіе... Пойди и сдѣлай пожертвованіе»...—Кому пожертвованіе?.. «Дѣтскому саду!»— Для чего пожертвованіе?— «Для дѣточекъ запасныхъ».—Какое пожертвованіе?— «Пару индюшекъ» ...

Что мнѣ вамъ сказать?

Человѣкъ всегда долженъ помнить о смертномъ часѣ. Ходишь съ корзинами по землѣ, ходишь, а потомъ ходитъ и пересталъ. Кончилась коммерція! Распродалъ свои яблоки, не распродалъ, а уже надо лежать... Я про это не забывалъ. И оттого потихоньку собиралъ себѣ на саванъ. Когда пришлетъ Господь за моей душой, не надо, чтобы у моей старухи были лишнія хлопоты. Пойти ей просить у людей на саванъ?.. Мало печалей и неприятностей семейству, когда покойникъ, такъ еще иди, саванъ добывай?.. И я потихоньку, отъ всѣхъ секретно, понемножечку копилъ на саванъ. Сегодня пятачокъ. Черезъ недѣлю гривенникъ. Потомъ опять двѣ копѣйки,—какъ по доходу!.. На Пасху два года будетъ какъ сталъ копить... Ну, а только тутъ я вдругъ и подумалъ: здравствуйте! саванъ—это таки очень пріятно. Но если угощеніе дѣточкамъ запасныхъ, то это поважнѣе... Тамъ уже какъ оно себѣ выйдетъ, а похоронитъ меня какъ-нибудь да похоронятъ. Такой мундиръ, другой мундиръ,—это ужъ тамъ будетъ видно. Но въ землю положить. А тутъ, пока что, надо накормить дѣтей. Это же тебѣ случай! Такъ не упускай его! Такъ не будь дуракъ и воспользуйся!..

И я забралъ себѣ накопленные для савана деньги и купилъ на базарѣ двѣ пары жирныхъ индюшекъ, и пришелъ въ дѣтскій садъ и объявилъ:

— Чтобы для дѣтей замѣчательное индюшечье жаркое!

Не понимаете сами развѣ? Конфетки, это конфетки. Лимонадъ, это тоже глупости, одна химика. А пужно, чтобы было серьезно. Чтобы не фити-мити, въ золотой бумажечкѣ карамелька, а чтобы таки съ подливкой.

— Хорошо!

Устроили этотъ праздникъ. Балъ. Понаѣхала публика. Которые въ мундирахъ, которые въ сюртукахъ. У всѣхъ золотые часы. Дамы!.. Ухъ... Въ шелковомъ, въ бархатномъ. На головѣ шляпы съ кружевомъ, муфты, турниора—страшенное дѣло!.. Былъ одинъ военный докторъ, эполеты—вотъ! Какъ ведро... Говорятъ рѣчи. Поздравляются, хлопаютъ въ ладошки,— «браво, браво» ... Дѣточекъ выстроили въ рядъ, и дѣти пѣли—ахъ, чисто музыка!..

Я тоже одѣлся какъ на пасху.— Думаете: не имѣю во что? Имѣю, имѣю!.. И штаны имѣю, и жилетку съ пуговицами, а до сапогъ недавно новыя головки придѣлалъ!.. Одѣлся я и тоже стою тамъ, гдѣ люди... Ахъ, одно наслажденіе! Такой случай! Стою и жду когда уже перестанутъ кричать «браво» и пачнутъ

И. Е. Рѣпинъ.

Портретъ Льва Николаевича Толстого.

Собственность Московскаго Литературно-Художественнаго Кружка.

Изъ письма И. Е. Рѣпина къ П. И. Бирюкову отъ 21 апр. 1913 г. о вариантѣ этого портрета, принадлежащаго Толстовскому Обществу въ Москвѣ:

...«Разумѣется, это не реальныя портреты, и съ этой стороны къ нимъ и подходитъ и примѣнять требованія строгаго портрета совсѣмъ не подойдетъ. Это уже: по ту сторону жизни»...



кормить дѣтей... Но еще говорятъ рѣчи. И который воспитанный докторъ, такъ онъ говоритъ рѣчь про мадамъ Гинзбургъ. Оттого что она въ этомъ саду первая благодетельница!.. Но только это самое дѣло мнѣ немножко и повредило моему обстоятельству. Чуть-чуть повредило... Тутъ пѣтъ мадамъ Гинзбургъ? Такъ я вамъ объясню секретъ...

Я съ моими корзинами проходилъ лѣтомъ по ея дачѣ. Дача—рай!.. И падо бы мнѣ, конечно, на задній дворъ, гдѣ кухня, а я едуру полѣзъ на главный ходъ, гдѣ цвѣтники, передъ верандой, гдѣ играють на фортепяно... Обыкновенно, сталъ кричать: «дыши, капдалупки сахарныя, дыши, дыни!..» Таки грубьяпство!.. Таки не падо было кричать, когда они себѣ играють на фортепяно. Только гдѣ были мои мысли? Я не подумалъ... А мадамъ Гинзбургъ за это дуже обидѣлась. Охъ, какъ обидѣлась.— «Уходи отсюдова!.. Дворникъ, дворникъ! зачѣмъ ты пускаешь сюда разносчиковъ!» Кричитъ... Ну, а тамъ собачка. Маленькая собачка, пустякъ, и хвостика пѣтъ... Только когда она услыхала, что такъ кричитъ мадамъ, то она тоже загавкала. Бросилась на меня... Маленькая, пустякъ, чего тамъ бояться? Но я что-то не люблю собакъ. Природа у меня такая. Маленькїи ли пуцыкъ, большой ли песъ, на четырехъ ногахъ, на двухъ,—я не люблю!.. Я бросился утекать. И ужъ не смотрю куда, а бухъ!—прямо черезъ цвѣты... Бо собака же. Бо за ноги же!.. И съ корзинами бѣгу... А уже я усталъ, ноги дрожать, не держатъ ноги... Зацѣпился и упалъ... Какъ упалъ? На грядку съ цвѣтами. А тамъ въ горшкѣ одинъ такой цвѣтокъ, говорятъ изъ Инди, —круглый какъ дыня и весь въ колючкахъ, торчатъ какъ иголки... Кактусъ. Кактусъ? Кактусъ. Но только замѣчательно разодралъ себѣ ладошку... Ну такъ и вышла неприятность... А тутъ, на парадѣ, смотрю: эта самая мадамъ Гинзбургъ первая распорядительница... Неловко мнѣ, страсть!.. Не знаю, куда дѣваться... Ну, только это же все равно. Однако, напередъ, гдѣ люди, я уже не могъ выйти. Стыдно. Я себѣ позади. Тутъ стоитъ публика, а позади я. Около двери. Въ прихожей... Я всегда въ прихожей... Только вы можете быть думаете, я ничего не видѣлъ?.. Видѣлъ, видѣлъ!.. Все что мнѣ падо, все видѣлъ!.. Какъ дѣточкѣ ѣли эти мои индюшки. Ай, какъ они ѣли!.. Прелесть!.. Чудо!.. Развѣ они когда до этого времени даже знали, что такое индюшки?..

Я вамъ говорю: смотрите на дѣточекъ, и тепло дѣлается на сердцѣ... Вы мнѣ скажете: «старый дуракъ! у тебя у самого дѣти, у тебя свои внуки есть, чего ты тутъ о чужихъ хлопчешь» ... Э, о своихъ внукахъ каждый хлопчетъ. И у моихъ внуковъ—дай Богъ имъ долго жить!—есть слава Богу и отецъ, и мать... Какіе они миллионники, понимаете сами, по—какъ-нибудь! Какъ-нибудь! А тутъ же отцы на войнѣ! Можетъ быть уже ранены, можетъ быть уже убиты... Ахъ Боже мой, какъ хорошо, когда для бѣдныхъ что-нибудь!.. Когда Богъ поможетъ тебѣ помочь!.. Потому что, знаете, вѣдь это такъ трудно: дѣлать добро!... Человѣкъ,—извините, не часто дѣлаетъ добро. Я тоже человѣкъ. И когда я дѣлаю добро? Вѣдь только о себѣ и о себѣ. А о другихъ... когда думаешь о другихъ? Все о своей кишкѣ. И все тебѣ мало. Сколько имъ ѣшь, все хочешь больше... Вотъ моя старуха, такъ ей вовсе хочется, чтобъ я уже цикорій пилъ! Ха-ха-ха!...—Графиня моя, цикорій съ молокомъ?— «Да, цикорій съ молокомъ» ... Иначе ей не выгодно. Такъ она, моя помѣщица воспитана, чтобы по праздникамъ ея мужъ непременно цикорій съ молокомъ... И правду сказать; мнѣ и самому тоже хочется цикорію... У—у, все въ свою кишку. Въ свою... Извергъ... Лучше же ты пойдѣ

посмотри, какъ дѣтки ищюшку ѣдятъ... Ахъ, какъ они ѣдятъ! Прелестъ! Антикъ... Какъ они довольны!.. Какія веселыя личики... Какъ щебечутъ... Эти глазки!.. Эти щечки... Эти набитые ротки... А сами пищать, галдятъ... И толкаются, и выхватываютъ другъ у друга... А волосенки на головѣ торчатъ, смѣшныя такія, ха-ха-ха, и пальчики жирныя. Смотришь и не можешь удержаться, и отъ радости слезы на глазахъ... А мадамъ Гинзбургъ—и у мадамъ Гинзбургъ тоже слезы, и она тоже смѣется отъ радости... Думаете—пѣтъ?... Ахъ, что это былъ за случай!.. Таки помогъ миѣ Богъ... И я благодарю Тебя, Господи! Благодарю Тебя, и прошу Тебя еще: не оставляй меня, поддерживай меня и таки учи меня...

...Вотъ я посидѣлъ... Вотъ я ветаю теперь. И вотъ уже не болятъ мои кости. И уже не сосеть въ груди. Отдохнулъ... Подумалъ о томъ, какъ веселы были дѣти, и ужъ я опять могу ходить... Ну-ка, корзиночка померъ разъ!.. Ну ка ты, померъ два!.. Ого, вы что-то совѣмъ легкя стали... Какъ будто дѣло уже къ вечеру и я уже распродалъ весь товаръ... И вовсе уже не такъ холодно миѣ,—тепленько стало... Ну, мои молодыя ноги, впередъ, маршъ!.. Идемъ... Иду... Спасибо тебѣ, Господи! Дай Богъ Тебѣ, Господи!

Яблоковъ, яблоковъ!.. Лимончики хороше... Яблоковъ вишшыхъ, яблоковъ!..

Д. А й з м а н ь.



НАПУТСТВИЕ.

Въ свой темный путь иди безъ страха,
Подвластный часу человекъ—
Твоя тревога не отъ праха,
Не отъ земли твой краткій вѣкъ...

Въ мигъ роковой, какъ въ мигъ случайный,
На всѣхъ распутьяхъ жизни, ты—
Слѣпой участникъ вѣчной Тайны,
Грань сокровенной полноты!

Цвѣтъ дней твоихъ, въ ихъ пестрой елавѣ,
Нылалъ и тлѣлъ Ея огнемъ—
Какъ вѣчный лигъ, взалкавшій яви
Въ скудельномъ образѣ твоемъ...

И ты въ игрѣ пустыхъ мгновений
И въ потѣ всѣхъ твоихъ трудовъ
Лишь ткалъ неизреченной Тѣни
Несовлекаемый покровъ...

Ея дыханіемъ беземѣннымъ
Цвѣтетъ въ мірахъ, какъ сонъ, какъ дрожь,
Все, что ты мѣтишь знакомъ браннымъ
И смертнымъ именемъ зовешь...

Ю. Балтрушайтисъ.

I

Р О Ж Д Е С Т В О .

Въ ночи звучащей и горящей,
Безшумно рухнувъ, мой затворъ,
Пронизанъ славой тверди зрящей,
Въ сквозной свивается шатеръ.

Лохмотья вѣтерокъ колышетъ...
Снять овцы; слушаетъ пастухъ,
Глядитъ на звѣзды: небо дышитъ,—
И слышитъ, и не слышитъ слухъ...

Воскресло ль зримое когда-то—
Предъ тѣмъ, какъ я родился, слѣшъ,—
И ребра каменнаго ската
Въ мерцаньи звѣздномъ, и вертепъ?..

Земля несетъ подъ сердцемъ бремя
Девятый мѣсяць—днесъ, какъ встарь...
Пещерою зияетъ Время...
Поютъ рождественскіи тропарь...

25 декабря 1914.



II

FINIS BELLONAE *),

Мѣдную мѣдные мчатъ жеребцы колесницу Беллоны
Мѣднымъ номостомъ временъ: стонетъ отгуломъ Земля.
Девять крылатыхъ побѣдъ адамантовый кремль отмыкаютъ;
Сорокъ серебряныхъ трубъ—«Ржавьте, мечи!»—дребезжать.

9 января 1915.

Вячеславъ Ивановъ.

*) Беллона—богиня войны.

М Л А Д О С Т Ь.

Пьеса Л. Н. Андреева.

Краткое изложение пьесы «Младость».

Въ провинціальномъ городѣ живетъ хорошая и дружная семья Мацневыхъ: отецъ, банковскій чиновникъ, Николай Андреевичъ, его жена, Александра Петровна и трое дѣтей. Самый младшій Васька-Васюкъ, приготовишка; скромная и милая дочь Надя, оканчивающая гимназію, и старшій—студентъ Всеволодъ, серьезный, красивый и печальный юноша. Томимый неясною тоскою и молодыми сомнѣніями въ смыслѣ жизни, онъ рѣшаетъ покончить самоубійствомъ; его другъ офицеръ Нечаевъ, некрасивый и мало образованный, но романтически благородный человѣкъ, присоединяется во имя дружбы и недовольства личной своей жизнью къ его рѣшенію. Почти наканунѣ двойного самоубійства, умираетъ внезапно отецъ Всеволода, и эта смерть разрушаетъ мрачный плапъ друзей: ужасъ смерти и страдающа близкиихъ, выведя юношу изъ круга личныхъ переживаній, рождаетъ сознаніе и чувство нерасторжимой и крѣпкой связи съ людьми и міромъ, пробуждаютъ чувство благоговѣнія передъ загадочной, но прекрасной жизнью. Кончается юность съ ея смутными томленіями и зовами и наступаетъ пора сознательной работы мысли.

Въ п е р в о й изъ предлагаемыхъ читателю сценъ «Смерть отца», дѣйствующія лица: жена умирающаго Мацнева, дочь Надя и докторъ Веревитинъ, добрый, нѣсколько опустившійся человѣкъ. Тетя Настя—сестра Мацнева, другъ всей семьи. Когда съ Мацневымъ случился ударъ, Всеволода не было дома, онъ отправился съ Нечаевымъ гулять за городъ и возвращается домой въ тотъ страшный моментъ, когда минуты жизни его отца уже сочтены.

В т о р а я сцена изображаетъ ту минуту тотчасъ послѣ похоронъ, когда взрослые и почтенные люди, родственники и друзья, сидятъ за поминальнымъ обѣдомъ, а молодежь собралась въ саду. Катя и Столярова—Падины подруги по гимназіи, Корневъ—гимназистъ.

Особое положеніе занимаетъ гимназистка Зоя Николаевна: въ нее влюблены оба друга, и Всеволодъ и офицеръ Нечаевъ, но въ борьбѣ великодушія уступаютъ ее, къ ея неудовольствію, другъ другу. Сама она любитъ Всеволода.

А в т о р ъ.

ТРЕТЬЕ ДѢЙСТВІЕ, ПЕРВАЯ КАРТИНА.

С м е р т ь о т ц а .

Небольшая столовая въ домѣ Мацневыхъ, за нею маленькая, проходная комната съ угловымъ диваномъ и запертая дверь въ спальню, гдѣ лежитъ умирающій Мацневъ. Душная июньская ночь, оба окна въ столовой открыты. Беспорядокъ.

Тихо. Въ столовой сидитъ съ какой-то книгой, но не читаетъ Надя; одѣта простенько, по домашнему, лицо блѣдное, глаза заплаканы и припухли. Въ угловой комнатѣ, не освѣщенной, молча сидитъ Александра Петровна; о ея присутствіи въ первую минуту не догадываешься. Изъ спальни, осторожно пріоткрывая и закрывая за собою дверь, выходитъ тетя Настя, идетъ тяжело, согнувшись; на минуту останавливается передъ золовкой. Надя испуганно прислушивается, отстраняя волосы съ уха.

Т е т я. Саша, а Саша—ты прилегла бы. И чего ты сидишь? А?

Молчаніе.

Т е т я. Ивась Акпычъ сказалъ, что до утра никакихъ переменъ не можетъ быть. Саша?

Не дождавшись отвѣта, тою же тяжелой походкой, согнувшись, проходитъ въ столовую; при свѣтѣ видно, что лицо ея также испугано и глаза заплаканы. Надя, вставъ, тревожно и съ готовностью смотритъ на тетку.

Н а д я. Ну что, тетя?

Т е т я. Ничего. Пойди, Надя, скажи Петру...

Н а д я. Сейчасъ!

Т е т я. Скажи Петру, чтобы льду помельче нарубилъ и принесъ.

Н а д я. Я знаю, тетя; больше ничего?

Т е т я. Ничего.

Надя быстро выходитъ. Тетя, опершись головой на руку, опустивъ глаза внизъ, стоитъ неподвижно до ея возвращенія по серединѣ столовой.

Н а д я. Онъ уже нарубилъ, сейчасъ принесетъ. А еще ничего не нужно?

Т е т я. Нѣтъ. Какъ Всеволодъ придетъ, скажи.

Н а д я. Хорошо, тетечка.

Той же тяжелой походкой возвращается въ спальню. На секунду останавливается передъ Александрой Петровной, и ничего не сказавъ, проходитъ. Отъ двери, уже взявшись за ручку, идетъ назадъ.

Т е т я. Надечка, а ты не ужинала? Поѣшь чего-нибудь.

Н а д я (быстро). Я не хочу, тетечка.

Тети уходитъ въ спальню. Надя на цыпочкахъ подходитъ къ двери въ угловую, боязливо выглядываетъ на мать и съ отчаяніемъ, прижавъ руки къ груди, возвращается на свое мѣсто. Прислушивается. Гдѣ-то сдержанные голоса. Быстро подходитъ къ двери и почти сталкивается съ вошедшимъ Всеволодомъ. Всеволодъ блѣдеетъ, волосы слегка прилипли къ мокрому лбу, по высокимъ запыленнымъ сапогамъ видно, что онъ гулялъ гдѣ-то за городомъ. Испуганъ, какъ всѣ.

В с е в о л о д ъ. Что съ напой? Мнѣ Петръ сказалъ. Что съ папой?

Н а д я. Севочка! (Плачетъ). Севочка!

В с е в о л о д ъ. Когда случилось?

Н а д я. Въ четыре, какъ разъ за обѣдомъ. Теперь онъ безъ сознанія, лежитъ на полу.

Всеволодъ. Почему на полу?

Надя. Тише, тамъ мама. Онъ проснитъ, чтобы его на полъ положили. Тамъ у него Веревитинъ. Севочка! (Плачетъ.)

Въ дверь нерѣшительно заглядываетъ Нечаевъ, также запыленный и испуганный.

Всеволодъ. Пустя, Надя, я пойду къ нему. Не плачь.

Идетъ. Навстрѣчу ему выходитъ изъ угловой, покачиваясь отъ горя и плача, Александра Петровна обнимаетъ его.

Александра Петровна. Отчего ты не приходилъ, Сева? Онъ звалъ тебя, отчего жъ ты не приходилъ? Какое у насъ горе, Сева, какое несчастье!

Всеволодъ. Mamочка! Mamочка!

Александра Петровна. Отчего ты не приходилъ?

Всеволодъ. Мы съ Нечаевымъ гуляли, были за городомъ. Мнѣ Петръ сказалъ. Mamочка! Я пойду къ нему.

Александра Петровна. Иди.

Всеволодъ быстро, но осторожно ступая, идетъ въ спальню, за нимъ медленно и все также пошатываясь плетется мать. Надя дѣлаетъ шагъ за ними, но останавливается и стоитъ въ позѣ отчаянія, приложивъ руки къ груди. Нерѣшительно входитъ Нечаевъ.

Нечаевъ. Надежда Николаевна! Какой ужасъ! Это я, это я. Мы гуляли съ Всеволодомъ, подходимъ къ дому, вдругъ чья-то лошадь стоитъ. Думали гости, и вдругъ Пегръ говорить... Какой ужасъ! Когда это случилось?

Надя. За обѣдомъ, мы обѣдали, въ четыре часа. Какое-то жаркое подали, а папа вдругъ улыбнулся и говорить, а у меня-то рука не дѣйствуетъ, должно быть Ко... Коидратъ пришелъ, а Васька еще спрашиваетъ, какой Коидрагин? И вдругъ лицо перекошено и... Корнѣй Ивановичъ, голубчикъ, умереть папа! (почти громко плачетъ.)

Нечаевъ садится ея на стулъ, обнимаетъ, говорить со слезами.

Нечаевъ. Ну, Надечка, ну, голубчикъ, ну, бѣдная моя дѣвочка! Вѣдь еще ничего, еще можетъ обойдется. Николай Андреевичъ очень крѣпкій человѣкъ... Вѣдь это у него первый ударъ?

Надя. Первый. Иванъ Акимычъ говорить, что можетъ случиться второй. Кровь-то не пошла.

Нечаевъ. А можетъ и не будетъ. Разъ столько времени прошло, то второго можетъ и не случиться. Бѣдная вы моя дѣвочка! И какъ тутъ навѣрное перепугались, а мы, какъ на зло, гулять ушли...

Надя (немного успокаиваясь). Вы куда ходили?

Нечаевъ. Мы до самаго Покровскаго дошли, тамъ молоко пили. Ночь такая душная. Ахъ, Боже мой, Боже мой! И надо же было, а мы-го, а мы-то! Надечка, я у васъ побуду, можетъ быть, понадобится что, въ аптеку сбѣгать... можно?

Надя. Да конечно же! Мы совѣмъ одни. (Снова плачетъ.)

Нечаевъ. Если я тутъ мѣшать буду, я въ саду посижу, вы только кликните меня. Не плачьте, ей Богу не надо!

Изъ спальни выходитъ докторъ Веревитинъ, старый пріятель Мацева. Говоритъ обычно громко, зная, что умирающій ничего теперь не слышитъ.

Нечаевъ (почтительно). Здравствуйте, Иванъ Акимычъ!

Веревитинъ. А, ваше благородіе! Гулять ходили? Жаркій сегодня денекъ. Ты вотъ что, Надюша...

Надя. Какъ папа?

Веревитинъ. Ничего, голубчикъ, ничего, все такъ же. Выкрутитесь Никола, не бойся, у него организмъ-то бычачій. А ты вотъ что, дружокъ, вели-ка тамъ дать мнѣ чего-нибудь перекусить, съ утра не ѣлъ...

Надя (весело). Сейчасъ, Иванъ Акимычъ!

Веревитинъ. Да погоди, вели еще водочки мнѣ дать. Ну ступай!

Надя быстро выходитъ.

Веревитинъ. Фухъ, душная какая ночь, дышать нечѣмъ. Второй уже часъ, однако. Такъ какъ же, ваше благородіе—хорошо изволили погулять? Кистель-то у васъ какъ запылится. Гдѣ были?

Нечаевъ. Въ Покровскомъ, молоко пили.

Веревитинъ. Ого! Далеко.

Нечаевъ. Иванъ Акимычъ—что, плохо?

Веревитинъ. Надо второго ожидать, а въ общемъ ничего неизвѣстно. Хоть такіе дубы, какъ вотъ мы съ нимъ, именно съ одного раза и валятся, но... Кто знаетъ, кто знаетъ! Я не знаю. А говорилъ ему, ой, Никола, чернѣешь, пусти кровь! Не захотѣлъ, смѣется, а вотъ Кондратій Иванычъ и пришелъ. Жара еще тутъ. Что это—будто разокъ громъ тутъ былъ слышенъ? Не гроза?

Нечаевъ. Сбиралась, да мимо прошла. Впрочемъ всю дорогу гдѣ-то сверкало. Ужасная духота!

Веревитинъ. Зарпнцы, должно быть.—Что, водочка?

Заплаканная Мароа молча стапнть водку и закуску.

Веревитинъ. Давай, давай, матушка—какъ звать-то забылъ, ты у нихъ недавно?

Мароа. Второй ужъ годъ. Мароой зовите, баринъ.

Веревитинъ. Ну не помню, прости. (Наливаетъ рюмку и съ удовольствіемъ пьетъ). А все вотъ отъ чего,—отъ водочки, вотъ кто погубительница-то наша, врагъ рода человѣческаго! (Снова наливаетъ). А вы рюмочку?

Нечаевъ. Нѣтъ, какъ можно! Да вѣдь Николай Андреевичъ ничего и не пилъ, совершенно?

Веревитинъ. Теперь совершенно, а посмотрѣли бы на него раньше. Да! Такихъ на очереди у меня еще трое. Алексѣй Иванычъ Чикильдѣевъ, пожалуй, Поповъ, Стенанъ Гаврилычъ, да я, третій. Александру Петровну мнѣ жалко, хорошій она человѣкъ!

Нечаевъ. Боже мой, Боже мой, какъ все это неожиданно и... Ивашъ Акимычъ, а отчего за родными не послали, никого иѣтъ?

Веревитинъ. За Петромъ Петровичемъ, дядей, посылали, да онъ еще вчера на дачу уѣхалъ, только завтра вернется. Да и зачѣмъ они?—только лишній шумъ, да слезы. Такъ-то въ тишинѣ лучше... (Вошедшей Надѣ). Ну что, дружокъ?

Надя. Сейчасъ жареное будетъ, Ивашъ Акимычъ, разогрѣваютъ.

Веревитинъ. Напрасно хлопочешь, душечка, я ужъ закусилъ и выпилъ. Когда теперь жарить.

Надя. Это ничего, Иванъ Акимычъ, это отъ обѣда осталось. Я очень рада. Я сейчасъ у Васи была, онъ проснулся и сюда хотѣлъ, но я непустила.

Веревитинъ. И правпльно, нечего ему тутъ дѣлать!

Нечаяевъ. А мама?

Веревитинъ. Они всё въ спальнѣ, пусть ихъ. Ваше благородіе, угостите-ка папирочкой, я свои всё выкурилъ.

Нечаяевъ. Извините, Иванъ Акимычъ, нѣтъ, также всё за дорогу...

Надя. Я сейчасъ папиныхъ изъ кабинета принесу. Только вы не уѣзжайте, Иванъ Акимычъ, дорогой!

Веревитинъ. Никуда я не уѣду.

Надя выходитъ.

Веревитинъ. Я самъ нынче на дачу собирался, такъ все равно ужъ, тутъ почевать буду. Эхъ, Никола, Никола,—а давно ли на именинахъ гуляли. Что, Мароуша, жареное?

Мароша. Барапина.

Веревитинъ. Ну давай баранину—баранина, такъ баранина. Съ утра нынче не ѣлъ, такъ вотъ теперь и захотѣлось. А что... все забываю какъ васъ зовутъ... Корнѣй Иванычъ, да!—на какомъ теперь курсѣ Всеволодъ?

Нечаяевъ. На четвертый перешелъ.

Веревитинъ. Недолго, значить, до окончанія осталось, это хорошо, надо семью поддерживать, семья-то не маленькая. У меня у самого, батенька, пять штукъ, да еще всё печенія требуютъ. Сдохну, нищими останутся... А, это ты, тетка! Ну что тамъ?

Вышла изъ спальни тетя Настя и съ тѣмъ же неподвижно горестнымъ лицомъ присѣла къ столу.

Тетя. Ничего, все то же.—Иванъ Акимычъ, а отчего онъ все дышитъ ровно-ровно, а потомъ вдругъ вскрипнетъ?

Веревитинъ. И мы съ тобой будемъ всхрипывать, какъ Кондратій придетъ. Да къ тебѣ не придетъ, ты Коцей безсмертный. Ледъ мѣняла?

Тетя. Мѣняла. А такой лежитъ, какъ будто спитъ и грудь подымается ровно?

Веревитинъ. Да, грудь широченная, какъ площадь мощеная. Да ты погоди, Настасья, не обмокай, вѣдь я еще и самъ ничего не знаю. Вѣдь сила-то у него не твоя, такъ что жъ ты раньше времени!..

Надя (вошла). Насилу отыскала папирасы, онѣ въ ящикѣ. Вотъ, Иванъ Акимычъ, курите. Корнѣй Иванычъ, берите. А тамъ ничего?

Нечаяевъ. Ничего, все хорошо. (Тихо). Надежда Николаевна, я тутъ боюсь помѣшать, я лучше въ саду посижу. Вотъ папирочекъ возьму и... Въ случаѣ нужды я тутъ же, на террасѣ. П Павлушѣ скажите, что я тутъ, если спросить. Кажется, есть надежда, слава Богу.

Надя (крестится). Слава Богу! Хорошо, идите, голубчикъ, я тогда позову. Нечаяевъ, осторожно ступая, выходитъ. Въ черныхъ окнахъ слабый мгновенный свѣтъ далекой глухой молнии.

Веревитинъ. Проголодался я. Тетка, ты бы съ нами посидѣла, что стоишь. Все равно тамъ ничего не сдѣлаешь.

Тетя. Ничего.

Надя. Ты куда, тетя?

Тетя. За льдомъ.

Надя. Такъ зачѣмъ же ты сама? Я сейчасъ!

Быстро выходитъ.

В е р е в и т и н ь. Тетка, па дачу я ужъ опоздалъ, я у васъ лягу. Приготовь мнѣ на диванчикѣ. Ты провиантъ покупаешь?—хорошая баранина, надо сказать себѣ взять.

Т е т я. Я тебѣ въ кабинетѣ приготовлю. Окна не закрывай, а то жарко къ утру будетъ. Тебѣ простыню или одѣяло?

В е р е в и т и н ь. Простыню, развѣ теперь подъ одѣяломъ проспнешь! А мухъ у васъ много?

Т е т я (сѣ тѣмъ же неподвижнымъ лицомъ). Мухъ нѣтъ, Коля ихъ самъ не выноситъ.

Н а д я (приноситъ небольшое ведерко со льдомъ, поясня). Я сама, а то Петръ очень стучитъ.

Осторожно входить въ спальню.

Т е т я (ни къ кому не обращаясь). На кого они останутся?

В е р е в и т и н ь (сердито). Да погоди ты отпѣвать раньше времени! Характерецъ у тебя кремневый, а распустилась ты, какъ кисель. На кого останутся!

Т е т я (все также). А на кого я останусь?

Изъ спальни выходятъ вмѣстѣ Всеволодъ и Надя. У Всеволода успокоенное лицо.

В е р е в и т и н ь. Ну какъ?

В с е в о л о д ь. Мнѣ кажется, что пока ничего,—какъ вы думаете, Иванъ Акимычъ?

Н а д я. Онъ какъ-будто заснулъ. Правда, Иванъ Акимычъ?

В е р е в и т и н ь. Ну и слава Богу. А мать?

В с е в о л о д ь. Она тамъ хочетъ сидѣть. Я ее звалъ сюда, но она не идетъ. Я тамъ окно открылъ, ничего? Душно очень и мнѣ кажется, что свѣжій воздухъ будетъ полезенъ.

Тетя молча поднимается и уходитъ въ спальню. За ней слѣдятъ глазами.

В е р е в и т и н ь. Да, да, свѣжій воздухъ, отчего же? А я и не замѣтилъ, что тамъ закрыто.

В с е в о л о д ь. Я такъ и подумалъ, что хорошо. А мы, Иванъ Акимычъ, пошли съ Нечаевымъ гулять, да и забрались...

Н а д я. Онъ здѣсь, Сева. Онъ на террасѣ сидитъ, не хочетъ тутъ мѣшать. Онъ такой добрый!

В е р е в и т и н ь. Да кому онъ помѣшаетъ? Зовите его сюда, что жъ онъ въ темнотѣ сидѣть-то будетъ.

В с е в о л о д ь. Я позову.

Выходить.

В е р е в и т и н ь. А ты вотъ что, Надечка, дружокъ, просплъ я твою тетку въ кабинетѣ мнѣ диванъ приготовить, да она въ такомъ разстройствѣ...

Н а д я. Вамъ въ кабинетѣ? Я сейчасъ!

В е р е в и т и н ь. Да въ кабинетѣ, что ли. Вели-ка, дружокъ!

Н а д я. Я сама.

В е р е в и т и н ь. Ну сама.—Постой, постой! Про лошадь-то я забылъ. Скажи ты моему, чтобы распрячь...

Входятъ Всеволодъ и Нечаевъ—и почти въ ту же минуту въ спальнѣ раздается крикъ или плачъ. Открывается дверь и тетка съ вытаращенными отъ ужаса глазами кричитъ:

Т е т я. Иванъ Акимычъ! Умираетъ Коля!

Скрывается. Веѣ, за исключеніемъ Нечаева, почти бѣгутъ въ спальню. Оттуда ничего не слышно, Нечаевъ, хватаясь за голову, суется по комнатѣ, смотритъ въ открытое окно и снова ходитъ.

Н е ч а е в ъ. Какой ужасъ! Господи, какой ужасъ!

Всеволодъ выглядываетъ изъ спальни.

В с е в о л о д ъ. Кориѣй, позови Васю!

Скрывается. Нечаевъ въ нѣкоторой нерѣшимости, не понимая. Быстро выбѣгаетъ Надя, плачетъ.

Н е ч а е в ъ. Что? Что? Что?

Н а д я. Я за Васей. Мама велѣла. Умираетъ.

Нечаевъ ходитъ. Обратно, почти пробѣгаетъ Надя съ помертвѣвшимъ, безгласнымъ Васей, одѣтымъ въ одну почную сорочку. Тамъ тишина. На дворѣ поютъ пѣтухи. Въ дверь столовой заглядываетъ Мароа, Петръ и еще кто-то.

М а р о а. Кончается баринъ? (Плачетъ).

Н е ч а е в ъ. Да.

Изъ спальни выходитъ Веревитинъ и молча, на ходу, плача и утирая слезы рукой, ходитъ по столовой. Нечаевъ забился въ уголь. Выходитъ Всеволодъ и, закрывъ лицо руками, неподвижно стоитъ по серединѣ комнаты, заставляя шагающаго доктора обходить его. Въ беспорядкѣ выходятъ остальные. Помертвѣвшій Вася со страхомъ озирается, старается къ кому-нибудь прижаться, но его отталкиваютъ. Прижимается къ тихо плачущей сестрѣ и черезъ ея голову смотритъ.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Коля!.. Что же это? Нѣтъ, что же это? Коля! Колечка! Голубчикъ мой, Колечка!

Н е ч а е в ъ. Александра Петровна! Боже мой, вамъ воды! Господи! Сева, да какъ же это?

В с е в о л о д ъ (отстраняя его). Пусти!

Т е т я (она не плачетъ, но все лицо у нея дрожитъ; вдругъ громко почти кричитъ). Нѣтъ, ты его не знала! Ты его не знала! Его никто не зналъ! Коля, мой Коля! Братъ ты мой, Колечка! Умеръ, голубчикъ, умеръ.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а (также кричитъ и даже топаешь ногой). Да какъ же тебѣ не стыдно передъ Богомъ! Да какъ же я его не знала! Безсовѣстная ты! Безсовѣстные вы все. Колечка мой, другъ мой, одна моя!.. О, Господи, Господи!

Т е т я. Саша, родная моя, одинъ мы, одинъ мы съ тобой... (обнимаетъ зловку и обѣ вмѣстѣ плачутъ).

В с е в о л о д ъ и **Н а д я** (вмѣстѣ). Мама!

В а с я (вдругъ кричитъ съ плачемъ). Мама! Перестань! Мама!

А л е к с а н д р а П е т р о в н а (отрываясь отъ тетп и судорожно крѣпко обнимая Всеволода). Всеволодъ! Севочка! Ты одинъ теперь... Ты одна наша... Сева, Севочка! Вѣдь умеръ папа!

В с е в о л о д ъ (плача, но твердо). Я съ тобою, мама, я съ тобою.

А л е к с а н д р а П е т р о в н а. Севочка! Я не могу!..

Валится на колѣни, цѣпляясь за его руку. Къ ней бросаются Надя и Вася и все трое съ плачемъ и безсвязными восклицаніями окружаютъ Всеволода.

Надя. Сева! Севочка!

Всеволодъ (плача и глядя волосы матери). Я съ тобою мама! Я съ тобою!

Только тетя Настя стоитъ въ сторонѣ—заложивъ бессознательно руки въ бока, дрожа веѣмъ лицомъ, она смотритъ на этихъ.

Тетя. Да-да-да! Да-да-да! Да!

Занавѣсъ.

ТРЕТЬЕ ДѢЙСТВІЕ, ВТОРАЯ КАРТИНА.

Послѣ похоронъ.

Знойныи полдень. Уголокъ сада Мацневыхъ. Четыре высокихъ и кряжистыхъ тополя составляютъ какъ бы тѣнистую бесѣдку; здѣсь нѣсколько простыхъ, безъ спинокъ, деревянныхъ некрашеныхъ скамеекъ. Кругомъ густыя заросли малины, широкіе кусты крыжовника и смородины; дальше молодой, но пышный фруктовый садъ, яблони и груши. Возлѣ дорожекъ трава полна цвѣтовъ и высока—почти до пояса. Неподвижный воздухъ весь гудитъ, какъ тугая струна—такъ много въ травѣ пчелъ, осъ и всякой другой жизни.

Подъ тополями дорожка развѣтвляется и идетъ къ дому вдоль двухэтажнаго, бревенчатого амбара-сарая съ нѣсколькими небольшими конюшными оконцами. За угломъ амбара, въ гущѣ высокихъ березъ и кленовъ, терраса, на которой въ настоящую минуту оканчивается поминальный обѣдъ. Террасы отсюда не видно, доносится только сдержанный гулъ голосовъ и стукъ посуды. Одинъ разъ попы и обѣдающе поютъ «вѣчную память».

Подъ тополями собралась молодежь, бывшая на похоронахъ, но уклонившаяся отъ обѣда. Здѣсь Зоя Николаевна, Катя и Столярова; гимназистъ Кореневъ, офицеръ Нечаевъ. Веѣ дѣвушки въ черныхъ платьяхъ. Говорятъ не громко, съ большими паузами.

Кореневъ. Смотрите, господа, сегодня къ вечеру опять гроза соберется. Ну и жара!

Нечаевъ. Да, парить. Зоя Николаевна, вы гдѣ вчера находились, когда эта молнія хватила?

Зоя. Дома сидѣла. Да у насъ было не такъ сильно.

Нечаевъ. А мы думали, что прямо въ крышу.

Столярова. А я въ ряды ходила и сразу вся промокла. На подѣздѣ спряталась.

Катя. Испугалась?

Столярова. Конечно, нѣтъ.

Катя. Ну и врешь, испугалась! А я какъ гроза, такъ веѣ подушки себѣ на голову и лежу ни жива, ни мертва. Охъ, Господи, батюшки, да когда же они кончатъ ѣсть! И какъ они могутъ, мнѣ кусокъ въ горло бы не пошелъ. Безчувственные какіе-то!

Кореневъ. Языческій обычай, тризна надъ умершимъ.

Катя. Ну вы тоже, язычникъ! А если хочется, такъ подите, кушайте себѣ, васъ никто тутъ не держитъ. Язычникъ тоже!

Кореневъ. Но позвольте, при чемъ...

Нечаяевъ. Всеволоду трудно, онъ въ такомъ состояннн, а тутъ надо занимать разговорами, угощать...

Катя. Да неужели еще разговорами занимать? Ей-Богу, безчувственные! А Севочка нашъ молодецъ, я сегодня въ церкви въ него влюбилась, такъ вы и знайте. Такой блѣдный, такой красивый, такой серьезный... бѣдненькн, такъ бы на шею ему и бросилась!

Столярова. Александру Петровну два раза изъ церкви выносили.

Умолкають.

Нечаяевъ. Вамъ жаль, Зоя Николаевна?

Зоя. Да. Мнѣ Николая Андреича жаль.

Нечаяевъ. Онъ васъ очень любилъ, я знаю.

Умолкають.

Катя. Гдѣ-то моя Надюшка несчастненькая? Неужто и она этихъ идоловъ безчувственныхъ занимаетъ! Вотъ недоставало, прости Господи!

Нечаяевъ. Нѣтъ, она съ Александрой Петровной. Вы очень печальны, Зоя Николаевна.

Зоя. Да.

Кореневъ. А какой у дяди садъ роскошный, густота какал!

Катя (съ гордостью). Самъ Николай Андреичъ насадилъ. Столярова, хочешь пойдешь посмотрѣть? Вставай.

Кореневъ. Пойдите, опять поють.

Молчанне. На террасѣ нестройно поють «вѣчную память».

Гимназистъ (баскомъ подпѣваетъ). Вѣчная память... вѣчная память. Кончили.—Ну, пойдете, и я съ вами. По какой дорожкѣ пойдешь?

Катя. По этой. Я тутъ каждую яблочку знаю, онъ самъ мнѣ показывалъ. Онъ не одну Зойку любилъ, а и меня тоже.

Кореневъ. Да, жалко дядю Колю.

Скрываются за поворотомъ.

Нечаяевъ. Значитъ, осенью въ Москву, Зоя Николаевна?

Зоя. Да, Корнѣй Иванычъ! Отчего все такъ просто? Вотъ умеръ человекъ, и какъ будто ничего не случилось, и мы опять въ саду сидимъ. Промелькнула какая-то тѣнь, чьи-то рѣсеницы взмахнули, что-то стало ясно на минуту—и опять закрылось. Садъ!.. Вчера я еще понимала, что Николай Андреичъ умеръ и это было ужасно, а сегодня уже не понимаю. Умеръ... Это правда, что онъ умеръ?

Нечаяевъ. Правда, Зоя Николаевна. Я, къ сожалѣнню, не умѣю объяснить, но такъ надо, вѣроятно.

Зоя. И какъ только зарыли человекъ въ землю, такъ необходимо тотчасъ же начать забывать. И мы все его забудемъ, такъ надо.

Нечаяевъ. Но Всеволодъ потрясенъ. Я еще никогда не видалъ его такимъ и я даже не совѣмъ понимаю... Ахъ, если бы вы все знали, Зоя Николаевна!

Зоя. Что все?

Нечаяевъ. Такъ! Но до этого дня Всеволодъ былъ моложе меня на годъ, а теперь сталъ на десять лѣтъ старше. И какъ я его люблю—Боже мой, какъ я его люблю! Когда онъ сегодня одинъ, впереди вѣхъ, безъ фуражки шелъ за гробомъ, я не смѣлъ подойти къ нему.

З о я (ласково глядя на него). Вы очень хорошии человекъ, Корнѣй Ивановичъ.

Н е ч а е в ъ (рѣшительно). Не говорите такъ!

З о я. Почему? Нѣтъ—вы очень хорошии, вы даже удивительный, я сегодня смотрѣла на васъ. И у васъ такіе хорошии глаза!

Н е ч а е в ъ (волнуясь). Зоя Николаевна... нѣтъ, не говорите такъ! И не смотрите такъ на меня, слышите... простите, что я такъ, но не надо! Я просто... скотина!

З о я (тихо улыбаясь). Вы-то?

Н е ч а е в ъ. Нѣтъ, это фактъ... ахъ, Зоя Николаевна, какой это вообще ужасъ! Вы чистая дѣвушка, но если бы вы знали, до какой низости, до какого паденія можетъ дойти человекъ, какія у него могутъ быть подлыя, коварныя, отвратительныя мысли. Нѣтъ, это что же! Это невозможно!—Постойте, тамъ кажется кончили, сейчасъ все пойдутъ сюда...

З о я. Я не хочу, тогда я уйду. Миѣ невыносимо видѣть...

Н е ч а е в ъ. Нѣтъ, нѣтъ,—но послушайте! Если... если мой Богъ миѣ позволить, то я тоже—переведусь въ Москву. Нѣтъ, это что же, вы подумайте!

З о я. Какой вашъ Богъ? Развѣ у васъ особенный?

Н е ч а е в ъ. Особенный, да. Но если (бьетъ себя въ грудь) позволить... Идутъ. (Скороговоркой, шопотомъ). Или—сдохну, фактъ.

На дорожкѣ показываются Катя и остальные. У Кати въ рукѣ большой букетъ жасмина.

З о я (также шопотомъ). Что вы говорите, Корнѣй Ивановичъ?!

Н е ч а е в ъ. Если вы... хоть немного цѣните меня, то—молчите. Я скотина.—Идутъ.

К а т я (сажаясь). Тамъ, кажись, кончили, надо и намъ по домамъ. Повидаемъ Надюшу, да и айда. Господи, какой еще длинный день, и что бы такое придумать? Столярова, пойдѣмъ ко миѣ, а потомъ вмѣстѣ купаться.

С то л я р о в а. Пойдемъ.

К а т я. Ты на спинкѣ умѣешь?

С то л я р о в а. Конечно, умѣю.

К а т я. Врешь, поди? А я, матушка, какъ на спинку повернусь, такъ и поминай, какъ звали, съ водолазами не найдешь. Ну тише, ты!—вонъ идетъ. Мп-ленькѣи мой!

Отъ дома къ сидящимъ идетъ Всеволодъ, здоровается, какъ будто раньше никого не видалъ. Блѣденъ и серьезенъ; впечатлѣніе такое, словно при разговорѣ не сразу все слышитъ и понимаетъ. Но старается до известной степени быть какъ все.

К а т я (привставая, очень почтительно). Здравствуйте, Всеволодъ Николаевичъ!

Н е ч а е в ъ. Разошлись, Всеволодъ?—усталъ ты съ ними, братъ.

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ ничего.—Тамъ еще кое-кто остался.—Жаркѣи сегодня день.

Садится и закуриваетъ. Почтительное молчаніе.

К а т я. Всеволодъ Николаевичъ, это ничего, что мы у васъ жасмину парвали. Это миѣ на память.

В с е в о л о д ъ. Ничего, пожалуйста. У насъ много цвѣтовъ.

Молчаніе.

К а т я. Ну мы не будемъ вамъ мѣшать, Всеволодъ Николаевичъ, мы только Надю хотѣли повидать. Можно?

В с е в о л о д ъ. Она съ мамой. Тамъ и дядя Петръ.—Миша, я забылъ, дяди велѣлъ тебѣ сказать, что вы сегодня на дачу не поѣдете.

К о р е н е в ъ. Хорошо.

Н е ч а е в ъ. А какъ Александра Петровна?

В с е в о л о д ъ. Ничего.—Жаркій сегодня день.—Вы тетю Настю не видали?—она въ садъ, кажется, пошла.

К а т я. Видѣли. Она на круглой скамеечкѣ сидитъ, одна, да мы съ Столяровой побоялись подойти. Вамъ ее позвать, Всеволодъ Николаевичъ?

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ, я такъ.—Ну что, Корнѣй?

Н е ч а е в ъ. Ничего, братъ, сижу.

В с е в о л о д ъ. Посиди.

Н е ч а е в ъ. Да я и не ухожу.

К а т я. Ну, а мы идемъ. Вставай, Столярова. (Также почтительно). До свиданія, Всеволодъ Николаевичъ. Скажите, пожалуйста, вашей сестрѣ, что я завтра прииду, а если ей нельзя будетъ такъ ничего, я въ садочкѣ посижу. А собака ваша насъ не тропетъ?

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ, она никого не трогаетъ.

З о я. И я съ вами. Нѣтъ, провожать не надо, Корнѣй Ивановичъ, до свиданія, Всеволодъ Николаевичъ!—Всеволодъ Николаевичъ!

В с е в о л о д ъ. Что, Зоя Николаевна?

З о я. Нѣтъ, ничего.

Рѣшительно, впереди другихъ, уходитъ. Катя еще разъ слегка приеѣдаетъ Мацневу, гимназистъ крѣпко трясетъ руку. Уходятъ. Молчаніе.

Н е ч а е в ъ. Она сегодня очень волнуется.—Всеволодъ, ты, быть можетъ, хочешь прилечь? Лягъ, а я съ твоими побуду.

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ, я не хочу.

Н е ч а е в ъ. Ты двѣ ночи не спалъ.

В с е в о л о д ъ. Такъ что же? Нотомъ сосну.—Корнѣй!

Н е ч а е в ъ. Что, голубчикъ?

Но Всеволодъ задумался и молчитъ. Нечаевъ со страдающимъ лицомъ смотритъ на него.

В с е в о л о д ъ. Чѣмъ это пахнетъ?

Н е ч а е в ъ. Я не совѣмъ понимаю тебя. Ладаномъ, кажется, пахнетъ, но совѣмъ немного. Ты про это?

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ. Хорошо пахнетъ. Да, смородиной. Какъ пахнетъ!

Н е ч а е в ъ. Тутъ, вообще, братъ, такое благоуханіе, чего только нѣтъ. Это послѣ вчерашняго дождя и вообще удивительный, братъ, росъ травъ! Когда мы тутъ были послѣдніи разъ?—и трава была всего по колѣно, а сеічасъ, смотри, по поясъ! Миѣ почти по поясъ. Какъ это говоритъ Пушкинъ, и равнодушная природа красою вѣчною сіять. И вѣрно, красою вѣчною сіять!

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ, она не равнодушная, это невѣрно. Ты слышишь, какъ они жуужаютъ, сколько въ травѣ всякой жизни. Сегодня обратно съ кладбища я ѣхалъ, не знаю, почему—съ Веревитинымъ, на его лошади, и знаешь—еще никогда миѣ не казалось все... такимъ красивымъ и...

Н е ч а е в ъ. И?..

В с е в о л о д ъ. Не знаю, не могу найти слова.—Иванычъ, ты иди лучше домой.

Н е ч а е в ъ. Хорошо, голубчикъ. А когда опять прийти? Я вечеркомъ зайду, ладно?

В с е в о л о д ъ. Ладно.—Кориѣй, сейчасъ не время говорить, по...

Н е ч а е в ъ. Да и не надо, Севочка, успѣется. Ты такъ усталъ...

В с е в о л о д ъ. Ты помнишь... наше рѣшеніе? Ну ты знаешь, о чемъ я...

Н е ч а е в ъ. Знаю.

В с е в о л о д ъ. Такъ это... ну глупости, что ли. Надо жить.

Молчаніе. Нечаевъ взволнованъ.

Н е ч а е в ъ. Всеволодъ! Ты не подумай пожалуйста, что я какъ-нибудь лично за себя, хочу отвертѣться и такъ далѣе—пожалуйста, Всеволодъ! Миѣ что! Если даже хочешь то-есть, если бы такъ нужно, то я могу покончить и одинъ, но ты... Извини, братъ, но ты должепъ жить. На тебѣ обязанности, Всеволодъ!

В с е в о л о д ъ (медленно). Нѣтъ, это не то, Иванычъ. Но помнишь, ты сказалъ тогда, что жизнь прекрасна? Она не прекрасна, но... Въ эти двѣ ночи, когда я ходилъ по двору или по саду, въ темпотѣ, или былъ около отца, я очень страдалъ, что ли, но... Нѣтъ, потому.

Поднимаетъ голову и широко и медленно оглядывается. Улыбается слегка.

В с е в о л о д ъ. Вонъ Васькина западня. Открыта. Должно быть ничего не попало. Такъ, иди, Иванычъ.—Нѣтъ, погоди. Вотъ еще что, потому не знаю, какъ скажу. Я относительно Зои.

Н е ч а е в ъ. Оставь, Сева, не надо! Какая теперь... Зоя!

В с е в о л о д ъ. Зоя по-гречески значитъ—живая, живущая, я сейчасъ только сообразилъ.

Н е ч а е в ъ (бормочетъ). Не знаю, можетъ быть... Не надо, Сева, миѣ больно.

В с е в о л о д ъ. Не будь такимъ ребенкомъ, Кориѣй. Зачѣмъ скрывать? И смущаться не надо. И разъ мы рѣшаемъ остаться жить, то вотъ я хотѣлъ тебѣ сказать. Зоя осенью ѣдетъ въ Москву. Переводись и ты, и...

Н е ч а е в ъ (слегка бьетъ себя въ грудь). Но мой Богъ, мой Богъ миѣ этого не позволить. Не надо, Всеволодъ!

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ, надо, Иванычъ.

Н е ч а е в ъ. И какъ же ты... и какъ же я... Чушь, опять все то же мое скотство. У тебя скончался отецъ, ты и такъ ограбленъ, ты и такъ лишенъ... а тутъ еще я стану отнимать! И я только потому слушаю тебя, что ты въ такомъ сейчасъ состояннн, но—не надо, Сева! Если бы еще ты совѣмъ ея не любилъ...

В с е в о л о д ъ. Я ея не люблю, а она тебя любить, миѣ такъ показалось, давно уже.—Ну не надо больше, только знай. Дай руку.

Н е ч а е в ъ (крѣпко и долго жметъ руку). Сева,—я вѣрю тебѣ, что ты это дѣлаешь не изъ презрѣнія ко миѣ, но мой Богъ, мой Богъ! Но вы все, вы все, зовете меня на мерзость и я, кажется, дѣйствительно, подлець.—Ну, ну, не обращай вниманія, я пойду.—А ты прилягъ, голубчикъ—миленькій ты мой, Севочка, другъ ты мой, красота ты моя! Дай же я тебя поцѣлую.

Цѣлуетъ Всеволода и потомъ отчаянно машетъ рукой. Оправляется и говоритъ дѣловымъ тономъ.



Ап. М. Васнецовъ.

«Въ осадное сидѣнне».

Троицкій мостъ и башня Кушафья въ концѣ XVI вѣка.





Н е ч а е в ъ. Значитъ, до вечера, Всеволодъ. Ты тутъ будь спокоенъ, я сейчасъ зайду посмотрѣть, какъ тамъ Александра Петровна. Какъ паритъ, опять гроза будетъ. До свиданія.

В с е в о л о д ъ. До свиданія, Иванычъ. Я буду ждать тебя. Если тамъ что-нибудь, то скажи... мнѣ, правда, хочется здѣсь отдохнуть.

Н е ч а е в ъ. Будь спокоенъ.

Уходитъ, сдерживая трепканье шпоръ. Всеволодъ одинъ. Разстегиваетъ китель, широко и какъ бы съ удивленіемъ оглядывается. Медленно подходит теть Настя, молча, въ своей обычной позѣ, заложивъ руки въ бока, останавливается передъ Всеволодомъ, молча смотреть на него.

В с е в о л о д ъ. Ну что, тетечка? Устали вы сегодня съ народомъ.

Т е т я. Ничего.

В с е в о л о д ъ. Посидите со мной.

Т е т я (не садясь). Ничего. Всеволодъ, сказалъ бы ты Петру, чтобы онъ прививки перевязалъ, я сейчасъ три ужъ подвязала, а одинъ сломался. И рамы отъ парника такъ и брошены.

В с е в о л о д ъ. Хорошо, тетя, я скажу.

Т е т я. Такъ и валяются, а онѣ денегъ стоятъ. Тамъ на террасѣ дядя и Иванъ Акимычъ чай пьютъ, ты не пойдешь?

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ, мнѣ туда не хочется... или надо идти?

Т е т я. Зачѣмъ это надо, и одинъ посиждать. Такъ я тебѣ сюда принесу.— Всеволодъ, а я черезъ девять дней хочу въ Сѣвскъ, я ужъ Прасковью написала.

В с е в о л о д ъ. Да что вы, тетя! Зачѣмъ?

Т е т я. А кому я тутъ нужна? Колѣ я нужна была, а вамъ я зачѣмъ. Нѣтъ ужъ. Семья у тебя большая, тебѣ теперь и такъ будетъ трудно, а тутъ еще я на шею сяду. Слава Богу, работать еще могу.

Всеволодъ быстро встаетъ и крѣпко, съ пѣжностью обнимаетъ и цѣлуетъ слегка отворачивающуюся тетку.

В с е в о л о д ъ. Да что вы, тетя, да какъ же вы могли подумать! Ахъ ты чудачка какая! Ахъ старушка моя глупая, старушечка... Да вы мнѣ теперь въ тысячу разъ дороже еще стали, чѣмъ... И развѣ я не его сынъ? Тетя?

Плачетъ, закрывая глаза. Тетя также молча и открыто плачетъ, не скрывая лица; потомъ аккуратно вытираетъ слезы и говоритъ.

Т е т я. Ну значитъ, дура я. Какъ мать?—я ее сегодня весь день не видала.

В с е в о л о д ъ. Ничего, хорошо. Съ пей Надя.

Т е т я. Ну я пойду, Севочка, надо комнатами заняться. Платить всеѣмъ ты самъ будешь, или мнѣ поручишь? Давай ужъ мнѣ, а то тебя еще обманутъ.

В с е в о л о д ъ. Хорошо, тетя.

Показывается Вася. Сперва идетъ быстро, но у скамейки замедляетъ шаги и скромно садится на край. Одѣтъ въ полотняную парочку, ремешный съ бляхой поясъ, за который онъ часто беретъ руками.

Т е т я. Ты что, Вася?

В а с я. Я такъ. Пришелъ. Тутъ можно мнѣ?

В с е в о л о д ъ. Можно, Васюкъ, посиди.

Т е т я. Сева, тебѣ кто крепъ дѣлалъ?

В с е в о л о д ъ. Не знаю, кажется, Надя.

В а с я. Миѣ тоже Надя дѣлала.

Т е т я. Надо было миѣ этимъ заняться, да ужъ... стара я стала. Я сейчасъ чаю принесу, посиди, попей. Колечка тутъ любилъ чай пить.

В с е в о л о д ъ. Да зачѣмъ вы сами?—вонъ Васюкъ принесетъ.

В а с я. Я принесу, только скажите что.

Т е т я. Ну сиди, сиди, егоза. Тоже—герой! Принесу!.. ты его такъ принесешь, что одни черепки останутся. Сиди ужъ!

Медленно уходитъ.

В с е в о л о д ъ. Васюкъ, поиди сюда, сядь. (Обнимаетъ его и голову прижимаетъ къ своему боку). Хорошо у насъ въ саду? Тебѣ нравится?

В а с я. Нравится, а тебѣ?

В с е в о л о д ъ. Миѣ тоже. Это твоя клѣтка, ничего не попалося.

В а с я. Я знаю, что ничего.—Сева, а тебѣ жалко папочку?

В с е в о л о д ъ. Жалко, Васючокъ.

В а с я. А отчего жъ ты не плакалъ?

В с е в о л о д ъ. Такъ. Не все могутъ плакать.

В а с я. Я тоже не плакалъ, Сева, а ты теперь меня любишь?

В с е в о л о д ъ. Люблю, милый, очень люблю.

Всеволодъ цѣлуетъ его.

В а с я. Папочка говорилъ, что меня надо больше цѣловать, чтобы я скорѣе росъ большой. Это правда, что отъ этого скорѣе человѣки растутъ?

В с е в о л о д ъ. Правда.

В а с я. Какъ отъ воды? Сева, какъ отъ воды? Ты что молчишь, Сева! Какъ отъ воды?

В с е в о л о д ъ. Да, какъ отъ воды.

Молчаніе. Всеволодъ обнимаетъ Васю, такъ сидятъ.

В а с я. Сева, посмотри-ка!

В с е в о л о д ъ. Что посмотреѣть?

В а с я. Бляха на поясѣ. Какъ блеститъ, ты видишь? Какая чистая!

В с е в о л о д ъ. Да, очень чистая.

В а с я. Это я ее сегодня кирпичомъ начистилъ. Какая чистая! Сева, а миѣ надо весь день обувши ходить?

В с е в о л о д ъ. Нѣтъ! Чего ради? Разувайся себѣ, жарко.

В а с я. Хорошо. Я потомъ разуюсь. Можетъ быть, завтра разуюсь, а можетъ быть сегодня...

Сидятъ молча въ той же позѣ.

З а н а в ѣ с ѣ.

Л е о н и д ѣ А н д р е е в ѣ.

НОВЫЯ ОРУДІЯ РАЗРУШЕНІЯ.

Болѣ двухъ столѣтій послѣ изобрѣтенія пороха, нѣсколько десятилѣтій послѣ первыхъ опытовъ широкаго примѣненія артиллеріи, французскій историкъ и полководецъ Монлюкъ писалъ въ своихъ Мемуарахъ (которые Генрихъ IV прозвалъ «библіей солдата»): «о, если бы Богу было угодно не допустить изобрѣтеніе этого несчастнаго орудія (пушки)! Столько храбрыхъ и доблестныхъ людей не погибло бы тогда отъ руки тѣхъ, кто не осмѣлился бы взглянуть имъ въ лицо и повергаетъ ихъ на землю издалика своими несчастными ядрами! Это выдумки діавола, который хочетъ, чтобы мы убивали другъ друга!» Младшій современникъ Монлюка, Браптомъ, объясняя пораженіе французовъ при Пави дѣйствіемъ испанской артиллеріи, называетъ это дѣйствіе «нарушающимъ военныя правила и производящимъ смятеніе и безпорядокъ». Такъ медленно и трудно укоренялась привычка къ новымъ способамъ веденія войны, къ новымъ методамъ взаимнаго уничтоженія.

Въ нашъ вѣкъ изобрѣтеній, непрерывной вереницей являющихся на свѣтъ въ военномъ дѣлѣ, какъ и въ другихъ областяхъ жизни, все новое усваивается скорѣе и легче, чѣмъ прежде. И все-таки, нынѣшняя война возбуждаетъ иногда чувства, сходныя съ тѣми, которыя испытывались на рубежѣ среднихъ вѣковъ и поваго времени. Конечно, теперь никому не приходитъ на мысль, что для артиллерійской службы требуется меньше мужества, чѣмъ для пѣхотной или кавалерійской; вѣдь и Монлюкъ могъ бы вспомнить, что и до изобрѣтенія пороха борьба велась не всегда лицомъ къ лицу, и когда не было ядеръ, издалика поражали стрѣлы. Никто, также, не станетъ утверждать, что не нужна храбрость для экипажа дирижабля, сбрасывающаго бомбы съ недостигаемой высоты, или для экипажа подводной лодки, невидимо и неслышно атакующей военный корабль; все знаютъ, что весьма серьезна, въ обоихъ случаяхъ, опасность, грозящая нападающимъ. Едва ли, однако, отношеніе къ новымъ орудіямъ смерти у большинства свидѣтелей переживаемой нами войны, совершенно такое же, какъ къ старымъ. Смущаетъ невозможность предвидѣть, невозможность или крайняя трудность предотвратить надвигающуюся бѣду; удручающее впечатлѣніе производитъ моментальное исчезновеніе цѣлаго судна, съ сотнями людей, за секунду передъ тѣмъ далекихъ отъ мысли о страшномъ концѣ—исчезновеніи, весь ужасъ котораго часто поддается только догадкамъ, такъ какъ разсказать о немъ ничто не

можетъ. На одинъ рядъ съ подводными лодками могутъ быть поставлены, съ этой точки зрѣнія, нѣсколько раньше вошедшія въ употребленіе, подводныя мины.

И все же болѣе чѣмъ вѣроятно, что къ новымъ носителямъ смерти—если только, послѣ настоящей мировой борьбы, не наступитъ конецъ эпохѣ войнъ—XX вѣкъ привыкнетъ, подобно тому, какъ XVI или XVII привыкъ къ пушкамъ и артиллерійскимъ снарядамъ. Объ изъятіи изъ обращенія, въ ближайшемъ будущемъ, воздушнаго и подводнаго нельзя думать уже потому, что и тотъ и другой вошли или входятъ въ военный обиходъ всѣхъ культурныхъ націй. Но какъ бы велика ни была сила привычки, съ однимъ она примирить ни въ какомъ случаѣ не можетъ: съ варварскимъ злоупотребленіемъ новыми орудіями разрушенія. Если въ концѣ XVII вѣка пушки, гремяція на полѣ битвы, никому уже не казались нечадеи дьявола, то это не мѣшало учителямъ Палатината—а велѣдъ за ними и широкимъ кругамъ евронеискаго общества—проклинать французскую стрѣльбу, обращавшую въ развалины гейдельбергскій замокъ, или соедня съ нимъ, мирныя деревни. Нѣчто подобное совершается теперь на нашихъ глазахъ. Когда мина, пущенная съ подводной лодки, уничтожаетъ военный корабль, это разсматривается какъ одинъ изъ тѣхъ военныхъ эпизодовъ, въ которыхъ, несмотря на всю ихъ жестокость, нѣтъ ничего нарушающаго, такъ называемые, ея законы. Совсѣмъ иначе дѣйствуетъ извѣстіе о гибели пейтрального коммерческаго судна, взорвашагося на подводной минѣ среди нейтральныхъ водъ, т.-е. тамъ, гдѣ оно должно было считать себя совершенно безопаснымъ. Глубочайшее негодование вызвала вездѣ, за предѣлами Германіи и Австріи, недавняя германская угроза топить минами съ подводныхъ лодокъ нейтральныя суда, дерзающія вступитъ въ сферу мнимой германской блокады... Всего яснѣе громадное различіе въ настроеніи и образѣ дѣйствій воюющихъ сторонъ выразилось въ способѣ пользованія дирижаблями и аэропланами. Воздушный флотъ державъ тройственнаго согласія вводитъ въ кругъ своихъ нападеній только то, противъ чего дѣйствуютъ ихъ войска на сушѣ и ихъ суда на морѣ: вооруженныя силы противника, его укрѣпленія, склады, магазины, однимъ словомъ—всѣхъ, активно участвующихъ въ войнѣ, все служащее ея цѣлямъ. Англійскіе летчики бросаютъ бомбы въ Дюссельдорфскій арсеналъ, въ Кельнскіе ангары, въ прибрежныя батареи на бельгійской территоріи, занятой германцами, французскіе летчики атакуютъ Фридрихсгафенскую фабрику цеппеллиновъ. И въ то же самое время германскіе летчики убиваютъ прохожихъ на улицахъ Парижа, пытаются поджечь соборъ Парижской Богоматери, разрушаютъ обывательскіе дома въ незащитныхъ городахъ восточнаго англійскаго или русскаго Балтійскаго побережья. Правда, ихъ образъ дѣйствій не отличается отъ того, что дѣлаютъ ихъ собратья въ арміи и флотѣ—германская артиллерія разрушаетъ Реймскій соборъ, германскія суда бомбардируютъ Скарборо и Либаву, бывшіе германскіе крейсера, перейдя поминпально въ руки турокъ, обстрѣливаютъ Феодосію и Ялту. Но въ нападеніи съ высоты, при прочихъ равныхъ условіяхъ, есть нѣчто только ему свойственное: оно грозитъ опасностью, ипчѣмъ неотвратимую, мѣстностямъ, далекимъ отъ театра войны и наименѣе, поэтому, готовымъ къ защитѣ и отпору, оно разсчитано на возбужденіе паническаго страха среди населенія, котораго иначе не могли бы, непосредственно, коснуться бѣдствія войны. Англійскій, русскій, или французскій летчикъ, помимо опасности отъ несчастнаго случая съ его аппаратомъ, рискуетъ одинаково съ пѣхотинцемъ или артиллеристомъ; германскій летчикъ, сбрасыв-

вающей бомбы въ Ярмутъ или Либаву, рискуеть, въ сущности, немногимъ больше, чѣмъ при учебномъ полетѣ съ аэродрома. Летчики союзныхъ войскъ— настоящіе воины; германскій летчикъ, отправляющійся убивать мирныхъ людей, не заслуживаетъ этого почетнаго имени... Нужно надѣяться, что по окончаніи войны будетъ устранена возможность повторенія явленій, покрывшихъ позоромъ германскія правительственныя и высшія военныя сферы.

Съ древнѣйшихъ временъ на войнѣ получила право гражданства, такъ называемая, военная хитрость. Совершенно допустимымъ считалось и считается введеніе противника въ заблужденіе демонстраціями, фальшивыми атаками, мнимымъ отступленіемъ или, наоборотъ, мнимымъ сохраненіемъ за собою прежней позиціи; устраивались и устраиваются засады, подводились и подводятся въ глубокой тайнѣ, мины и контръ-мины. Но мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что безспорно дѣйствующимъ, хотя нигдѣ прямо не выраженнымъ, признавалось и признается одно правило: хитрость не должна переходить въ такой обманъ, противъ котораго безпальна величайшая осторожность—безсилна потому, что нѣкоторая доля правдивости предполагается обязательною и по отношенію къ противнику. Недозволительна, на примѣръ, съ этой точки зрѣнія, подача сигнала о сдачѣ, съ цѣлью заманить врага въ свои ряды или, приблизившись къ нему, внезапно подвергнуть его убійственному обстрѣлу, недозволительно переодѣваніе воинской части, съ такою же цѣлью, въ вражескіе мундиры. Съ честной войной такіе приемы несовмѣстимы, они разрушаютъ то элементарное уваженіе къ противнику, которое одно только можетъ внести гуманную ноту въ жестокое дѣло. И этимъ уваженіемъ, граничащимъ съ довѣріемъ, солдаты, представленные самимъ себѣ, проникаются скоро, примѣровъ тому много въ былыхъ войнахъ между Франціей и Россіей, встрѣчаются они, новидимому, и въ настоящей войнѣ—но встрѣчаются сравнительно рѣдко, быть можетъ, именно потому, что германское военное начальство не гнушается прибѣгать къ обманамъ въ родѣ упомянутыхъ нами выше. Есть, конечно, и другая, еще болѣе серьезная причина, углубляющая демаркаціонную черту между воюющими сторонами: это—образъ дѣйствія германскихъ, а въ нѣсколько меньшей степени и австрійскихъ войскъ по отношенію къ населенію занимаемыхъ ими мѣстностей... Къ тому, что написано на эту, понетинѣ, ужасающую тему, прибавлять что-либо было бы излишне...

К. Арсеньевъ.



ИРЛАНДСКАЯ ДѢВУШКА.

Поздно ночью вчера о тебѣ говорила собака,
О тебѣ говорилъ на болотѣ въ осокѣ куликъ,
Это ты одинокая птица въ лѣсу между вѣтокъ,
Одинокой былъ птицей, пока ты меня не нашелъ.
Обѣщался, и ложь ты сказалъ мнѣ, что будешь со мною,
Говорилъ—будешь тамъ, гдѣ пасутся овечьи стада,
Былъ протяженъ мой свистъ, и тебѣ триста разъ я кричала,
Не нашла ничего, только жалко ягненокъ блеялъ.
Ты мнѣ трудную вещь обѣщалъ—какъ подарокъ любимой,
Золотой дать корабль, и съ серебряной мачтой на немъ,
Городовъ дать двѣнадцать,—чтобъ въ каждомъ былъ рынокъ богатый,
Подарить мнѣ дворецъ, бѣлый дворъ на морскомъ берегу,
Невозможную вещь обѣщалъ—какъ подарокъ любимой,
Подарить мнѣ перчатки изъ рыбьей хотѣлъ чешуи,
И изъ птичьихъ ты шкурокъ хотѣлъ подарить башмаки мнѣ,
И изъ лучшихъ въ Ирландіи платье тончайшихъ шелковъ.
Мнѣ родная съ тобой говорить не велѣла сегодня,
Не велѣла и завтра, и мнѣ въ воскресенье молчать,
Такъ со мной говорила родимая въ злую минуту,
Въ часъ какъ дверь затворяла, когда обворованъ былъ домъ.
Ты мой отнял востокъ, у меня и мой западъ ты отнялъ,
Все, что было за мною, ты взялъ, все, что тамъ предо мной,
Отнял мѣсяцъ въ ночи, отнял съ мѣсяцемъ яркое солнце,
И мой страхъ говорить, что и Бога ты взялъ у меня.

К. Б а л ь м о н т ь .



М А Р А З М Ъ.

Я долго думалъ, что тихая, безболѣзненная смерть отъ старости, такъ сказать библейская смерть, похожая на сонъ,—есть тотъ идеаль смерти, къ которому должно стремиться человѣчество, но вотъ недавно я увидѣлъ человѣка, котораго не встрѣчалъ уже года три...

Мы сидѣли въ комфортабельномъ уютномъ кабинетѣ хозяина и, по обыкновенію, говорили о войнѣ, когда хозяинъ, выглянувъ въ гостиную, въ привѣтливомъ восклицаніи назвалъ имя моего знакомаго.

Я взглянулъ въ пространство откинутой портьеры, ожидая встрѣтить высокую, энергичную фигуру, хотя и не молодого, но полнаго жизни публициста и талантливаго оратора, и увидѣлъ исхудавшаго, согбеннаго, опиравашагося на трость человѣка съ потухшими глазами, съ жалкимъ выраженіемъ на нервно перекошенномъ лицѣ...

— Здравствуйте, Александръ Григорьевичъ,—сказалъ я, подходя.

Онъ воззрился на меня неузнававшимъ взглядомъ, и тихо, съ привѣтливой улыбкой, отвѣтилъ.

— Здравствуйте.

Хозяинъ началъ знакомить его съ остальными гостями. Онъ всемъ съ тою же привѣтливой улыбкой и также тихо говорилъ: «здравствуйте», затѣмъ съ большимъ трудомъ, опираясь на трость, сѣлъ, и грустными, безучастными глазами сталъ смотрѣть на окружающихъ.

Я подошелъ ближе къ нему. Онъ взглянулъ на меня, на этотъ разъ вспомнилъ, и, протянувъ руку, назвалъ мою фамилію.

Мы разговорились, вспомнили прошлое, вспомнили одно литературное учрежденіе, въ которомъ вмѣстѣ работали.

Онъ вовсе не былъ боленъ, какъ онъ говорилъ, онъ только не могъ ходить, съ трудомъ передвигался при помощи трости, не могъ спать.

— Совѣмъ не сплю, ни ночью, ни днемъ!—съ тою же привѣтливой улыбкой говорилъ онъ,—не могу ходить, и это все отъ старости. Вѣдь мнѣ за семьдесятъ лѣтъ. Но общество люблю непрежнему, и очень признателенъ хозяину за приглашеніе. Мнѣ скучно, такъ какъ я теперь лишенъ возможности не только работать, но даже читать. Я очень устаю отъ своей ужасной бессонницы, такъ что не могу даже написать письма.

За ужиномъ, случайно, мнѣ пришлось сѣсть рядомъ съ нимъ. Опъ ѣлъ съ аппетитомъ, пилъ вино, не отказался отъ кофе съ ликеромъ, и, между прочимъ, замѣтилъ, что не придерживается никакой діеты. Нѣсколько разъ, при моей помощи опъ вставалъ, и, криво держа бокалъ въ трясущейся рукѣ, толково и связно привѣтствовалъ тостомъ хозяйку и хозяина.

Словомъ, опъ велъ себя какъ вполне здоровый, умственно-нормальный человекъ, только движенія его были слабы и замедленны, рѣчь тоже замедленная и тихая, взглядъ грустный и потухшій.

Въ этомъ человекѣ, когда-то отличавшимся стремительно-бурнымъ характеромъ, пылкой ораторской рѣчью, громкимъ, сильнымъ,—тоже чисто ораторскимъ,—голосомъ, рѣзкими движеніями, все какъ-то затихло, умалилось, сошло на нѣтъ...

Здоровый, не страдающій никакою болѣзью, опъ медленно, незамѣтно умиралъ отъ старческаго маразма... У него сохранились привычки человека, любившаго хорошо покушать, и опъ ѣлъ все, что подавалось, ѣлъ много, благодаря сохранившимся зубамъ прекрасно разжевывая пищу, опъ пилъ вино: бѣлое, красное, токайское, не отказался отъ кофе съ ликеромъ и, очевидно, несколько не охмелѣлъ, такъ какъ полупотухшій взглядъ его все время, до конца ужина, сохранилъ то же мертвенное выраженіе.

И временами казалось, будто ѣсть и пить не живой, настоящій человекъ, а какой-то мапекенъ съ медленными, не координированными движеніями ослабшихъ или испорченыхъ, заржавѣвшихъ пружинъ...

Чѣмъ-то отжитымъ, умирающимъ вѣяло отъ Александра Григорьевича, чѣмъ-то не изъ нашего уже живого міра, потустороннимъ, и подъ незамѣтнымъ сразу, но неуклоннымъ этпомъ вѣяшемъ, все какъ-то оказались сгруппировавшимися въ отдаленіи отъ него, по другую сторону стола.

А опъ, видимо, не замѣчая этого, обводилъ всехъ добрымъ, благожелательнымъ взглядомъ своихъ потускиѣвшихъ глазъ, дрожащими пальцами тянулся къ бокалу, и слабымъ голосомъ, раздѣляя слова, очень медленно, съ трудомъ произносилъ привѣтствія хозяйкамъ дома, также, повидному не понимая, о чемъ въ данную минуту шла рѣчь...

Съ тяжелымъ чувствомъ вышелъ я изъ гостепріимнаго дома,—все помнилось лицо охваченнаго старческимъ маразмомъ человека.

Ночь была морозная, звѣздная, тихая. Застывшая Нева представляла громадный, далеко, далеко тянувшійся катокъ, на зеркальной поверхности котораго отражалась длинная гирлянда уличныхъ фонарей.

Легко и ѣмко дышала грудь, и я не чувствовалъ даже привычной боли въ сердцѣ. Кровь равномерно переливалась въ сосудахъ, мнѣ было тепло, хорошо, и въ мозгу, одна за другой, чередовались пріятныя, хорошія мысли... Какъ-будто мнѣ не было моихъ тяжелыхъ шестидесяти-трехъ лѣтъ, не было скучныхъ обязанностей, не было тоски и страха ожиданія скорой смерти, какъ-будто тридцать лѣтъ свалилось съ моихъ плечъ, какъ-будто я былъ молодъ, свободенъ, счастливъ, и кто-то пѣжный, любимый ждалъ меня на моемъ пути...

Веселый мотивъ когда-то любимой моей пѣсенки пришелъ мнѣ на память, и на пустынной, слабо освѣщенной, площади я пропѣлъ ее себѣ подъ носъ...

Въ эти минуты я не думалъ, какъ всегда, о близости смерти, я хотѣлъ жить, и жилъ всеми фибрами своего организма, своего молодого и сильного, какимъ я его теперь чувствовалъ,—организма, и когда въ моемъ воображеніи на мигъ мелькнула только что видѣнная картина маразма,—я воскликнулъ про себя:

«Нѣтъ, нѣтъ, только не это! Пусть смерть придетъ подъ колесами трамвая, въ волпахъ рѣки, наконецъ дома, у себя, въ состояніи безпамятства отъ мозгового удара,—только бы сразу!..»

К. Баранцевичъ.



Е. А. Каравкинъ.
Всеп.

* * *

Въ чужбину по гудящей стали
Лечу, опомнившись едва,
И, вѣря обѣщаньямъ дали,
Твержу вчерашнія слова.

Теперь я знаю: гдѣ-то въ мірѣ,
За далью каменныхъ дорогъ,
На страшномъ, на послѣднемъ пирѣ
Для насъ готовитъ встрѣчу Богъ.

И намъ недолго любоваться
На эти здѣшніе пиры:
Предъ нами тайны обнажатся,
Возблещутъ дальніе міры.

А л е к с а н д р ъ Б л о к ъ .



ИЗЪ ВЪЕЛЕ-ГРИФФЭНА.

З а в т р а , это—царство тѣхъ, кто юнъ лѣтами.
Вотъ ихъ смѣхъ несется,—но душа устала,
И намъ дней минувшихъ, съ пылкими мечтами,
Стыдно—точно платья, что немоднымъ стало!

З а в т р а , это—шопоть осени! Все строже,
Все яснѣй звучитъ онъ въ часъ уединенья.
Я ни въ чемъ не каюсь, но мнѣ больно все же,
И не знаю страха,—но въ душѣ сомнѣнье.

Не томитъ мнѣ сердце жизнь моя былая,—
Юныхъ дней поэму пережилъ я страстно...
Но душа ужъ видитъ, что она—другая,
А что съ нею случилось, ей самой неясно.

Ю р і й В е с е л о в с к і й .

ОБЪ ОПТИМИЗМЪ ВЕРХАРЕНА.

Не оказался пророкомъ Верхаренъ въ своемъ поворотѣ къ оптимизму. Это было всего два года назадъ, когда онъ выпустилъ въ свѣтъ свою книгу стиховъ—*La multiple splendeur*, и миѣ приходится признать почти-что запоздалымъ разборъ этой книги, случайно лишь теперь появившейся въ печати, черезъ годъ послѣ его написанія, въ Сборникѣ въ честь проф. Э. А. Броуна («Чистилище п рай Верхарена», Петроградъ, 1915 г.). Замѣтка требуетъ дополненія и проясненія.

Оптимизмъ, послѣ разгрома Бельгii,—развѣ не кажется намъ вопиющимъ анахронизмомъ? Призывъ восхищаться веѣмъ миромъ и людьми—развѣ это теперь не звучитъ ироніей? Культъ энтузіазма и довѣрія къ человѣку—развѣ не идутъ въ разрѣзъ съ тѣми чувствами глубокаго возмущенія, негодованія и несмытой еще обиды, которыя вызваны отвратительнымъ хищничествомъ германскихъ насильниковъ?

Возможно ли любоваться, благоговѣть и славословить, когда приходится давать отпоръ злой силѣ, проклинать нарушителей права народовъ, скорбѣть о неповинныхъ жертвахъ? Да, не былъ пророкомъ Верхаренъ, призывая въ обобщенной формулѣ восхищаться другъ другомъ: *admirez-vous les uns les autres... admirez l'homme et admirez la terre...*

И все таки, съ извѣстной точки зрѣнія, поэтъ былъ правъ, и я, по существу, не измѣню своего отношенія къ его новой вѣрѣ, приобретенной имъ съ приближеніемъ къ возрасту, когда уже зрѣетъ мудрость и человѣкъ ищетъ примирительнаго аккорда въ противорѣчiяхъ жизни. Извѣстный афоризмъ Ренана, что—«истина въ отгѣнкахъ», примѣнимъ и въ данномъ случаѣ къ переливамъ образной мысли Верхарена. А главный «отгѣнокъ» въ его стихахъ во славу человѣчества—это проясненіе значенія страданій.

«Нужно веѣмъ восхищаться, чтобы возвыситься самому» — писалъ Верхаренъ въ стихотвореніи «Жизнь». Но слѣдомъ онъ прибавляетъ: «чтобы стать выше тѣхъ, которые жили преступными страданіями и побѣжденными желаніями». О, въ этихъ загадочныхъ на первый взглядъ словахъ Верхаренъ еще можетъ оказаться провидцемъ: страдаютъ и враги, но ихъ страданія преступны, ибо они вызваны преступной волей нарушенія человѣческихъ правъ и справедливости. Ихъ желанія должны стать побѣжденными, ибо дѣйствительно:

L'après réalité formidable et suprême
Distille une assez rouge et tonique liqueur
Pour s'en griser la tête et s'en brûler le coeur.

«Суровая дѣйствительность, ужасная и возвышенная, выдѣляетъ достаточно багровый и крѣпительный напитокъ, чтобы опьянить голову и воспламенить сердца». Этимъ напѣткомъ мы всѣ теперь опьянены и прежде всего, конечно, воспламенились сердца мужественныхъ бельгійцевъ, отстаивавшихъ пядь за пядью свою «нейтральную» страну, ставшую добычей хищниковъ.

Они шли на смерть, не имѣя другой защиты, кромѣ своей, «ясной гордости» (clair orgueil), въ сознаниі своего права; они шли въ упорной надеждѣ сломить преграду— «несокрушимымъ желаніемъ, быстрой сообразительностью, широкимъ терпѣніемъ (Rassemble patience), «осилить со временемъ, и если этого не случилось до сихъ поръ, то это должно произойти.— «И человѣческая битва,—слабое и мерцающее отраженіе величавыхъ столкновеній и золотыхъ сплетеній созвѣздіи тамъ, наверху,—такъ сильно опьяняетъ, что живешь во всемъ, что дѣйствуетъ, борется, трепещетъ, и жадно, съ открытымъ сердцемъ, воспринимаешь суровый и страшный законъ, который управляетъ міромъ». Этотъ законъ — борьба. «Жизнь скучна, когда боренья нѣтъ» — писалъ и Лермонтовъ. Верхаренъ, какъ указано, не отрицаетъ закона борьбы и въ людскомъ обществѣ, но его влечетъ къ тому отдаленному будущему,— «котораго уже слышны шаги», — когда теперешнее бореніе выльется въ великую гармонию природныхъ и человѣческихъ силъ.

«Время—ложь, оно бѣжитъ;—Тотъ живетъ лишь, кто творитъ», — писалъ поэтъ въ другомъ стихотвореніи: «Смерть». Въ предѣлахъ человѣческаго сознанія увѣковѣчиваются временныя явленія жизни и творчество создаетъ имъ безсмертье. «Розы зацвѣтутъ на гробницахъ... Жизнь тамъ, въ вышинѣ, смерть подъ землей—сплетаютъ таинственные цвѣты на челѣ твоей вѣчности». Она есть, эта вѣчность, она преодолѣетъ смерть, и потустороннія тайны, сливаясь съ тѣмъ, что здѣсь мгновенно и преходяще, создаютъ особый міръ устойчивыхъ на вѣки цѣнностей. Благо тому, кто не отворачивается отъ высшей правды: онъ самъ можетъ и погибнуть, но онъ творитъ вѣчное, и «цвѣты тайны вѣчности» заблещутъ на его челѣ. Не погибнетъ бельгійскій народъ, даже лишенный своей страны, которою лишь временно могли овладѣть смотрящіе въ землю и обреченные безславно лежать подъ землей, утратившіе духовную красоту мрачные «рейтеры», поклоняющіеся только Богу войны. И вотъ почему еще милитаризмъ осужденъ на гибель.

«Нѣкогда, въ царственныхъ легендахъ, во времена боговъ, властителей небесъ глубокихъ, божественный Персей и святой Георгій пронизывали чудесной молніей своей мысли (человѣческое) горе, оцѣтинившееся въ своемъ драконовскомъ воплощеніи (изъ стихотв. «Les souffrances»). «Нынѣ эта борьба продолжается внутри насъ. И что за дѣло намъ до всѣхъ мечей и ножей, болѣзней и пожаровъ, если только— «пламенное желаніе, противясь подлостямъ будней, на развалинахъ побѣжденнаго зла поднимаетъ цвѣты все краше» ... Вотъ эта черта, неуклонно выдвигаемая Верхареномъ,—непоколебимой воли къ добру презрѣнія къ пошлости и «подлости будней» благородная гордость въ сознаниі своей правоты, та гордость, которая— «властвуетъ надъ вашей душой и стережетъ порогъ отъ горькой жалобы», —эти свойства духовной организаци самосознающей личности указываютъ на героическій закалъ тѣхъ, кто сумѣлъ,—когда борьба изъ внутренней вновь стала внѣшней, съ назойливымъ врагомъ, стать на защиту своей родины, не допустивъ горькую и слабодушную жалобу переступить порогъ души, подвластной только чувству своего достоинства. Не всякая гордость предо-

судительна. Гордость въ сознаниі себя человѣкомъ, въ настоящемъ смыслѣ слова, гордость въ признаніи ненарушимости священныхъ правъ человѣка и народа, ведетъ людей на подвигъ. Она достойна восхищенія, служа оплотомъ противъ боязни страданій. Страшатея страданій лишъ малодушные. Они кажутся нестерпимыми тѣмъ, кто не вѣритъ въ конечную побѣду благихъ началъ надъ зломъ. Оптимизмъ Верхарена даетъ новую опору мужественно переносить испытанія и не отворачиваться отъ страданій. Пусть поэтъ не оказался пророкомъ въ прославленіи радостей земли: онъ остается провидцемъ въ томъ, какъ надлежитъ бороться со зломъ, и сулитъ намъ его преодоленіе.

О. Б а т ю ш к о в ъ.



Е. С. Кругликовой.
Раненые.

ПИРШЕСТВО ВОЙНЫ.

Война здѣсь прошла, прокричала
Стальными глотками нушекъ,
Въ рукѣ дома изломала,
Какъ вязку хрустнувшихъ сушекъ.

Вотъ тамъ, за сырымъ перелѣскомъ
Гости Войны сидѣли.
Она забавляла ихъ блескомъ
Пускаемыхъ къ небу пращелей.

Смерть—сестру пригласила. «Участвуй»,—
Ей сказала,— «какъ старшая въ пирѣ!»
подавались роскошныя яства,
Какихъ и не видѣли въ мирѣ.

Были вина и хмельны и сладки,
Ихъ похваливалъ Бой-собутыльникъ.
Обильные пира остатки
Скрываетъ теперь чернобыльникъ.

День и ночь продолжался праздникъ,
Вкругъ, отъ браги багряной, все смолкло...
Только кто жъ изъ гостей, безобразникъ,
Перебилъ въ дальнихъ окнахъ стекла?

Кто, шутникъ неумѣстно-грубый,
Подпалилъ подъ копецъ чертоги?
И теперь торчатъ только трубы
Обгорѣлыя,—вдоль дороги.

Валерій Брюсовъ.

Ноябрь, 1914.
Ловичъ.

ГРАММАТИКА ЛЮБВИ.

Однажды въ началѣ юня нѣкто Ивлевъ ѣхалъ на лошадахъ въ дальній край своего уѣзда.

Тарантасъ съ кривымъ пыльнымъ верхомъ далъ ему шуринъ, въ имѣніи котораго онъ проводилъ лѣто. Тройку лошадей, мелкнхъ, но справныхъ, съ густыми сбитыми гривами, напаялъ онъ на деревнѣ, у богатаго мужика. Правильнми сынъ этого мужика, малый лѣтъ восемнадцати, тупой, хозяйственный. Онъ все о чемъ-то недовольно думалъ, былъ какъ будто чѣмъ-то обпженъ, не понималъ шутокъ. И убѣдившись, что съ нимъ не разговоришься, Ивлевъ скоро тоже смолкъ и отдался той спокойной и безцѣльной наблюдательности, которая такъ идетъ къ ладу копытъ и громыханію бубенчиковъ.

Ѣхать сначала было очень пріятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, въ поляхъ множество цвѣтовъ и жаворонковъ; съ хлѣбовъ, съ невысокихъ сизыхъ ржей, простирившихся пасколько глазъ хватить, дулъ сладкій пѣтерокъ—песъ по ихъ косякамъ цвѣточную пыль, мѣстами дымилъ ею, и вдали отъ нея было даже туманно. Малый, въ новомъ картузѣ и пеуклюжемъ люстриповомъ пиджакѣ, сидѣлъ прямо; то, что лошади всецѣло ввѣрены ему и что онъ наряженъ, дѣлало его особенно серьезнымъ. А лошади кашляли и не спѣша бѣжали, валекъ пристяжки порою скребъ но колесу, порою натягивался, и все время мелькала подъ нимъ бѣлой сталью стертая подкова.

— Къ графу будемъ заѣзжать?—спросилъ малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонтъ своими лозинами и садомъ.

— А зачѣмъ?—сказалъ Ивлевъ.

Малый, помолчавъ и сбивъ кнутомъ прилиншаго къ лошади крупнаго овода, сумрачно отвѣтилъ:

— Да чай пить...

— Не чай у тебя въ головѣ!—сказалъ Ивлевъ.—Все лошадей жалѣешь.

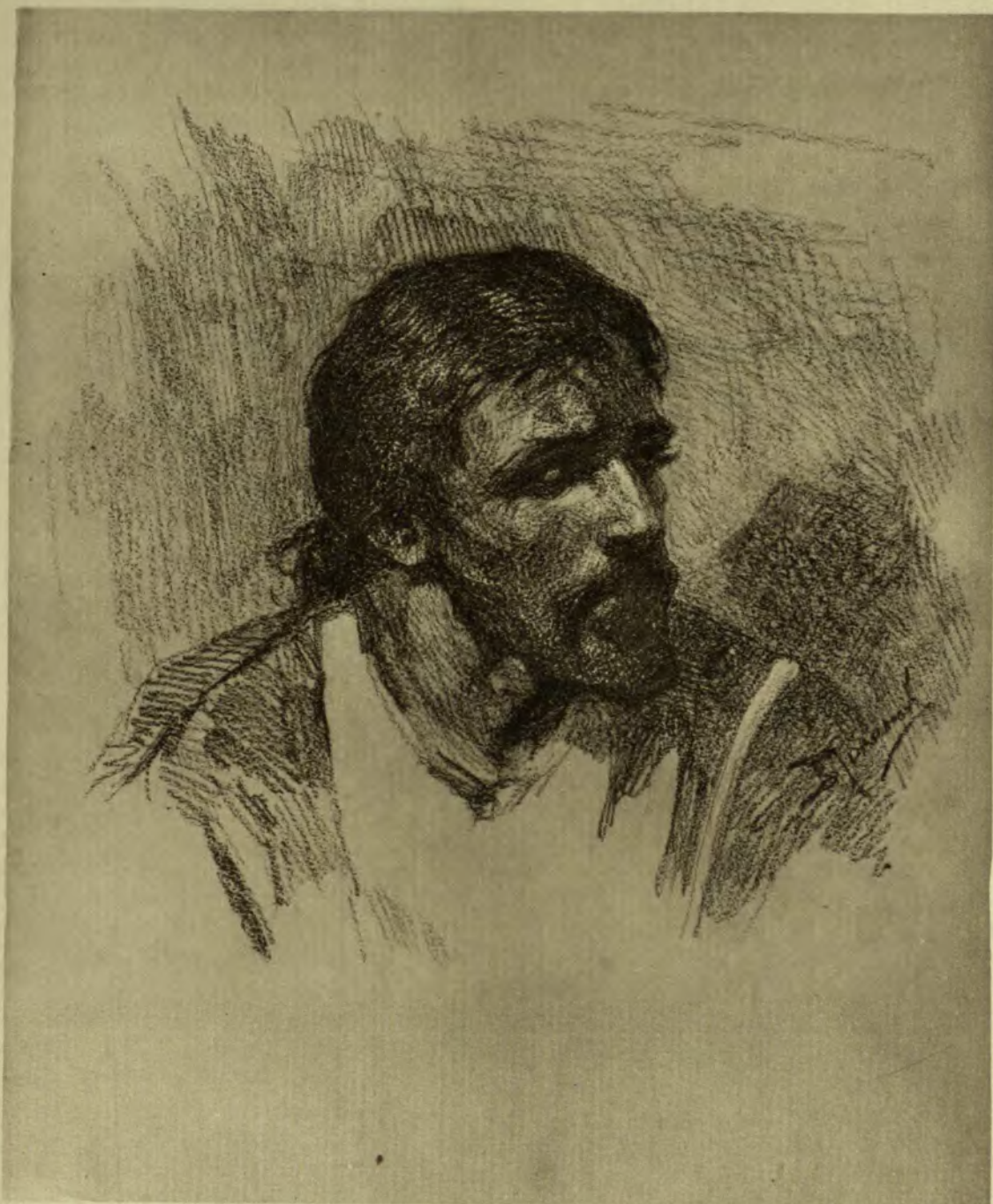
— Лошадь ѣзды не бонтея, она корму бонтея,—отвѣтилъ малый съ полонительностью пожилого мужика.

Ивлевъ поглядѣлъ кругомъ: погода поскучнѣла, со веѣхъ сторонъ натянуло легкихъ линючихъ тучъ, и уже накрапывало—эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями. Но спорить не хотѣлось. Старикъ въ очкахъ, пахавшій возлѣ деревни, сказалъ, что дома одна молодая графиня; по все-таки заѣхали. Малый патянулъ на плечи армякъ и, довольный тѣмъ, что лошади

отдыхаютъ, спокойно мокъ подъ дождемъ на козлахъ тарантаса, остановившагося среди грязнаго двора, возлѣ каменнаго корыта, вросшаго въ землю, истыканную копытами скота. Онъ оглядывалъ свои сапоги, поправлялъ кнутовищемъ шлею на коренникѣ; а Ивлевъ сидѣлъ въ темнѣющей отъ дождя гостиниой, болталъ съ графиней и ждалъ чаю: уже пахло горячей лучиной, густо плыль мимо открытыхъ оконъ зеленый дымъ самовара, который босая дѣвка пабивала на крыльцѣ пуками ярко пылающихъ щепокъ, обливая ихъ кероенопомъ. Графиня была въ широкомъ розовомъ капотѣ, съ открытой напудренной грудью; она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугія и круглыя руки; затягиваясь и смѣясь, она все сводила разговоръ на любовь, и между прочимъ разсказывала про своего близкаго соседа, помѣщика Хвоцинскаго, который, какъ зналъ Ивлевъ еще съ дѣтства, всю жизнь былъ помѣшанъ на любви къ своей горничной Лушкѣ, умершей въ ранней молодости.— «Ахъ, эта легендарная Лушка!—замѣтилъ Ивлевъ шутливо, слегка копфузаясь своего признанія.—Оттого, что этотъ чудакъ обоготворилъ ее, всю жизнь посвятилъ сумасшедшимъ мечтамъ о ней, я въ молодости былъ почти влюбленъ въ нее, воображалъ, думая о ней, Богъ знаетъ что, хотя она, говорятъ, совѣтъ не хороша была собой». — «Да?—сказала графиня, не слушая и подражая въ манерѣ говорить своему новому кругу.—Онъ вѣдь, знаете, умеръ нынѣшней зимой. И Писаревъ, единственныи, кого онъ иногда допускалъ къ себѣ по старой дружбѣ, утверждаетъ, что во всемъ остальномъ онъ несколько не былъ помѣшанъ, а я вполне вѣрю этому—просто онъ былъ не теперешнимъ чета...» Наконецъ босая дѣвка съ необыкновенной осторожностью подала на старомъ серебряномъ подносѣ стаканъ крѣпкаго сиваго чая изъ прудовки и корзиночку съ печеньемъ, засиженнымъ мухами.

Когда поѣхали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднятъ верхъ, закрыться каляпымъ, соохшимся фартукомъ, сидѣть согнувшись. Но громыхали глухарями лошади, по ихъ темнымъ и блестящимъ ляжкамъ бѣжали струйки, подъ колесами сочно шуршали травы какого-то рубежа среди хлѣбовъ, гдѣ малый поѣхалъ въ надеждѣ сократить путь, подъ верхъ набирался теплый ржаной духъ, мѣшавшійся съ запахомъ стараго тарантаса,—ѣхать было все-таки отлично.— «Такъ вотъ оно что, Хвоцинскій умеръ,—думалъ Ивлевъ.—Надо непременно заѣхать, хоть взглянуть на это опустѣвшее святилище таинственной Лушки... Но что въ самомъ дѣлѣ былъ за человекъ этотъ Хвоцинскій? Сумасшедшій или просто какаля-то ошеломленная, вся на одномъ сосредоточенная душа?» По разсказамъ стариковъ-помѣщиковъ, сверстниковъ Хвоцинскаго, онъ когда-то слылъ въ уѣздѣ за рѣдкаго умницу. И вдругъ свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потомъ неожиданная смерть ея—и все пошло прахомъ: онъ затворился въ домѣ, въ той комнатѣ, гдѣ жила и умерла Лушка и больше двадцати лѣтъ просидѣлъ на ея кровати—не только никуда не выѣзжалъ, а даже у себя въ усадьбѣ не показывался никому, пасквозь просидѣлъ матрасъ на Лушкиной кровати и Лушкиному вліянію приписывалъ буквально все, что совершалось въ мірѣ: гроза заходитъ—это Лушка насылаеть грозу, объявлена война—значить такъ Лушка рѣшила, неурожай случился—не угодили мужики Лушкѣ...

— Ты на Хвоцинское что-ли ѣдешь?—крикнулъ Ивлевъ, высовываясь подъ дождь.



В. Д. Полъновъ.
Рисунокъ къ картинъ
«Кто изъ васъ безъ грѣха?»

— На Хвоцинское,—невнятно отозвался сквозь шумъ дождя малый, съ обвѣснаго картуза котораго уже текла вода.—На этотъ, на писаревъ верхъ...

Такого пути Ивлевъ не зналъ, и это тоже было пріятно. Мѣста становились все бѣднѣе и глуше. Кончился рубежъ, лошади пошли шагомъ и спустили покосившійся тарантасъ размытой колдобиною подъ горку, въ какіе-то еще некосенные луга, зеленые скаты которыхъ грустно выдѣлялись на низкихъ тучахъ. Потомъ дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить съ одного бока на другой по днищамъ овраговъ, по буеракамъ въ ольховыхъ кустарникахъ и верболозахъ... Была чья-то маленькая пасѣка, нѣсколько колодокъ, столбикъ на скатѣ въ высокой травѣ, краснѣющей земляникой... Обѣхали какую-то старую плотину, потонувшую въ крапивѣ, и давно высохшій прудъ,—глубокую яругу, заросшую бурьянами выше человѣческаго роста... Пара черныхъ куличковъ съ плачемъ метнулась изъ нихъ въ дождливое небо. А на плотинѣ, среди крапивы, мелкими блѣдно-розовыми цвѣточками цвѣлъ большой старый кустъ, то милое деревцо, которое зовутъ «божьимъ деревомъ» — и вдругъ Ивлевъ вспомнилъ мѣста, вспомнилъ, что не разъ ѣздилъ тутъ въ молодости верхомъ, съ ружьемъ за плечами...

— Говорятъ, она тутъ утопилась-то,—неожиданно сказалъ малый и даже слегка обернулся.

— Ты про любовницу Хвоцинскаго, что ли?—спросилъ Ивлевъ.—Это неправда, она и не думала топить.

— Нѣтъ, утопилась,—сказалъ малый.—Но только думается, онъ скорѣй всего отъ бѣдности отъ своей ешелъ съ ума, а не отъ ней...

И помолчавъ прибавилъ:

— А памъ пакопецъ опять падо заѣзжать... въ это, въ Хвоцино-то.

— Сдѣлай милость,—сказалъ Ивлевъ.—Только почему «пакопецъ»?

— Лошади уморились, вотъ почему,—отвѣтилъ малый грубо, пошевеливая возжами надъ тройкой, взбравшейся на бугоръ.

На бугрѣ, куда вела оловянная отъ дождевой воды дорога, на мѣстѣ сведеннаго лѣса, среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиповой поросли, горько и свѣжо пахнувшей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругомъ,—только овсянки, сидя подъ дождемъ на высокихъ цвѣтахъ, звенѣли на весь рѣдкій лѣсъ, поднимавшійся за избою,—но когда тройка, шлепая по грязи, поровнялась съ ея порогомъ, откуда-то вырвалась цѣлая орава собакъ невѣроятныхъ размѣровъ, черныхъ, шоколадныхъ, дымчатыхъ, и съ яростнымъ лаемъ закипѣла вокругъ лошадей, взвиваясь къ самымъ ихъ мордамъ, па лету перевертывалась и прыдая даже подъ верхъ тарантаса. Въ то же время и столь же неожиданно небо падъ тарантасомъ расколосось отъ оглушительнаго удара грома, ни разу не гремѣвшаго за весь день, а малый съ остервенѣніемъ кинулся драть собакъ кнутомъ—и лошади вскачь понесли среди замелькавшихъ передъ глазами осиповыхъ стволонъ...

За лѣсомъ уже видно было Хвоцинское. Собаки отетали и сразу смолкли, дѣловито побѣжали назадъ, лѣсъ разступился и впереди опять открылись поля. Вечерѣло, и тучи не то расходились, не то заходили теперь съ трехъ сторонъ: слѣва—почти черная, съ голубыми просвѣтами, справа—сѣдая, грохочущая непрерывнымъ громомъ, а съ запада, изъ-за хвоцинской усадьбы, изъ-за косогоровъ надъ рѣчной долиной,—мутно-синяя, въ пыльныхъ полосахъ дождя, сквозь

которыя розовѣли горы дальнихъ облаковъ. Но надъ тарантасомъ дождь рѣдѣлъ, и, приподнявшись, Ивлевъ, весь закиданный грязью, съ удовольствіемъ завалилъ назадъ отяжелѣвшій верхъ и свободно вздохнулъ пахучей сыростью поля.

Онъ глядѣлъ на приближающуюся усадьбу, видѣлъ наконецъ то, о чемъ слышалъ такъ много, но попрежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лѣтъ тому назадъ, а чуть ли не во времена незапамятныя. По долинуѣ терялся въ кугѣ слѣдъ мелкой рѣчки и надъ пей летала бѣлая рыбалка. Дальше, на полугорѣ, лежали ряды сѣна, потемнѣвшіе отъ дождя, а среди нихъ, далеко другъ отъ друга, раскидывались старые серебристые тополи. Домъ, довольно большой, когда-то бѣлый, съ блестящей, мокрой крышей, стоялъ на совершенно голомъ мѣстѣ. Не было кругомъ ни сада, ни построекъ—только два кирпичныхъ столба на мѣстѣ воротъ да лопухи по канавамъ. Когда лошади въ бродѣ перешли рѣчку и поднялись на гору, какая-то женщина въ лѣтнемъ мужскомъ пальто съ обвѣшными карманами гнала по лопухамъ индюшекъ. Фасадъ дома былъ необыкновенно скученъ: оконъ въ немъ было мало и все они были невелики, сидѣли въ толстыхъ стѣнахъ глубоко. Зато огромны были мрачныя крыльца. Съ одного изъ нихъ удивленно глядѣлъ на подѣзжающихъ молодой человѣкъ въ сѣрой гимназической блузѣ, подпоясанный широкимъ ремнемъ, черный, съ красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было блѣдно и отъ веснушекъ пестро, какъ птичье яйцо.

Нужно было чѣмъ-нибудь объяснить свой заѣздъ. Поднявшись на крыльцо и назвавъ себя, Ивлевъ сказалъ, что хочетъ посмотрѣть и, можетъ быть, купить библиотеку, которая, какъ говорила графиня, осталась отъ покойнаго. И молодой человѣкъ, густо покраснѣвъ и одергивая сзади свою блузу, тотчасъ же повелъ его въ домъ.—«Такъ вотъ это и есть сынъ знаменитой Лушки!»—подумалъ Ивлевъ, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишній разъ взглянуть на хозяина, который казался слишкомъ моложавъ для своихъ лѣтъ. Тотъ отвѣчалъ поспѣшно, по односторонне, путался, видимо, и отъ застѣнчивости, и отъ жадности: что онъ страшно обрадовался возможности продать книги и вообразилъ, что сбудетъ ихъ недешево, сказалось въ первыхъ же его словахъ, въ той неловкой торопливости, съ которой онъ заявилъ, что такихъ книгъ, какъ у него, ни за какія деньги нельзя достать. Черезъ полутемныя сѣни, гдѣ была настлана красная отъ сырости солома, онъ ввелъ Ивлева въ большую переднюю.

— Тутъ вотъ и жилъ вашъ батюшка?—спросилъ Ивлевъ, входя и снимая шляпу.

— Да, да, тутъ,—поспѣшилъ отвѣтить молодой человѣкъ.—То-есть, конечно, не тутъ, не совсѣмъ тутъ... они вѣдь больше всего въ спальнѣ сидѣли... Но, конечно, и тутъ бывали... по почамъ, то-есть...

— Да, я знаю, онъ вѣдь уже давно былъ боленъ,—сказалъ Ивлевъ.

Молодой человѣкъ вспыхнулъ.

— То есть чѣмъ боленъ?—спросилъ онъ, и въ голосѣ его послышались болѣе мужественныя ноты.—Нѣтъ, это не правда, это все сплетни, они умственно нисколько не были больны... Они только читали по цѣлымъ днямъ и никуда не выходили, вотъ и все... Да нѣтъ, вы, пожалуйста, не снимайте шляпу, тутъ очень холодно, мы вѣдь не живемъ въ этой половинѣ...

Правда, въ домѣ было гораздо холоднѣе, чѣмъ на воздухѣ. Въ непривѣтливой передпей, оклеенной газетами, на подоконникѣ печальпаго отъ тучъ окна стояла лубяная перепелиная клѣтка. По полу самъ собою прыгалъ сѣрый мѣшочекъ. Наклонившись, молодой человекъ поймалъ его и положилъ на лавку, и Ивлевъ понялъ, что въ мѣшочкѣ сидитъ перепелъ. Затѣмъ вошли въ залъ. Эта комната, окнами на западъ и на сѣверъ, занимала чуть не половину всего дома. Въ одно окно, на золотѣ расчищающейся за тучами зари, видна была столѣтняя, вся черная плакучая береза, въ остальные—высоки засыхающій акатникъ. Передній уголъ весь былъ занятъ божницей безъ стеколъ, уставленной п увѣшенной образами; среди нихъ выдѣлялся и величиной и древностью образъ въ серебряной ризѣ, и на немъ, желтѣя воскомъ, какъ мертвымъ тѣломъ, лежали въпчальные свѣчи въ блѣдно-зеленыхъ бантахъ.

— Простите, пожалуйста,—началъ было Ивлевъ, превозмогая стыдъ,—развѣ вашъ батюшка...

— Нѣтъ, это такъ,—пробормоталъ молодой человекъ, мгновенно появивъ его.—Они такъ ее любили, что... уже послѣ ея смерти купили эти свѣчи... и даже обручальное кольцо всегда носили...

Мебель въ залѣ была собрана какая попало, и все топорная. Зато въ простѣнкахъ стояли прекрасныя горки, полныя сверху до низу фарфоровыми вещичками, хрусталемъ, чайной посудой и бокалами въ золотыхъ ободкахъ. А полъ весь былъ усыпанъ колѣблыми пчелами, которыя щелкали подъ ногами. Пчелами усыпана была и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то сумрачную комнату съ лежанкой, съ черными масляными картинами на синихъ стѣнахъ, молодой человекъ остановился возлѣ низенькой двойной двери и вынулъ изъ кармана брюкъ большой ключъ. Съ трудомъ повернувъ его въ ржавой замочной скважинѣ, онъ распахнулъ двери, что-то пробормоталъ—п Ивлевъ увидѣлъ почти каморку, въ два окна; у одной стѣны ея стояла желѣзная голая койка, у другой—два книжныхъ шкапчика изъ корельской березы.

— Это и есть библіотека?—спросилъ Ивлевъ, подходя къ одному изъ нихъ.

И молодой человекъ, послѣшивъ отвѣтить утвердительно, помогъ ему растворить шкапчикъ и жадно сталъ слѣдить за его руками.

Престранныя книги составляли эту библіотеку. Раскрывалъ Ивлевъ толстые переплеты, отворачивалъ шершавую сѣрую страницу и читалъ: *Заклятое урочище... Утренняя звѣзда и ночные демоны... Размышленія о таинствахъ мірозданія... Чудесное путешествіе въ волшебный край... Новѣйшій сонникъ...* А рукъ все-таки слегка дрожали. Такъ вотъ чѣмъ питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась отъ міра въ этой каморкѣ и еще такъ недавно ушла изъ нея!—Но, можетъ быть, она, эта душа, и впрямь не совсѣмъ была безумна? «Есть бытіе,—вспомнилъ Ивлевъ стихи Боратынскаго,—есть бытіе, по пменемъ какимъ его назвать? Ни сонъ оно, ни бдѣнье:—м е ж ь н и х ь о н о, п въ человекѣ имъ съ безуміемъ граничить разумѣнье...» Раскисило на западѣ, золото глядѣло оттуда изъ-за красивыхъ липоватыхъ облаковъ и странно озаряло этотъ бѣдный пріютъ любви, любви непонятной, въ какое-то эстетическое житіе превратившей цѣлую человеческую жизнь, которой, можетъ, подлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной въ своемъ обаяніи Лушки...

Взявъ изъ-подъ койки скамеечку, Ивлевъ сѣлъ передъ шкапомъ и вынулъ папиросы, незамѣтно оглядывая и запоминая комнату.

— Вы курите?—спросилъ онъ молодого человѣка, стоявшаго надъ нимъ. Тотъ опять покраспѣлъ.

— Курю,—пробормоталъ онъ и попытался улыбнуться:—То-есть не то что курю, скорѣе балуюсь... А впрочемъ позвольте, очень благодаренъ вамъ...

И неловко взявъ папиросу, закурилъ дрожащими руками, отошелъ къ подоконнику и паполовину сѣлъ на него, загораживая желтый свѣтъ зари.

— А это что?—спросилъ Ивлевъ, наклоняясь къ средней полкѣ, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвенникъ, и стояла шкатулка, углы которой были обдѣланы въ серебро, уже побѣлѣвшее и стертые отъ времени.

— Это такъ... ожерелье покойной матушки,—запнувшись, но стараясь говорить небрежно, отвѣтилъ молодой человѣкъ.

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста... хотя оно вѣдь очень простое... вамъ не можетъ быть интересно...

И открывъ шкатулку, Ивлевъ увидѣлъ заношенный шнурокъ, а на немъ—снизу дѣйствительно очень дешевенькихъ голубыхъ шариковъ, похожихъ на камешные. И такое волненіе овладѣло имъ при взглядѣ на эти шарики, нѣкогда лежавшіе на шеѣ той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образъ уже не могъ не быть прекраснымъ, что зарябило въ глазахъ отъ сердцебіенія... Насмотрѣвшись, Ивлевъ осторожно поставилъ шкатулку на мѣсто; потомъ взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти сто лѣтъ тому назадъ «Грамматика любви, или искусство любить и быть взаимно любимымъ».

— Эту книжку я, къ сожалѣнію, не могу продать,—съ трудомъ проговорилъ молодой человѣкъ.—Она очень... дорогая... они даже подъ подушку ее себѣ клали...

— Но, можетъ быть, вы позволите хотя посмотрѣть ее?—сказалъ Ивлевъ.

— Пожалуйста,—прошепталъ молодой человѣкъ.

И превозмогая неловкость, смутно томясь его пристальнымъ взглядомъ, Ивлевъ сталъ медленно перелистывать «Грамматику любви». Она вся дѣлилась на маленькія главы: о красотѣ, о сердцѣ, объ умѣ, объ обращеніи, о знакахъ любовныхъ, о нападеніи и защищеніи, о размолвкѣ и примиреніи, о любви платонической... Каждая глава состояла изъ коротенькихъ, изящныхъ, порою очень тонкихъ сентенцій, и нѣкоторыя изъ нихъ были деликатно отмѣчены перомъ, красными черпилами.—«Любовь не есть простая эпизода въ нашей жизни,—читалъ Ивлевъ.—Разумъ нашъ противорѣчитъ сердцу и не убѣждаетъ опого.—Женщины никогда не бываютъ такъ сильны, какъ когда онѣ вооружаются слабостью.—Женщину мы обожаемъ за то, что она владычествуетъ надъ нашей мечтой идеальной.—Тщеславіе выпраетъ, истинная любовь не выбираетъ.—Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежитъ женщинамъ милой. Сія-то дѣлается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадимъ о ней отчетъ сами себѣ, сердце наше дѣлается и е-в-о-л-ь-н-и-к-о-мъ-л-ю-б-в-и-н-а-вѣ-к-и... Затѣмъ шло «изъясненіе языка цвѣтовъ», и опять кое-что было отмѣчено и опять съ выборомъ, отвѣчавшимъ

душѣ покойнаго: «Дикой макъ—печаль.—Верескледъ—твоя прелесть запечатлѣна въ моемъ сердцѣ.—Могильница—сладостныя воспоминанія.—Печальный гераній—меланхолія.—Полынь—вѣчная горестъ» ... А на чистой страничкѣ въ самомъ концѣ было мелко, бисерно написано тѣми же красными чернилами восьмистишіе. Молодой человѣкъ вытянулъ шею, заглядывая въ «Грамматику любви» и, краснѣя, сказалъ съ дѣланной усмѣшкой:

— Это они сами сочинили... Даже разъ призвали меня и прочли...

Черезъ полъ-часа Ивлевъ съ облегченіемъ простился съ нимъ. Изъ всѣхъ книгъ онъ за очень дорогую цѣну купилъ только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла въ облакахъ за полями, желто отвѣчивала въ лужахъ, мокро и зелено было въ поляхъ. Малый не спѣшилъ, но Ивлевъ не попукалъ его. Малый рассказывалъ, что та женщина, которая давеча гнала по лопухамъ индюшекъ,—жена березовскаго дьякона, что молодой Хвоцинскій уже давно живетъ съ нею, что у него уже есть дѣти. Ивлевъ не слушалъ. Онъ все думалъ о Лушкѣ, о ея ожерельѣ, которое оставило въ немъ чувство сложное, похожее на то, какое испыталъ онъ когда-то въ одномъ итальянскомъ городкѣ при взглядѣ на реликвию одной святой.—«Вошла она навсегда въ мою жизнь!»—подумалъ Ивлевъ. И вынувъ изъ кармана «Грамматику любви», медленно перечиталъ при свѣтѣ зари стихи, написанные на ея послѣдней страницѣ:

Обречены съ тобой мы оба
На грусть въ семь міръ жи и зла!
Моя любовь была до гроба,
Она со мною умерла.

Но ей сердца любившихъ скажутъ:
«Въ преданьяхъ сладостныхъ живи!»
И правнукамъ своимъ покажутъ
Сію Грамматику Люви.

И в. Буицъ.

18. II. 1915.



КЪ ДЕМЕТРЪ.

(Изъ гомеровыхъ гимновъ)

Съ древне-греческаго.

Такъ называемые «гомеровы гимны» относятся къ литературной эпохѣ, значительно болѣе поздней, чѣмъ поэмы Гомера. Древнѣйшіе изъ нихъ сложены, вѣроятно, не раньше VII вѣка до Р. X. Прежде, чѣмъ приступить къ исполненію эпического произведенія, рапсоды, въ видѣ вступленія, декламировали такой гимнъ, посвященный тому или другому изъ божествъ.—Предлагаемый гимнъ къ Деметрѣ сложенъ въ Атикѣ въ началѣ шестого столѣтія, во времена Солона, и найденъ сравнительно совсѣмъ недавно, въ 1780 г., у насъ въ Москвѣ. Рукопись кое-гдѣ попорчена, въ текстѣ есть нѣсколько перерывовъ,—впрочемъ, не мѣшающихъ общему пониманію поэмы. Эти пробѣлы обозначены у насъ звѣздочками, недостающіе отдѣльные стихи—точками.

1. Пышноволосяю пѣть начинаю Деметру-богиню
Съ дочерью тонколодыжной, которую тайно похитилъ
Аидопей, съ изволенья пространно гремящаго Зевса.
Не было матери съ ней, златосерпой Деметры, въ то время.
5. Въ сонмѣ подругъ полногрудыхъ, рожденныхъ сѣдымъ Океаномъ,
Дѣва играла на мягкомъ лугу и цвѣты собирала,
Присы, розы срывая, фіалки, шафранъ, глацинты,
Также нарциссы,—цвѣтокъ, изъ себя порожденный Землею,
По наущенію Зевса, царю-Полидекту *) въ угоду,
10. Чтобъ цвѣтколицую дѣву прельстить,—цвѣтокъ благовопный,
Ярко блистающій, диво на видъ для боговъ и для смертныхъ.
Сотня цвѣточныхъ головокъ отъ корня его поднималась,
Благоуханью его все небо широкое сверху,
Вся улыбалась земля и горько-соленое море.
15. Руки къ прекрасной утѣхѣ въ восторгѣ она протянула
И ужъ сорвать собиралась,—какъ вдругъ раскололась ширѣко
Почва Нисейской равнины, и прынулъ на кѣняхъ безсмертныхъ
Гостепріимецъ-владыка, сынъ Кроноса многоимянный.
Дѣву насильно схвативъ, онъ ее въ золотой колесницѣ
20. Быстро помчалъ. Завопила пронзительнымъ голосомъ дѣва,
Милаго клича отца, высочайшаго Зевса-Кронида.

*) Полидектъ, Полидегмонъ, Гостепріимецъ, Аидопей—
названія «многоимяннаго» Аида, властителя подземнаго царства.

- Но не услышалъ призыва ея ни одинъ изъ безсмертныхъ,
 И ни одинъ изъ людей, ни одна изъ подругъ пышпорокпхъ.
 Слышала только изъ темной пещеры Персеева дочь,
 25. Нѣжная духомъ Геката, блестящеодежная дѣва.
 Слышалъ и Геліосъ-царь, Гиперіоновъ сынъ лучезарный,
 Какъ призывала богиня Кронида-отца. Но далеко
 Въ многомолитвенномъ храмѣ отецъ пребывалъ въ это время,
 Отъ земнородныхъ людей принимая прекрасныя жертвы.
 30. Дѣву-же, противъ желанья ея, наущеніемъ Зевса,
 Прочь отъ земли на безсмертныхъ коняхъ увлекалъ ея дядя,
 Гостенришмець-властитель, сынъ Кроноеа многомянный.
 Все-же, покамѣсть земля и богатое звѣздами небо,
 И многорыбное, сильно текущее море, и солнце
 35. Съ глазъ не исчезли ея,—надежды она не теряла
 Добрую мать увидать и племя боговъ вѣковѣчныхъ:
 Въ горькой печали надежда ей все еще тѣшила душу...

* * * *

- Ахнули тяжело отъ вопля безсмертнаго темныя бездны
 Моря и горныя главы. И вопль этотъ мать услышала.
 40. Горе безмѣрное остро пронзило смущенное сердце.
 Разодрала на безсмертныхъ опа волосахъ покрывало,
 Черный на оба плеча набросила плащъ и въ безумьѣ
 Быстро впередъ устремилась по сушѣ и влажному морю,
 Какъ легкрылая птица. Но правду повѣдать шкто ей
 45. Не захотѣлъ ни изъ вѣчныхъ боговъ, ни изъ смертнорожденныхъ,
 И ни одна къ ней изъ птицъ не явилась съ правдивою вѣстью.

- Девять скпталася дней непрерывно Деб пречестная,
 Съ факеломъ въ каждой рукѣ, обходя всю широкую землю,
 И не вкусила ни разу амвросіи съ нектаромъ сладкимъ,
 50. Кожіи нетлѣнной своей не омыла ни разу водою.
 Но лишь десятая въ пещѣ забрезжила свѣтлая Эосъ,
 Встрѣтилась скорбной богинѣ Геката, держащая свѣточъ,—
 Вѣствуя матерп, слово сказала и такъ взговорила:

- «Пышподарящая, добропогодная мать-Деметра!
 55. «Кто изъ небеспыхъ боговъ иль людей, подверженныхъ смерти,
 «Персефонею похитилъ и милый твой духъ опечалилъ?
 «Голосъ ея я слышала, однако не видѣла глазомъ,
 «Кто—похититель ея. По совѣсти все говорю я...

* * * *

- Такъ сказала Геката. И ей не отвѣтила рѣчью
 60. Рел прекрасноволосой дочь, по впередъ устремилась
 Съ факеломъ въ каждой рукѣ, въ сопутствіи дѣвы-Гекаты.
 Къ Гелію обѣ пришли, предъ конями его онѣ стали,
 И взговорила къ боговъ и людей соглядатаю мать:

- «Геліосъ! Сжался надъ видомъ моимъ, если словомъ иль дѣломъ»
65. «И хотъ когда-нибудь сердце и душу тебѣ утѣшала.
«Дѣва, дитя мое, отпрыскъ желанный, прекрасная видомъ,—
«Слышала я сквозь пустынный эфиръ ея громкіе вопли,
«Словно бы какъ отъ насилья,—однако не видѣла глазомъ.
«Ты изъ священнаго смотришь зонра своими лучами,
70. «Все озираешь ты сверху,—широкую землю и море.
«Если ты милую дочь мою видѣлъ,—скажи мнѣ всю правду,—
«Кто изъ безсмертныхъ боговъ иль, быть можетъ, изъ смертно-рожденныхъ,
«Быстро схвативъ ее, силой похитилъ, отъ матери тайно» .

Такъ говорила. Въ отвѣтъ же ей сынъ Гиперіоновъ молвилъ:

75. «Реи прекрасноволосой дочь, о, царица Деметра!
«Все я повѣдаю. Чту я тебя глубоко и о дѣвѣ
«Тонколодыжной печалюсь совмѣстно съ тобой. Не иной кто
«Въ томъ пзъ безсмертныхъ вповникъ, какъ Зевсъ, облаковъ собиратель;
«Дочь твою брату-Аиду назвать цвѣтущей супругой
80. «Зевсъ разрѣшилъ; п ее опъ, вопящую громко, схвативши,
«Въ сумракъ туманный подъ землю увлекъ на коняхъ быстроногихъ.
«Но прекрати, о, богиня, великіи свой плачь. Понапрасну
«Гнѣвомъ безмѣрнымъ себя не терзай. Ужель недостойнымъ
«Зятемъ себѣ считаешь властителя-Аидопея,
85. «Единокровнаго брата роднаго? Притомъ же и чести
«Опъ удостоенъ немалой, какъ п-трое братья дѣлились.
«Съ тѣми живетъ опъ, надъ кѣмъ царить ему жребіи достался» .

Такъ отвѣчавъ, на коней закрпчалъ опъ. И быстрые кони,
Какъ легкокрылыя птицы, помчали впередъ колесницу.

90. Ей же еще тяжелѣй и ужаснѣй печаль ея стала.
Гнѣвомъ исполнилось сердце на тучегонителя-Зевса.
Сонма боговъ избѣгая, Олимпъ населяющихъ свѣтлый,
Долго она по людскимъ городамъ и полямъ плодоноснымъ
Всюду блуждала, свой видъ измѣнивъ. И никто благодатной
95. Ни изъ мужей не узналъ, ни изъ жепъ, подпоясанныхъ низко,
Прежде, чѣмъ въ домъ не пришла она храбраго духомъ Келея
(Былъ въ это время царемъ благовопнаго опъ Элевсина).
Сердцемъ печалуясь милымъ, бсгиня близъ самой дороги
У Пароеніискаго сѣла колодца, гдѣ граждане воду
100. Черпаютъ,—сѣла въ тѣни подъ оливковымъ деревомъ, образъ
Древней старухи принявъ, для которой давно уже чужды
Вѣнколюбивой дары Афродиты и дѣторожденъе.
Няни такія бывають у царскихъ дѣтей, или также
Ключницы, въ гулко-звучащихъ домахъ заняты хозяйствомъ.
105. Дочери тамъ элевсинца Келея ее увидали.
Шли за водой опѣ легкочерпною, чтобы, сосуды
Мѣдные ею наполнивъ, въ родительскій домъ воротиться.

- Четверо, словно богини, цвѣтушія дѣвичьимъ цвѣтомъ,—
Каллидика, Демо миловидная и Клейсидика,
110. И Каллиоа (межъ всеми другими была она старшей).
И не узнали; увидѣть боговъ нелегко человѣку.
Остановились вблизи и крылатое молвили слово:

- «Кто ты изъ древне-рожденныхъ людей п откуда, старушка?
«Что ты сидишь здѣсь одна, вдалькѣ отъ жилищъ, и не входишь
115. «Въ городъ? Немало тамъ женщинъ нашла бѣ ты въ тѣнистыхъ чертогахъ
«Въ возрастѣ томъ же, въ какомъ и сама ты, равно и моложе.
«Все бы любовь проявили къ тебѣ на словахъ и на дѣлѣ» .

Такъ сказали. Отвѣтила имъ пречестная богиня:

- «Милыя дѣтки! Кто бѣ пи были вы между женъ малоспльныхъ,—
120. «Здравствуйте! Все расскажу я. Вѣдь было бы мнѣ непристойно
«Гнусной неправдою вамъ отвѣтить на ваши вопросы.
«Доя мнѣ имя: такое дала мнѣ почтенная мать.
«Нынѣ изъ Крита сюда по хребту широчайшему моря
«Я прибыла не по волѣ своей. Но помимо желанья
125. «Силой меня увели разбойники. Вскорѣ пристали
«На быстроходномъ они кораблѣ къ Оорпкосу, гдѣ все мы,
«Женщины, на берегъ вышли, равно и разбойники сами.
«Близъ корабельныхъ причаловъ они тамъ устроили ужинъ.
«Сердце жѣ мое не къ ѣдѣ, улаждающей душу, стремилось.
130. «Тайно отъ всехъ, я пустилась бѣжать черезъ черную сушу
«И отъ хозяевъ надменныхъ ушла, чтобы, въ рабство продавши
«Взятую даромъ меня, на мнѣ бы они не нажились.
«Такъ, блуждая, сюда наконецъ я пришла и не знаю,
«Что это здѣсь за земля, что за люди ее населяютъ.
135. «Дай вамъ великіе боги Олимпа законныхъ супруговъ,
«Дай вамъ дѣтокъ они, по желанью родителей вашихъ,—
«Вы же, о дѣвы, меня пожалѣйте, во мнѣ благосклонно,
«Милыя дѣтки, примите участие, и въ домъ помогите
«Мужа попасть и жены, чтобъ могла я для нихъ со стараньемъ
140. «Дѣлать работу, какая пайдется для женщины старой.
«За новорожденнымъ я превосходно ходить бы сумѣла,
«Няньча его на рукахъ; присмотрѣла бѣ въ дому за хозяйствомъ;
«Стлала бѣ хозяевамъ ложа въ искусно устроенныхъ спальняхъ,
«И обучать рукодѣльямъ могла бы служительницъ-женщипъ» .
145. Тотчасъ отвѣтила ей Каллидика, не зная мужа
Дѣва,—изъ всехъ дочерей Келеевыхъ лучшая видомъ:

«Бабушка! Какъ ни горюй человѣкъ, все-же волей-неволей
«Сносятъ онъ Божьи дары, ибо много сильнѣе насъ боги.
«Все я подробно тебѣ расскажу п мужей перечислю,

150. «Кто здѣсь у насъ обладаетъ великою силою почета,
«Кто выдается въ пародѣ, и кто многомудрымъ совѣтомъ
«И справедливымъ судомъ охрапаетъ у города стѣны.
«Встрѣтишь у насъ хитроумнаго ты Триптолема, Дюкла,
«Долхна и Поликсена, и знатнаго родомъ Евмолпа,
155. «Также отца моего, знаменитаго храбростью духа.
«Дома у всѣхъ ихъ обширнымъ хозяйствомъ завѣдуютъ жены;
«Врядъ-ли изъ нихъ изо всѣхъ хоть одна, при первомъ-же взглядѣ,
«Видомъ твоимъ пренебрегши, твое предложеніе отвергнетъ.
«Всѣ тебя примутъ охотно: богинѣ ты видомъ подобна.
160. «Если желаешь, то здѣсь подожди насъ. Домой воротившись,
«Все подпоясанной низко Метанирѣ, матери нашей,
«Мы по порядку расскажемъ. Быть можетъ, къ себѣ она приметъ
«Въ домъ нашъ тебя, и къ другимъ обратиться тебѣ не придется.
«Сынъ у нея дорогой въ чертогѣ, устроенномъ прочно,
165. «Позднорожденный растетъ, горячо и издавна желанный.
«Если бъ его ты вскормила, и юности мальчикъ достигъ бы,—
«Право, любую пзъ жепъ слабосильныхъ, тебя увидавшихъ,
«Завиеть взяла бы: такую награду бы ты получила» .

Такъ сказали. Она головою кивнула. И дѣвы

170. Воду въ блестящихъ сосудахъ назадъ понесли величаво.
Быстро въ великій дворецъ отцовскій пришли и поспѣшно
Матери все сообщили, что видѣли, что услышали.
Тотчасъ велѣла имъ мать поскорѣй за безмѣрную плату
Къ пей чужестранку призвать. Какъ олени иль юныя телки
175. Прыгаютъ по лугу въ пору весеннюю, сытые кормомъ,
Такъ понеслись по дорогѣ уцелистой дѣвы, руками
Тщательно складки держа прелестныхъ одеждъ; развѣвались
Волосы ихъ надъ плечами, подобные цвѣту шафрана.
Возлѣ дороги богиню нашли онѣ, тамъ-же, гдѣ прежде
180. Съ нею разстались. Къ чертогамъ отца повели ее дѣвы.
Сердцемъ печалуясь милымъ, богиня за дѣвами слѣдомъ
Шла, съ головы на лицо опустивъ покрывало, и пеплосъ
Черный вокругъ ея ногъ развѣвался божественно-легкихъ.
Быстро жилища достигли любимаго Зевсомъ Келея
185. И черезъ портикъ пошли. У столба, подпиравшаго крышу
Прочнымъ устоемъ, сидѣла почтенная мать ихъ царица,
Мальчика, отпрыскъ недавній, держа у груди. Подбѣжали
Дочери къ ней. А богиня взошла на порогъ, и достала
До потолка головой, и сіяньемъ весь входъ озарила.
190. Благоговѣнье и блѣдный испугъ охватили царицу.
Съ кресла она поднялась и его уступила богинѣ.
Не пожелала, однако, приѣсть на блестящее кресло
Нышнодарящая, доброногодная мать-Деметра,
Но молчаливо стояла, прекрасныя очи потупивъ.
195. Пестрый тогда ей придвинула стулъ многоумная Ямба,

- Сверху овечьимъ руномъ серебристымъ покрывши сидѣнье.
 Сѣла богиня, держа предъ лицомъ покрывало руками.
 Долго безъ звука на стулѣ сидѣла, печалуясь сердцемъ,
 И пшкого не старалась порадовать словомъ иль дѣломъ.
200. Но безъ улыбки сидѣла, ѣды и питья не касаясь,
 Мучаясь тяжелой тоскою по дочери съ поясомъ низкимъ.
 Бойкимъ тогда балагурствомъ и острыми шутками стала
 Многоразумная Ямба богиню смѣшить пречестную:
 Тутъ улыбнулась она, засмѣялась и стала веселой.
205. Милой съ тѣхъ поръ навсегда ей и въ тайнствахъ Ямба осталась.
 Кубокъ царица межъ тѣмъ протянула богинѣ, наполнивъ
 Сладкимъ виномъ. Отказалась она. Не годится, сказала,
 Красное пить ей вино. Попросила, чтобъ дали воды ей,
 Ячмой мукой для питья замѣсивши и нѣжнымъ полеемъ.
210. Та, приготовивши емѣсь, подала, какъ велѣла богиня.
 Выпила чашу Деб. Съ этихъ поръ сталъ папштокъ обряднымъ.
 И говорить начала ей Метанира съ поясомъ пышнымъ:

- «Радуйся, женщина! Не отъ худыхъ, а отъ добрыхъ и славныхъ
 «Ты происходишь, я вижу, родителей. Въ царскихъ родахъ лишь
 215. «Благоволѣпьемъ такимъ и достоинствомъ свѣтятся взоры.
 «Чго-же до божьихъ даровъ,—вѣ мы волей-неволей ихъ сносимъ,
 «Какъ ни горюемъ душой: подъ ярмомъ наши согнуты шеи.
 «Здѣсь же, въ дому у меня, будешь такъ-же ты жить, какъ сама я.
 «Мальчика этого мнѣ воспитай. Нежданно и поздно
 220. «Боги его мнѣ послали, его горячо я желала.
 «Если бъ его ты вскормила, и юности мальчикъ достигъ бы,—
 «Право, любую изъ женъ слабосильныхъ, тебя увидавшихъ,
 «Зависть взяла бы: такую награду бы ты получила» .

Тотчасъ прекрасновѣчная ей отвѣчала Деметра:

225. «Радуйся также и ты, да пошлютъ тебѣ счастье боги!
 «Сына съ великимъ стараньемъ вскормить я тебѣ обѣщаюсь,
 «Какъ ты велишь. Никакія, надѣюсь, по глупости няньки,
 «Чары иль зелья вреда принести не смогутъ ребенку:
 «Противоядье я знаю сильнѣе, чѣмъ всякія травы,
 230. «Знаю и противъ вредительныхъ чаръ превосходное средство» .

Такъ сказавши, прижала младенца къ груди благовонной,
 Взявъ на безсмертныя руки; и радость объяла царицу.

- Вскармливать стала богиня прекраснаго Демофонта,
 Поздно рожденнаго на-свѣтъ Метанпррой съ поясомъ пышнымъ,
 235. Сына Келсея-владыки. И росъ опъ, богу подобный.
 Не принималъ молока материнскаго, нищи не ѣлъ онъ;
 Днемъ натирала Деметра амвросіей тѣло младенца,
 Нѣжно дыша на него и къ безсмертной груди прижимая;

- Ночью же, тайно отъ милыхъ родителей, мальчика въ пламя,
 240. Словно какъ факель, она погрузала. И было имъ дивно,—
 Такъ необычно онъ росъ, такъ богамъ становился подобенъ.
 И неподверженнымъ сталъ бы ни старости мальчикъ, ни смерти,
 Если бы, по неразумью, Метанира съ поясомъ пышнымъ,
 Ночи глубокой дождавшись, изъ спальни своей благовонной
 245. Не подглядѣла. Вскричавъ, по обоямъ ударила бедрамъ
 Въ страхъ за милаго сына, и умъ у нея помутился.
 Проговорила слова окрыленные въ горѣ великомъ:

«Сынъ Демофонтъ! Чужестранка въ великомъ огнѣ тебя держитъ,
 «Мнѣ же безмѣрные слезы и горькую скорбь доставляетъ!»

250. Такъ говорила, печалась. Услышала это богиня.
 Гнѣвомъ исполнилось сердце Деметры прекрасовѣщанной.
 Милаго сына, царицей неожиданно рожденнаго на свѣтъ
 Въ прочныхъ чертогахъ, изъ рукъ уронила бессмертныхъ на землю,
 Вырвавъ его изъ огня, возмущенная духомъ безмѣрно.
 255. И взговорила при этомъ къ Метанирѣ съ поясомъ пышнымъ:

- «Жалкіе, глупые люди! Ни счастья, идущаго въ руки,
 «Вы неспособны предвидѣть, ни горя, которое ждетъ васъ!
 «Непоправимое ты неразумьемъ своимъ совершила.
 «Знаетъ свидѣтель боговъ, вода безошадная Стикса,
 260. «Сдѣлать могла бы навѣкъ нестарѣющимъ я и бессмертнымъ
 «Милаго сына тебѣ и почетъ ему вѣчный доставить.
 «Нынѣ-же смерти и Керъ ужъ избѣгнуть ему невозможно.
 «Въ непреходящемъ, однако, почетъ пребудетъ навѣки:
 «Къ намъ онъ входить на колѣни, и въ нашихъ объятіяхъ спалъ онъ.
 265. «Многіе годы пройдутъ, и всегда въ эту самую пору
 «Будутъ сыны элевсинцевъ войну и жестокою свалку
 «Противъ аэпнянъ вчипять ежегодно во вѣчные-вѣки...

* * * *

- «Чтимая всѣми Деметра предъ вами. Бессмертнымъ и смертнымъ
 «Я величайшую радость несу и всегдашнюю помощь.
 270. «Пусть же великіи воздвигнутъ мнѣ храмъ и жертвенникъ въ храмѣ
 «Цѣлымъ народомъ подъ городомъ здѣсь, подъ высокой стѣною,
 «Чтобы стоялъ на холмѣ выдающемся надъ Каллихоромъ.
 «Таинства-же въ немъ я сама учрежу, чтобы впредь, по обряду
 «Чипъ совершая священнѣй, на милость вы духъ мой склоняли» .
 275. Такъ сказала богиня, и ростъ свой, и видъ измѣнила,
 Сбросила старость и вся красотою обвѣялась вѣчной.
 Запахъ чудесный вокругъ разлился отъ одеждъ благовонныхъ,
 Яркимъ сіяніемъ кожа бессмертная вдругъ засвѣтилась,
 И по плечамъ золотые рассыпались волосы. Словно
 280. Свѣтомъ отъ молнии прочпо-устроенный домъ освѣтился.

- Вонъ изъ чертога пошла. А у той ослабѣли колѣни.
 Долго нѣмой оставалась царица и даже забыла
 Многолюбимаго сына поднять, упавшаго на-земь.
 Жалобный голосъ младенца услышали издали сестры,
 285. Съ мягкихъ постелей вскочили и быстро па крикъ прибѣжали.
 Мальчика съ пола одна подняла и на грудь возложила;
 Свѣтъ засвѣтила другая; на нѣжныхъ ногахъ устремилась
 Къ матери третья,—изъ спальни ее увести благовопной.
 Бился младенецъ, купали его огорченныя сестры,
 290. Нѣжно лаская. Однако, не могъ успокоиться мальчикъ:
 Было кормилицамъ этимъ и нянямъ далѣко до прежней!

- Цѣлую ночь напролетъ, трепеща отъ испуга, молились
 Славной богинѣ опѣ. А когда засвѣтилося утро,
 Все рассказали Келею широкодержавному точно,
 295. Чтѣ приказала Деметра прекрасновѣночная сдѣлать.
 Онъ же, созвавши немедля на площадь народъ отовсюду,
 Отдалъ приказъ па холмѣ выдающемся храмъ богатѣйшій
 Пышноволосой воздвигнуть Деметрѣ и жертвенникъ въ храмѣ.
 Тотчасъ послушались все, и словамъ его вняли, п строить
 300. Начали, какъ приказалъ. И съ божественной помощью росъ онъ.
 Послѣ того, какъ исполнили все, и труды прекратили,
 Каждый домой воротился. Тогда золотая Деметра
 Сѣла во храмѣ одна, вдалькѣ отъ блаженныхъ безсмертныхъ,
 Мучаясь тяжелой тоскою по дочери съ поясомъ низкимъ.
 305. Грозный, ужаснѣйшій годъ низошелъ на кормилицу-землю
 Волею гнѣвной богини. Бесплодными сдѣлались пашни:
 Сѣмя сокрыла Деметра прекрасновѣночная въ почвѣ.
 Тщетно по пашнямъ быки волокли искривленные плуги,
 Падали въ борозды тщетно ячменные бѣлыя зерна.
 310. Съ голоду племя погнбло бѣ людей, говорящихъ раздѣльно,
 Все безъ остатка, навѣкъ прекратились бы славныя жертвы
 И приношенья богамъ, въ олимпійскихъ чертогахъ живущимъ,
 Если бы Зевсъ не размыслилъ и въ сердцѣ рѣшенья не принялъ.
 Прежде всего златокрылой Иридѣ призвать повелѣлъ онъ
 315. Пышнокудрявую, милую видомъ Деметру-богиню.
 Такъ онъ сказалъ. И словамъ черпотучнаго Зевса-Кронпда
 Впявши, помчалась Ирида на быстрыхъ ногахъ сквозь пространство,
 Въ городъ сошла Элевеннъ, благовопнымъ куреньемъ богатый,
 Въ храмѣ сидящей нашла въ одѣяннн черномъ Деметру
 320. И окрыленное слово, окликнувъ богиню, сказала:

«Вѣчно зпающій Зевсъ-родитель тебя, о Деметра,
 «Къ племенп вѣчно-живущихъ боговъ призываетъ вернуться.
 «Ты же иди,—да не будетъ напраснымъ Зевсово слово!»

- Такъ говорила, прося. Но у той дупа не склонялась.
325. Тотчасъ отецъ къ ней другихъ отправилъ боговъ всеблаженныхъ,
Вѣчно живущихъ. И всѣ къ ней одинъ за другимъ приходили,
Звали богиню и много дарили даровъ превосходныхъ,
Почестей много сулили, ее межъ безсмертными ждущихъ.
Но не сумѣлъ ни одинъ убѣдить ни мысли, ни сердца
330. Гнѣвной Деметры. Сурово всѣ рѣчи отвергла богиня.
На благовоинный Олимпъ и ногою, сказала, не ступить,
Черной землѣ не позволить плода ни единого выслать,
Прежде, чѣмъ дочери милой своей не увидить глазами.

- Это услышавши, Зевсъ тяжело и пространно гремящій
335. Тотчасъ отправилъ въ Эребъ золотожезлага Аргоубицу,
Чтобы, прятною рѣчью хитро обольстивши Аида,
Чистую Персефонею изъ темнаго мрака онъ вывелъ
На-свѣтъ, въ собранье боговъ, чтобъ, ее увидавши глазами,
Мать оскорбленная гнѣвъ свой великій въ души прекратила.
340. И не ослушался Зевса Гермесъ, но въ глубины земныя
Тотчасъ поспѣшно спустился, покинувъ жилище Олимпа.
Аидонея-владыку нашелъ онъ въ подземныхъ чертогахъ;
Съ нимъ, противъ воли своей, воссѣдала на ложѣ супруга,
Черной терзаясь тоскою по матери. Гнѣвомъ безмѣрнымъ.
345. Все еще духъ волновался ея на рѣшенье безсмертныхъ.

Близко представши, могучій сказалъ ему Аргоубица:

- «Чернокудрявый Аидъ, владыка ушедшихъ отъ жизни!
«Зевсъ мнѣ родитель велѣлъ достославную Персефонею
«Вывести вонъ изъ Эреба къ своимъ, чтобъ, ее увидавши,
350. «Гнѣвъ на безсмертныхъ и злобу ужасную мать прекратила.
«Ибо великое дѣло душою она замышляетъ,—
«Слабое племя людей земнородныхъ въ конецъ уничтожить,
«Скрывши въ землѣ сѣмена, и лишить олимпійцевъ безсмертныхъ
«Почестей. Гнѣвомъ ужаснымъ богиня полна. Не желаетъ
355. «Знаться съ богами. Сидитъ вдалькѣ средь душистаго храма,
«Городъ скалистый избравъ Элевсинъ для себя пребываньемъ» .

- Такъ онъ сказалъ. Улыбнулся бровями владыка умершихъ
Аидоней и, послушный велѣньямъ властителя-Зевса,
Персефопеѣ разумной тотчасъ же отдалъ приказанье:
360. «Къ матери черноодежной немедля иди, Персефона,
«Кроткую силу и благодный духъ въ груди сохраняя,
«И не печалься чрезмѣрно: не хуже другихъ твоя доля.
«Право, не буду тебя я въ богахъ недостойнымъ супругомъ,
«Братъ родителя Зевса родной. У меня пребывая,
365. «Будешь владычицей ты надо всѣмъ, что живетъ и что ходитъ,

«Почести будешь имѣть величайшія между безсмертныхъ.
«Вѣчная кара постигнетъ того изъ людей нечестивыхъ,
«Кто съ подобающимъ даромъ къ тебѣ не придетъ, и не будетъ
«Радовать силы твоей, принося, какъ положено, жертвы» .

370. Такъ онъ промолвилъ. Вскочила, объятая радостью, съ ложа
Мудрая Персефонея. Тогда повелитель умершихъ
Зернышко далъ проглотить ей граната, сладчайшее меда,
Съ замысломъ тайнымъ, чтобъ навѣкъ супруга его не осталась
Тамъ наверху съ достославной Деметрою черноодежной.
375. Раньше того ужъ безсмертныхъ своихъ лошадей быстроногихъ
Многoderжавный Аидъ въ колесницу запрегъ золотую.
На колесницу богиня ступила. И въ милья руки
Возжи и бичъ захвативши, коней устремилъ изъ чертоговъ
Аргоубійца могучій; охотно она полетѣли.
380. Быстро великіи продѣлали путь; ни широкое море
Бѣга безсмертныхъ коней задержать не могло, ни рѣчныя
Воды, ни горъ высота, ни зеленыхъ долинь углубленья.
Поверху рѣзали воздухъ они высоко падъ землею.
Тамъ, гдѣ сидѣла Деметра въ прекрасномъ вѣнкѣ, колесницу
385. Остановилъ онъ,—предъ храмомъ душпестымъ. Она-же, увидѣвъ,
Ринулась, словно менада въ горахъ по тѣнистому лѣсу.
А Персефона
Матери милой своей
Бросилась
390. Ей-же
.
.
«Дочь моя
«Пищи. Скажи откровенно
395. «Ибо тогда, возвратившись
«Подлѣ меня и отца твоего, чернотучнаго Зевса,
«Будешь ты жить на Олимпѣ, безсмертными чтимая веѣми.
«Если жъ вкуенла,—обратно пойдешь, и въ теченіе года
«Третью будешь ты часть проводить въ глубинѣ преисподней,
400. «Двѣ остальные—со мною, а также съ другими богами.
«Чуть-же наступитъ весна, и цвѣты благовонные густо
«Черную землю покроютъ,—тогда изъ туманнаго мрака
«Снова ты явишься на-свѣтъ, на диво безсмертнымъ и смертнымъ.

* * * *

«Также о томъ, какъ тебя обманулъ Поллдегмонъ могучій» .

405. Тотчасъ въ отвѣтъ ей сказала прекрасная Персефонея:

«Все, какъ случилось, тебѣ откровенно, о мать, разскажу я.
«Послѣ того, какъ Гермесъ-благодаетъ, глашатай проворный,

- «Мяѣ приказанье принесъ отъ Кронида и прочихъ безсмертныхъ
 «Къ нимъ изъ Эреба прійти, чтобъ, меня увидавши глазами,
 410. «Гнѣвъ на безсмертныхъ и злобу ужасную ты прекратила,—
 «Радостно тотчасъ встала я съ ложа. Тогда потихоньку
 «Сунулъ зерно мнѣ граната опъ въ руку,—сладчайшее вкусомъ,—
 «И, противъ воли моей, проглотить насильно заставилъ.
 «Что жъ до того, какъ похитилъ меня опъ по мысли коварной
 415. «Зевса, отца моего, какъ увлекъ въ преисподнее царство,—
 «Я разскажу, безъ отвѣта вопросовъ твоихъ не оставивъ.
 «Всѣ мы, собравшись на мягкомъ лугу, беззаботно играли.
 «Было насъ много: Левкиппа, Ианоа, Файно и Электра,
 «Также Мелита и Яхе, Родея и Каллироя,
 420. «Тиха, Мелобосиесъ, и цвѣтколикая съ ней Окироя,
 «И Хризеида съ Акастой, Адмета съ Япирою вмѣстѣ,
 «Также Родопа, Плутó и прелестная видомъ Калипсо,
 «Съ ними Уранія, Стиксъ и пріятная всѣмъ Галаксавра,
 «Дѣва-Паллада, къ сраженьямъ зовущая, и Артемида
 425. «Стрѣлолюбивая,—всѣ мы играли, цвѣты собирали,—
 «Ирисы рвали съ шафраномъ прѣвѣтливымъ и гянинты,
 «Розъ благоуханныхъ бутоны и лилии, дивныя видомъ,
 «Также нарциссы, коварно землю рожденные черной.
 «Радуюсь сердцемъ, цвѣтокъ сорвала я. Земля изъ-подъ низу
 430. «Вдругъ раздалася. Взвился изъ нея Полидегмонъ могучій.
 «Быстро подъ землю меня онъ умчалъ въ золотой колесницѣ,
 «Какъ ни противилась я. Закричала я голосомъ громкимъ.
 «Хотя и съ печалью, но все я по правдѣ тебѣ сообщаю» .

- Такъ цѣлый день напролетъ, дунѣ отзываясь душою,
 435. Крѣпко обнявшись, сидѣли они и душой веселились,
 Глядя одна на другую. Забыло всѣ горести сердце.
 Радость взаимно онѣ получали и радость давали.
 Дѣва-Геката приблизилась къ нимъ въ покрывалѣ блестящемъ;
 Чистую дочь Деметры въ объятья она заключила.
 440. Съ этой поры ей служанкой и спутницей стала царица.
 Съ вѣстью отправилъ къ нимъ Зевсъ, тяжело и пространно гремящій,
 Пышиноволосую Рею, чтобъ въ пенлосѣ черномъ Деметру
 Въ сонмъ олимпійцевъ обратно она привела, обѣщаясь
 Почести ей даровать величайшія между безсмертныхъ.
 445. Постановилъ онъ, чтобъ дочь ея въ продолженіе года
 Третью проводила одну въ многосумрачномъ царствѣ подземномъ,—
 Двѣ остальные—съ Деметрой, а также съ другими богами.
 Такъ онъ сказалъ, и приказа его не ослушалась Рея.
 Быстро покинувъ вершины Олимпа, она испустилась
 450. Въ Раріонѣ. Выменемъ былъ онъ земли живоноснымъ дотолѣ,
 Но живоноснымъ теперь уже не былъ. Безъ зелени, дикій,
 Опъ простирался, въ себѣ схоронивши лчменные зерна,
 Какъ порѣшила Деметра прекраснородыжная. Вскорѣ,

- Съ повои весной, предстояло однако опять ему пышно
455. Заколоситься, густые колосья съ зерномъ полновѣснымъ
 Къ самой землѣ преклонить и снопамъ обильно покрыться.
 Тамъ-то впервые сошла изъ эоира пространнаго Рея.
 Радуюсь духомъ, съ любовью онѣ другъ на друга взглянули.
 И въговорила къ ней такъ блестящеодежная Рея:
460. «Встань, о дитя мое! Зевсъ, тяжело и пространно гремящи,
 «Въ сонмъ олимпійцевъ тебя призываетъ вернуться, и много
 «Почестей хочетъ тебѣ дароватьъ средь блаженныхъ безсмертныхъ.
 «Постановилъ онъ, чтобъ дочь твоя въ продолженіе года
 «Треть проводила одну въ многосумрачномъ царствѣ подземномъ,
465. «Двѣ остальные—съ тобою, а также съ другими богами.
 «Такъ онъ рѣшилъ и главою своею кивнулъ въ подтвержденье.
 «Встань же, дитя мое, волю исполни его и чрезмѣрно
 «Въ гнѣвѣ своемъ не упорствуй на тучегопителя-Зевса.
 «Пронзрости для людей живородныя зерна немедля!»
470. Такъ сказала. И ей не была непослушна Деметра.
 Выслала тотчасъ колосья на пашняхъ она плодородныхъ,
 Зеленю буйной, цвѣтами широкую землю одѣла
 Щедро. Сама-же, поднявшись, пошла и владыкамъ державнымъ,—
 Съ хитрымъ умомъ Триптолему, смирителю коней Дюклу,
475. Силѣ Евмолна, а также владыкѣ народовъ Келею,—
 Жертвенный чинъ показала священный и всѣхъ посвятила
 Въ таинства. Святы они и велики. Объ нихъ ни разспросовъ
 Дѣлать не долженъ никто, ни отвѣта давать на разспросы:
 Въ благоговѣнны великомъ къ безсмертнымъ уста замолкаютъ.
480. Счастливы тѣ изъ людей земнородныхъ, кто таинства гнѣлъ.
 Тотъ-же, кто имъ непричастенъ, по смерти не будетъ во-вѣки
 Доли подобной имѣть въ туманномъ мракѣ подземномъ.
 Все учредивъ и устроивъ, богиня богинь воротилась
 Съ матерью вмѣстѣ на свѣтлый Олимпъ, въ собранье безсмертныхъ.
485. Тамъ обитаютъ онѣ подлѣ Зевса, метателя молніи,
 Въ славу и чести великой. Блаженъ изъ людей земнородныхъ,
 Кто благосклонной любви богинь удостоится славныхъ:
 Тотчасъ ипсходитъ въ жилище его очага покровитель
 Плутосъ, дарующій людямъ обилье въ стадахъ и запасахъ.
490. Вы-же, подъ властью которыхъ живетъ Элевенъ благовопный,
 Наросъ, водой отовсюду омытый, и Антронъ скалистый,—
 Ты, о царица Деб,—пышнодарная, чтимая всѣми,—
 Съ дочерью славной своею, прекрасною Персефонеей,—
 Намъ благосклонно счастливую жизнь ипсозлите за пѣсню.
495. Пышѣ-же, васъ помянувъ, я къ пѣснѣ другой приступаю.

В. В е р е с а е в ѣ.

ИЗЪ «ШАХ-НАМЕ» ФИРДУСИ.

Шах-наме (Книга царей)—національная персидская поэма X вѣка, въ которой поэтъ Фирдуси обработалъ древнѣйшія преданія Ирана отъ временъ мнооологическихъ до завоеванія Персіи арабами (въ 636-мъ г.).

Поэма написана римованными двустипіями и заключаетъ въ себѣ 120 тысячъ стиховъ. Такое огромное произведеніе (въ восемь разъ длиннѣе Илиады Гомера), разумѣется, не можетъ развивать на всемъ протяженіи своемъ одинъ и тотъ же сюжетъ; поэма излагаетъ въ послѣдовательномъ порядкѣ, одно за другимъ, царствованія отдѣльныхъ шаховъ, начиная съ совершенно баснословныхъ Гаюмера или Джемшида, кончая вполне историческими, вродѣ Дарія или Александра Македонскаго. Общее же внутреннее единство достигается тѣмъ, что въ значительной части поэмы всѣ главныя событія вытекаютъ изъ давней племенной вражды Ирана съ сосѣднимъ Тураномъ.

На этомъ новѣстовательномъ фонѣ пышно расцвѣтаютъ знаменитые фирдусіевскіе эпизоды, иногда въ 2000—3000 стиховъ величиной, съ цѣльнымъ, связнымъ сюжетомъ, съ законченнымъ ходомъ дѣйствія, блестящіе всей силой поэтическаго воображенія, всей яркостью образовъ крупнаго художника Востока, всею свѣжестью сильнаго, непосредственнаго чувства. Таковы, напри- мѣръ, драматическіе эпизоды о возстаніи народомъ противъ тирана Дахака (исторія о кузнецѣ Каве), или знаменитый эпизодъ о Ростемѣ и Сохрабѣ; таковы прелестные романтическіе эпизоды о любви Заля и Рудаба, о царевичѣ Сявушѣ, о трогательной любви Бижепа и Мепижэ и т. д.

Для русской литературы поэма Шах-наме помимо своей поэтической прелести, имѣетъ еще важное значеніе, какъ источникъ многихъ эпическихъ преданій, отразившихся въ нашемъ сказочномъ и былинномъ творествѣ, а также въ нѣкоторыхъ сказаніяхъ древне-русской письменности.

Предлагаемый отрывокъ взятъ изъ подготавлиаемаго къ печати перевода всей древнѣйшей, эпической части поэмы.

Переводчикъ.

(Полководецъ Самъ возвращается съ побѣдой къ шаху Мсиучихру).

Ужъ отъ Сари, Амула шумъ песется,
Какъ будто море тамъ, бушуя, бьется:
Идутъ въ желѣзныхъ латахъ храбрецы,
Блестятъ ихъ копій, дротиковъ концы.

Отъ горъ до горъ долину занимая
И въ тѣсный рядъ щиты свои смыкая
Въ цвѣтныхъ чехлахъ, лавиной рать валить:
Громъ барабановъ въ воздухѣ стоитъ,
Звукъ мѣдныхъ трубъ, коней арабскихъ ржанье
И тяжелое словенье топотанье.

И шахъ въ главѣ своихъ военныхъ силъ
Встрѣчатъ героя Сама носнѣшилъ.

Вблизи дворца герой съ коня слѣзаетъ
И достунъ въ залъ сейчасъ же получаетъ.
Едва его завидѣлъ падишахъ,
На землю Самъ упалъ, цѣлуя прахъ.

А шахъ привсталъ на драгоцѣнномъ тронѣ
Въ рубиновой сверкающей коронѣ;
Съ собой онъ рядомъ Саму сѣсть велѣлъ,
Почтивъ его за столько славныхъ дѣлъ,—
Сталъ спрашивать, не упустишь минуты,
О Кергесарахъ, что въ сраженьи люты,
О Дивахъ, чей пріютъ Мазендерапъ,
О трудностяхъ далекихъ этихъ странъ.

И началъ Самъ:

— «О, шахъ, будь счастливъ вѣчно,
На зло врагамъ живи всегда безопасно!
Да, я въ странѣ тѣхъ Дивовъ побывалъ:
Я львами дикими бы ихъ пазвалъ,—
Они быстрой, чѣмъ изъ Йемена кони,
Храбрѣе воиновъ, носящихъ брони.
Лишь прозванный Зегсарамн народъ,
Что люте, какъ звѣрь, узналъ про мой приходъ,
По городамъ собравшись съ крикомъ къ бою,
Онъ выступилъ громадною ордою.
Отъ горъ до горъ они толпами шли.
И свѣтлый день пчезъ въ густой пыли.
Ихъ натискъ бурень былъ и безъ оглядки,
Стремителень, хотя и въ безнорядкѣ.
Пропеся ужасъ по моимъ рядамъ
Такой,—едва не дрогнулъ я и самъ.
Понявъ, что все во мнѣ, я съ дикимъ крикомъ
Ударилъ на врага въ пылу великомъ:
Впередъ метнулся конь желѣзный мой,
Взмахнулъ я стопудовой булавой,
Дробились черепа въ осколки съ маху,
Кружились головы враговъ отъ страху.
Тутъ страшнаго когда-то Сельма внукъ
Навстрѣчу мнѣ, какъ волкъ, понесся вдругъ.
По матери изъ рода онъ Дахака

И былъ красивый, доблестный вояка,
Каркуй по имени,—вступая въ бой,
Врага, какъ пыль, онъ мель передъ собой.
За нимъ большое войско наступало;
Оно равнину густо покрывало,
Шло по горамъ, болотамъ и лугамъ,
Подобно саранчѣ иль муравьямъ:
Какъ пыль его насъ облакомъ одѣла,
То много нашихъ храбрыхъ поблѣднѣло.
Опять прибѣгъ я къ вѣрной булавы
И поскакалъ предъ войскомъ во главѣ:
Мой грозный крикъ въ рядахъ враговъ носился,
И мельницей весь свѣтъ для нихъ кружился;
У храбрецовъ моихъ и страхъ пропалъ,
Ихъ только бой теперь одушевлялъ.
Мой слыша крикъ и видя межъ рядами,
Какъ булава играетъ съ головами,
Каркуй со мной сразиться пожелалъ:
Аркань свой длинный онъ приготовлялъ
И петлей захватить меня стремился;
Но я, замѣтивъ, быстро отклонился
И, лукъ схвативъ, Каркуя стрѣль дождемъ
Осыпалъ, на конѣ скача кругомъ.
Я былъ увѣренъ—голова пробита
И крѣпко къ племю стрѣлами припита—
Гляжу сквозь пыль: съ клинкомъ индѣйскимъ онъ
Бросается впередъ, какъ зрѣй слонъ.
Казалось мнѣ, что даже скалъ громады
Склонились бы предъ нимъ, прося пощады.
Стремился онъ, я медлилъ, выжидалъ,
Его схватить мгновенье улучалъ;
И вотъ, когда ужъ подкакалъ онъ близко,
Я, руки вытянувъ, нагнулся низко,
Взявъ за поясъ его, сорвалъ съ сѣдла—
Какъ будто сила льва во мнѣ была—
И такъ ударилъ о землю со злости,
Что все его переломилась кости.
Лишь былъ повергнуть предводитель въ прахъ,
Тѣмъ войскомъ овладѣлъ ужасный страхъ,—
И скоро все долины, горъ уступы
Буграми завалили навшихъ трупы.
Когда сочли убитыхъ, то нашли:
Двѣнадцать тысячъ ихъ легло въ ныли.
Всего же вмѣстѣ въ битвѣ вражьей силы,
Народа съ войскомъ, триста тысячъ было.
Но что же значитъ эта вся борьба
Предъ счастьемъ шаха и его раба?!»

Съ восторгомъ шахъ разсказу Сама внемлетъ
И свой вѣнецъ онъ къ небесамъ подъемлетъ,
Онъ въ радости велитъ готовить пиръ,
Затѣмъ, что отъ враговъ избавленъ мѣръ.
Всю почъ они за чашей проводили,
Безъ устали здоровье Сама пили.

Перевелъ А. Е. Грузинскій.



Идетъ дорога подъ гору
И кажется длинна,—
А на горѣ—цвѣтущая,
Веселая весна.

На посохъ опираюсь я,—
Хоть внизъ, но труденъ путь:
Такъ хочется уставшему
Прилечь и отдохнуть.

Идешь—назадъ оглянешься,
Туда ужъ не дойти:
Давно къ веселью, радости
Заказаны пути.

Присмотришься—не я одинъ,
Глядишь,—бредеть другой,
Кого встрѣчалъ цвѣтущею
Веселою весной.

И онъ, какъ странникъ съ посохомъ,
И онъ туда бредеть,
Гдѣ насъ обоихъ вмѣстѣ съ нимъ
Покой желанный ждетъ.

И в. Бѣлоусовъ.



Въ просѣнкѣ—бодрый, вешній холодъ.
Въ березнякѣ—тюльпаны-сопѣ.
И страшно-трепетенъ, и молодъ
За лѣсомъ дальній перезвонъ.

Оконца лужь. По бездорожью
Шагаетъ конь. Въ душѣ—весна...
И затаенной, чуткой дрожью
Лѣсная даль напоена.

Зинаида Тулубъ.

МОЙШЕ ЮХИЛЕСЬ.

Мойше Юхилесъ изъ Шклова былъ, вѣроятно, самымъ мирнымъ изъ всѣхъ, когда либо существовавшихъ на свѣтѣ сыновъ Израиля. Никогда онъ не могъ зарѣзать даже курицы и все-таки пришлось ему вмѣстѣ съ другими птти и воевать.

Но ремеслу Мойше былъ портной, и, если бы вы спросили въ Шкловѣ, какой портной былъ Мойше, вы бы узнали, что онъ былъ такой хорошей портной, что даже самъ господинъ пеправникъ заказывалъ ему мундиръ. И все-таки, когда Мойшу призвали изъ запаса, ему пришлось птти не въ полковую швальню, а въ самые настоящіе солдаты.

Мойше такъ боялся всякой ссеры, что никогда не спорилъ и даже не противорѣчилъ своей супругѣ Саррочкѣ, хотя Саррочка вовсе не была образцомъ справедливости и правда рѣдко оказывалась на ея сторонѣ. И если все это было такъ, то вовсе не оттого, чтобы Мойше былъ трусомъ. Когда въ Шкловѣ случился большой пожаръ и выгорѣла половина города, то Мойше тогда не потерялъ присутствія духа. Ободря испуганныхъ сосѣдей, онъ бросался изъ одного горящаго дома въ другой, спасъ многимъ ихъ имущество, а изъ одного дома даже вынесъ изъ огня оставленнаго тамъ ребенка.

Полкъ, въ которомъ служилъ Мойше, прибылъ на австрійскую границу въ то время, когда тамъ уже начались ожесточенныя стычки съ неприятелемъ, и на третій же день Мойшѣ пришлось уже участвовать въ сраженіи.

Едва стало свѣтать, какъ ихъ подняли и повели куда то лѣсомъ, а затѣмъ велѣли окопаться и залечь на опушкѣ.

Скоро гдѣ-то палѣво грянулъ первый выстрѣлъ съ нашей батареи, а затѣмъ на него сейчасъ же отвѣтили австрійскія пушки и начался артиллерійскій бой.

Боже правый! Какъ было это неожиданно и какъ страшно! Ежесекундно, то слѣва, то справа гдѣ-то вверху рвались съ оглушительнымъ грохотомъ шрапнели и осыпали градомъ пуль ряды залегшихъ въ канавкѣ стрѣлковъ. Ежесекундно палѣво и направо то тамъ, то тутъ какой-нибудь солдатикъ вскидывалъ руками и падалъ пичкомъ или просто сваливался безжизненнымъ тѣломъ на дно канавы, но за грохотомъ рвущихся снарядовъ и ружейной пальбы не было слышно ни воплей раненыхъ, ни стопа умирающихъ.

Мойше былъ такъ озадаченъ и такъ пораженъ, что сразу точно утратилъ пониманіе происходившаго вокругъ, и только машинально стрѣлялъ какъ на ученьи въ сѣрыя фигурки австрийцевъ, которые быстро перебѣгали отъ одного куста къ другому и съ каждою минутою все приближались и приближались.

Вдругъ произошло что-то страшное. Оставшіеся въ живыхъ рядомъ съ Мойшею солдаты вскочили и бросились впередъ съ ружьями на перевѣсъ. Мойше тоже бросился съ ними. Онъ видѣлъ, какъ бѣгущій впереди него солдатъ остановился, схватилъ ружье на руку и съ размаха всадилъ штыкъ въ набѣжавшаго на него австрійскаго солдата въ сѣро-синей курткѣ съ зелеными петлицами. И тотчасъ же Мойше увидалъ бѣгущаго на него такого же другого солдата.

Мойше тоже перехватилъ ружье на руку и всадилъ штыкъ въ грудь врага. Тотъ выронилъ ружье и упалъ на колѣни. Сѣрое кепи свалилось у него съ головы. Мойше увидалъ передъ собою широко раскрытые, полные предсмертнаго ужаса глаза и знакомыя черты типичнаго еврейскаго лица. А изъ полураскрытыхъ устъ этого человѣка вырвалось съ дикимъ стономъ:

— Бьодхо авкидь рухи!... (прими душу мою...)

Съ глазъ Мойше точно сорвали повязку. Онъ вдругъ понялъ, что убилъ такого же какъ онъ, еврея.

«Бьодхо авкидь рухи!»—громомъ грянуло со всѣхъ сторонъ тысячами голосовъ и заглушило грохотъ снарядовъ.

И объятый ужасомъ Мойше выронилъ ружье и бросился назадъ такъ же крича:

— Бьодхо авкидь рухи! Бьодхо авкидь рухи!...

Напрасно старались вернуть Мойше сознаніе дѣйствительности въ томъ резервѣ, на который онъ наткнулся въ своемъ бѣгѣ. Онъ падалъ на колѣни и твердилъ только одни слова:

— Бьодхо авкидь рухи!..

Ихъ же твердить онъ и сейчасъ, сидя въ госпиталѣ, въ палатѣ для душевно-больныхъ.

Сер. Глаголь.





ИЗЪ ПРОШЛАГО.

Чѣмъ дальше въ дѣйствительной жизни уходишь отъ дѣтства и ранней молодости, тѣмъ ближе онѣ становятся въ воспоминаніи и тѣмъ сильнѣе влекутъ къ себѣ. Зрѣлый возрастъ, осуществленіе того, къ чему стремилась и готовилась юность, то что въ сущности и есть сама жизнь, кажется достаточно безразличнымъ, тусклымъ, не выполненнымъ обѣщаннаго. На самомъ дѣлѣ оно, вѣроятно, не такъ, но несомнѣнно одно, что лишь дѣтству и юности свойственны такая все охватывающая непосредственная радость бытія, беззаботное умѣнье наслаждаться настоящимъ и сила любви и привязанности къ людямъ и вещамъ, любви безкорыстной, не имѣющей ничего общаго со страстью, довольствующейся малѣйшимъ вниманіемъ, и благая вѣра въ то, что все люди хороши, за исключеніемъ особаго, малочисленнаго къ тому же, класса злыхъ людей, которые таковыми уже родятся и поневолѣ выполняютъ свои злодѣйскія обязанности. Въ «совершенномъ» возрастѣ обычно отсутствуетъ, естественно присущее дѣтству, чудное свойство всепрощенія и забвенія обидъ, столь облегчающее и упрощающее жизнь. И много другого тяжелаго и плохого, охватывающаго зрѣлый возрастъ, пѣтъ въ дѣтствѣ. Вотъ почему, думается, оно такъ мило намъ.

По поводу «злodeвѣвъ» вспоминаю, что ихъ тогда, въ дѣтствѣ моемъ, было двѣ категоріи—историческіе и наличные; къ первымъ относились, конечно, Стенька Разинъ и Емелька Пугачевъ; что касается Мазепы, то мы колебались: онъ у насъ состоялъ въ «подозрѣніи», каковой приговоръ въ дореформенное время провозглашался не только дѣтьми, но нерѣдко и тогдашними уголовными палатами. Изъ наличныхъ, близкихъ намъ, злодѣевъ мнѣ особенно вѣззался въ памяти одинъ казенный лѣсничій, фамилію котораго я давно забылъ, обвинявшійся въ томъ, что онъ напоилъ, съ непонятной для насъ, дѣтей, цѣлью, молодую крестьянку-красавицу, служившую у него кухаркой, отваромъ или настоемъ изъ шпанекпхъ мухъ, отчего та умерла, а его должны были судить, и кто-то изъ нашихъ сосѣдей, при полномъ, впрочемъ, осужденіи такихъ рѣчей нашими домашними, говорилъ: «изъ-за какой-то бабенки можетъ пропасть порядочный человекъ». Мы тоже, помню, не одобрили словъ защитника лѣсничаго, а его самого причислили къ профессиональнымъ злодѣямъ. Боялись мы и считали злодѣемъ одного бывшаго нашего же двороваго, отпущеннаго отцомъ на волю, такъ какъ про него шла молва, что онъ изъ мести къ кому-то учинилъ поджогъ, рассчитывая

сжечь при этомъ своего врага. Злодѣями признавались нами: сосѣдняя помѣщица, истязавшая дворню, и одинъ нашъ знакомый, совершенно не вѣрившій въ Бога, не соблюдавшій постовъ, не ходившій даже въ церковь и пившій вмѣсто водки, маленькими глотками, скиппдаръ. Кромѣ такихъ злодѣевъ, лично намъ извѣстныхъ, къ ихъ же категоріи мы относили огуломъ бѣглыхъ каторжниковъ и такихъ же солдатъ. Обычный тюремный сидѣлецъ, хотя бы лишенный всѣхъ правъ состоянія, былъ въ общемъ нормальный, быть можетъ даже хорошій человѣкъ, но стоило ему или солдату «бѣжать» и появиться гдѣ-нибудь по близости, таясь днемъ въ лѣсныхъ трупобахъ и питаясь ягодами и кореньями, какъ на такого человѣка падало клеймо злодѣйства, и онъ вызывалъ у всѣхъ, не только у дѣтей, отчаянный страхъ. Припоминаю, однако, что къ этимъ страшнымъ людямъ у насъ проявлялась и жалость, и когда старшіе заговаривали о томъ, что «чего это полиція дремлетъ, давно нужно сдѣлать облаву и взять бѣглаго», то намъ эта мѣра не нравилась и мы въ глубинѣ души сочувствовали тѣмъ смѣльчакамъ изъ напшихъ крестьянъ, которые, по рассказамъ горничныхъ въ дѣвичьей, носили бѣглымъ, конечно ночью, въ лѣсъ пищу—краюху хлѣба съ солью, огурцы и горшокъ съ кашей. Разумѣется, злодѣями же мы считали и боялись разбойниковъ, вооруженныхъ дубинками и кистенями, нападавшихъ по большимъ дорогамъ на проѣзжихъ, не только грабившихъ, но и убивавшихъ оказывавшихъ имъ сопротивление путниковъ. Разбойники, какъ доподлинно всею было извѣстно, сидѣли всегда на большой дорогѣ въ оврагѣ, подъ мостомъ, и въ моментъ вѣзда экипажа на мостъ выскакивали, останавливали лошадей, хватая ихъ подъ уздцы, и дѣлали свое злодѣйское дѣло. Въ ту пору такія нападенія совершались не только въ разказахъ, но и въ дѣйствительности, и не на Кавказѣ, какъ оно принято теперь, а достаточно повсемѣстно. Но, конечно, въ болтовнѣ о разбойникахъ и о бѣглыхъ солдатахъ много было преувеличеній, прямо легендарнаго. Вспоминаю одну особу, которую мы, дѣти, отнюдь не относя ее къ категоріи злодѣевъ, боялись; она внушала намъ таинственностью и оригинальностью своей жизни даже суевѣрный страхъ. Это была уже немолодая женщина, по имени, кажется, Мароа Степановна, жившая въ сосѣдней со Спасскимъ Сосновкѣ, на усадьбѣ Прокуниныхъ. Она, по собственному желанію, помѣстилась въ одной изъ стоявшихъ во дворѣ холостыхъ построекъ, кажется служившей внизу амбаромъ, а во второмъ этажѣ кладовой, и тамъ въ неотопливившейся каморкѣ-чуланѣ проводила и лѣтніе и зимніе мѣсяцы, никогда не зажигая огня и покидая свое жилище лишь разъ въ день для совмѣтнаго съ женской домашней прислугой Прокуниныхъ обѣда, во время котораго она всегда хранила молчаніе. Что дѣлала Мароа Степановна въ добровольномъ своемъ одиночьемъ заключеніи, было неизвѣстно, а также мы не знали, что именно побудило ее избрать такой образъ жизни. Кажется, у нея въ молодости былъ романъ (она была изъ купеческаго сословія), кончившійся печально, даже трагически. Одѣта она была во все темное и высокая не сгибавшаяся фигура ея съ блѣднымъ лицомъ, сохранившимъ слѣды былой красоты, но безжизненнымъ, строгимъ производила внушительное впечатлѣніе. Большіе каріе глаза ея казались намъ особенно страшными, она смотрѣла прямо, не моргая и не отводя глазъ отъ встрѣчнаго взора. Намъ прямо ужасала мысль о томъ, что Мароа Степановна, какъ намъ говорили, не сумасшедшая, долгіе зимніе вечера и ночи проводила одна въ своей каморкѣ въ полной темнотѣ и въ жестокомъ холодѣ.

И вотъ что еще мы считали злодѣяніемъ и о чемъ говорили съ ужасомъ и недоумѣніемъ, говорили шопотомъ, оглядываясь и чего-то боясь,—это «эксекуціи», вѣсти о которыхъ доходили, по отрывкамъ подслушанныхъ разговоровъ старшихъ, и до насъ—дѣтей (это было не въ деревнѣ, а въ Москвѣ), то-есть наказаніе «шпицрутенами» и гоньба солдатъ сквозь строй, при чемъ подъ конецъ несчастный уже не могъ самъ идти и его привязывали къ несомому поперекъ двумя солдатами ружью и въ такомъ видѣ волокли, между двухъ рядовъ солдатъ, вооруженныхъ прутьями, продолжая колотить, а иногда такимъ способомъ тащили и били уже мертвого, не выдержавшаго натяжанія. Этого факта мы совѣмъ не могли понять; онъ не уживался съ нашимъ представленіемъ о томъ, что люди вообще добры; это было что-то чудовищное, кошмарное, нѣчто столь же певѣроятное и страшное, какъ гроза и молнія зимой въ 20 градусовъ мороза. Замѣчая, что и старшіе говорятъ о шпицрутенахъ таинственно-мрачно и неохотно, мы не рѣшались спросить у нихъ объясненія этого злодѣянія, а старались забыть о немъ, чего вскорѣ и достигали. Въ этихъ эксекуціяхъ насъ особенно, помимо ихъ сущности, поражало то, что онѣ производились надъ солдатами, которыхъ все обычно хвалили за храбрость и молодцеватость и которые, судя по тому, какъ у нихъ пѣсенниками пѣлись пѣсни (что мы уже сами слышали) и какъ они плясали съ «ложками», были люди замѣчательно веселые и хорошіе. У насъ «людей» не поролі, а разговоры о томъ, что такой-то дворовый или крестьянинъ наказанъ, насъ не смущали; существованіе наказанія вообще намъ казалось неизбѣжнымъ и естественнымъ; мы и сами подвергались различнымъ наказаніямъ, огорчались, конечно, но не возмущались и даже не протестуя, но гоньба сквозь строй, на нашъ взглядъ, было не наказаніе, а нѣчто именно злодѣйское, страшное и непонятное.

Вотъ тѣ темныя пятна на общемъ сіяніи жизни, которыя были доступны дѣтямъ въ помѣщичьей, болѣе культурной, средѣ пятидесятихъ годовъ прошлаго столѣтія.

Набрасывая теперь, по памяти, черты и событія давнопрошедшей поры дѣтства и юности, я совѣмъ не задаюсь біографическими цѣлями; мнѣ хочется передать общую картину того времени, возстановить бытъ и оживить категорію людей дореформенной эпохи, совершенно исчезнувшихъ теперь съ жизненной сцены. Но не анализируя, а только описывая, мнѣ, для правдивости картины, приходится очерчивать событія и лицъ, съ которыми я встрѣчался, въ моемъ тогдашнемъ пониманіи и оцѣнкѣ ихъ.

Проводя каждое лѣто, а попозднѣе и зиму, въ деревнѣ, я, конечно, всего больше встрѣчался съ нашими дворовыми, сперва настоящими, а потомъ бывшими, и хорошо помню весь личный составъ нашей очень многочисленной «дворни» и взаимныя отношенія господъ и ихъ непосредственныхъ слугъ. Въ этихъ отношеніяхъ господствовала на первый взглядъ какъ бы непримиримая двойственность. Съ одной стороны господа относились почти съ презрѣніемъ къ «своимъ людямъ», не признавали за ними человѣческихъ правъ, а съ другой стороны сближались со многими изъ дворовыхъ, не брезгали ими, привязывались къ нимъ, а иныхъ уважали и любили. Рядомъ съ Васькой, Машкой и Мишкой были люди, которыхъ и старшіе никогда не звали иначе, какъ Василій Даниловичъ, Леоптіи Ивановичъ, Мавра Андреевна. «Ты», конечно, говорилось всемъ, но уменьшительныя прозвища давались (у насъ по крайней мѣрѣ) лишь несовершенно-

лѣтнимъ, пьяницамъ и вообще пустымъ людямъ. Совершенно естественнымъ казалось взять, на примѣръ, на зиму въ Москву Филиппа-ламповщика, оставивъ, не спрашивая на то его согласія, его жену и дѣтей въ деревнѣ, поручать уже почтеннымъ слугамъ, лѣтомъ, при обиліи мухъ, стоять во время обѣда за господскимъ столомъ съ большими вѣтками сирени или другихъ древесныхъ породъ и отгонять мухъ, или посылать уже стараго слугу сбѣгать на конюшню, чтобы велѣть запрячь лошадей; но въ то же время существовала несомнѣнная забота о дѣйствительныхъ (главнымъ образомъ матерьяльныхъ) пуждахъ прислуги и вообще дворовыхъ; ихъ жизнью господа интересовались и знали основательно положеніе каждой семьи. Тутъ, надо думать, кромѣ побужденій гуманнаго характера, имѣло значеніе чувство собственника по отношенію къ «своимъ людямъ»; ихъ берегли, ими хвастались и ихъ, если они не были люди протеста, «грубіяны», любили.

Не все дворовые относились отрицательно къ факту принадлежности ихъ господамъ; многимъ изъ нихъ казалось, что крѣпостное право—явленіе естественное, міровое, освященное небомъ, что люди не могутъ быть равны, что, какъ все человѣчество принадлежитъ Богу, какъ солдаты принадлежатъ Царю, такъ мужики и дворовые принадлежатъ своимъ прирожденнымъ господамъ и повинны имъ покорностью, а тѣ заботою о своихъ людяхъ. Вотъ къ факту продажи крѣпостныхъ помѣщиками на сторону все они относились очень отрицательно, но такіе случаи въ пятидесятыхъ годахъ встрѣчались рѣдко, а къ шестидесятымъ годамъ и совсѣмъ прекратились. Однако, далеко не все крѣпостные мыслили столь покорно и благодушно; чувство несправедливости положенія крѣпостныхъ было присуще вѣроятно большинству, но въ форму протеста при сноскомъ обращенія господъ съ ихъ вассалами не переходило. Почва для такихъ протестовъ находилась, впрочемъ, и въ помѣстьяхъ, мягко управлявшихся, а именно, когда у кого-либо изъ господъ завязывались любовныя отношенія съ представительницами женскаго пола данной дворни или села. Такіе случаи, когда въ семьѣ помѣщика бывало много холостой молодежи, встрѣчались очень часто; любовныя связи, иныя весьма краткосрочныя, а другія, напротивъ, длительныя, считались явленіемъ нормальнымъ и, разъ какъ при этомъ не было допущено какихъ-либо злоупотребленій или обмана, и объектомъ расположенія барчука или и самого барина была вдова или дѣвушка, то эти случаи проходили почти незамѣтно, а иногда бывали даже и очень по сердцу семьѣ излюбленной бариномъ дѣвушки, такъ какъ сопровождались обычно разными милостями и дарами родственникамъ дѣвицы. Протесты, и иной разъ достаточно бурные, происходили, когда у мужа «отбивалась» жена или у жениха невѣста. О такихъ случаяхъ протеста, переходившихъ даже въ уголовную сферу, я слыхалъ не разъ рассказы, относившіеся, впрочемъ, къ болѣе отдаленному прошлому. Кончались такія столкновенія и протесты,—разлукой, фактическимъ разводомъ, примиреніемъ на денежной подкладкѣ.

Но и помимо какого-либо, хотя бы внутренняго, ни въ чемъ явно не проявлявшагося протеста, дворовые, испытывая то же двойное чувство по отношенію къ господамъ, относились къ нимъ, если не враждебно, то тоже съ презрѣніемъ и насмѣшкой, и считали совершенно для себя дозволеннымъ пользованіе, запретно и тайно, барскимъ добромъ. Тутъ, разумѣется, была извѣстная градация: взять изъ лежащаго въ столбѣ или сундукѣ бумажника барина деньги было бы

постыдной кражей, по пользованіе естественными продуктами, извлеченіе не совѣтъ законныхъ выгодъ изъ даваемыхъ порученій въ ущербъ экономіи, пользование вещами господъ,—все это широко допускалось и не считалось преступнымъ: брали, вѣдь, не у чужихъ, а у своихъ. Обманывать господъ было вполне естественно и просто, такъ же, какъ заочно бранить и злословить во всю. Но при этомъ и у дворовыхъ была своего рода привязанность и даже любовь къ господамъ; они въ иныхъ случаяхъ готовы были многимъ пожертвовать для блага господъ, дѣлили печали и горести ихъ, бывали случаи, что даже матеріально помогали и тоже, если господа чѣмъ-либо славились, были извѣстны, гордились ими и хвастались.

Всего чаще привязанность къ господамъ встрѣчалась у дворовыхъ, проводившихъ всю жизнь въ барскомъ домѣ, въ семьѣ господъ, втягиваясь понемногу въ жизнь и интересы ихъ, особенно, если дворовые были люди не семейные. Прототипомъ такихъ дѣйствительно и безкорыстно преданныхъ «господамъ» лицъ бывали няни, дѣвушки въ молодыхъ еще годахъ приставленные къ «дѣтской», воспитавшія иной разъ не одно поколѣніе барчатъ и привязавшіяся къ нимъ чувствомъ, не уступавшимъ родительскому. Нерѣдко такія няни, пока имъ шли еще молодые годы, удерживались отъ брака, къ которому ихъ влекло естественное чувство, господами, и не прямо насильно, а уговорами, посулами. Случалось, что такъ замирало романтическое чувство, вызывая крушеніемъ своимъ безсонныя ночи и слезы, послушавшейся господъ и оставшейся при дѣтской, дѣвушки. Но со временемъ острота огорченія притуплялась, зарождалось чувство любви къ порученнымъ нянѣ чужимъ дѣтямъ, привычка къ нѣкоторой холѣ, къ обычно окружавшему умѣлую няню почету и заботѣ о ея удобствахъ; все это брало верхъ надъ мечтами о личной семейной жизни и няня становилась почти членомъ барской семьи, пользовавшимся большимъ авторитетомъ. Не всегда, однако, питомцы платили ей такую же любовью и, случалось, о ней забывали, и бѣдная старушка, вспоминая прошлое, одиноко, иной разъ на чужой сторонѣ, грустно коротала свой, отданный господамъ, вѣкъ вдали отъ нихъ. Этотъ типъ няни, не совѣтъ исчезнувшій и послѣ крѣпостного права, хорошо извѣстенъ и не только отбѣчень, но и воспѣтъ въ нашей литературѣ.

Отчетливо помню я свою няню—Прасковью Лазаревну, помню еще не старой женщиной, а потомъ ужъ старушкой, оставшейся въ нашей семьѣ до конца жизни, которая въ главномъ была посвящена намъ. Она была, конечно, изъ нашихъ же дворовыхъ; кажется, въ ранней молодости у нея былъ тайный романъ и связь, порвавшаяся потомъ; но объ этомъ я, конечно, узналъ, когда я уже былъ взрослымъ. Любилъ я свою Парашу безгранично и не признавалъ за ней никакихъ недостатковъ; она была вообще некрасива и значительно косила глазами, но я не только не замѣчалъ этого недостатка, но горячо спорилъ со старшими, доказывая, что это неправда и что Параша (я ее не звалъ няней почему-то)—красавица, и въ концѣ концовъ отчаянно плакалъ отъ обиды. Любовь къ Парашѣ,— конечно, уже не въ той степени и горячности,—я сохранилъ до ея смерти, ежегодно выдавая съ ней, когда я уже вступилъ въ университетъ и позже, а она изъ нашего большого дома перешла на жительство къ моей сестрѣ, занявъ у нея (въ деревнѣ) должность экономки. Я имѣлъ полное основаніе любить Парашу, ибо она платила мнѣ тѣмъ же и заботамъ ея обо мнѣ въ дѣтствѣ, ласкамъ и баловству не было предѣловъ. Съ поразительнымъ терпѣніемъ и благодушіемъ

переносила она все мои детские капризы и требования; она никогда не ворчала на меня, хотя в пылые ночи я раза по два будил ее и звал к своей кровати, чтобы покрыть меня сбившимся, будто, одеялом, которое я нарочно скидывал с себя, желая осязательно убедиться в том, что я не один в темной комнате и что Параша действительно тут со мной; помню, что когда она, устав, ложилась днем отдохнуть, я пользовался этим и, признав ее больной, начинал лечить, безжалостно прикладывая к ее голове компрессы, сооружаемые мною из сложенной в несколько раз бумаги или тряпочек, намоченных в воде, чем, конечно, мешал ей заснуть. Сколько раз она укрывала меня от гнива или даже наказания пред родителями, а позднее учителем, заступаясь за меня и не выдавая моего проступка. Помню, когда я уже стал ученым мужем и мог связно читать, какой удивительно восприимчивой и приятной слушательницей она бывала. Я обычно читал Параше вслух очень мною ценившуюся тогда книгу «Новый Робинзон или Швейцарское семейство», и она с неподражаемой искренностью удивлялась давно и подробно ей известным героическим деяниям «Фрица» и «Якова», добротам «Луизы» и разумности «отца». Одной функцией няни Прасковья Лазаревна не выполняла, она не рассказывала мне сказок и даже не знала наизусть ни одной. Как сейчас вижу Парашу сидящую в детской за большим круглым столом и шьющую что-то белое, приколотое к подушке, в середине которой имелося что-то очень тяжелое—кажется кирпич,—не дававшее ей сдвинуться с места (швейка?), при чем обычно у нее на спине, под черной пелеринкой, пребывала одна из моих двух белок, очень ручная,—Ганс. Параша нюхала табак, но делала это украдкой. Помню, уже гораздо позднее, когда мы жили в деревне и я состоял не при Параше, а при гувернерше Herr Streng, но она, разумная, оставалась у нас в доме на почетном положении, как она важно и серьезно, стоя у конца большого стола, где сосредоточивались на громадном подносе самовары, чайник и другие принадлежности чаепития, чашки и стаканы, распоряжалась всем этим два раза в день, утром и вечером, слушая болтовню многочисленных участников, носившего тогда несколько торжественный характер, семейного чайного собрания, но не участвуя в общем разговоре с момента прихода старшей хозяйки, а до этого любезно разговаривая с подходившими к столу. Теперь, кажется, таких, имевших в себе нечто церемониальное, ежедневных чайных собраний с непреклонным участием классического формою самовара, не бывает больше, да и самовар уже не столь обязателен и легко заменяется спиртовой бульоткой и иными модными суррогатами, продолжая, впрочем, служить человечеству, но не явно, а пребывая в сених или буфетной комнате.

Параша не знала сказок, но детство мое не обошлось, все-таки, без них; обязанность сказочницы брала на себя старшая горничная матушки Авдотья Ивановна. Рассказчица Дуняша, как мы ее звали, была превосходная; она не редко импровизировала и, передавая какую-либо общезвестную сказку, вплетала в нее новые, придуманные ею самой, подробности и оживляла рассказ присутствием ей юмором. Она не только сменила, она умела в страшных местах сказки так передать их, меняя голос и интонацию, а иногда и пародируя описываемых лиц или зверей, что мы, дети, испытывали страх. Особенно страшно выходило у нее рассказ о медведе на липовой ножке, где, между прочим, речитативом говорится, почти поется, что-то в этом роде: «...скрипу,

скрипу, скрипу на липовой ножкѣ... вся деревня спитъ, одна баба не спитъ, на моей шкуркѣ сидитъ, мою шеретку прядетъ» ...

Авдотья Ивановна была не нашей крѣпостной; она происходила изъ дворовыхъ с. Троицкаго князя Андрея Петровича Оболенскаго и къ намъ въ домъ вошла вмѣстѣ съ матушкой, горничной которой она состояла еще до ея замужества, въ числѣ прочаго приданаго, при выходѣ матушки замужъ за отца. Наша степная дворня, какъ мнѣ рассказывали, вначалѣ очень косилась на подмосковную бѣлоручку, выросшую въ княжескомъ домѣ, непожелавшую, къ тому же, являться съ представителями нашей коренной дворни. Но во внѣ враждебность эта, въ виду расположенія матушки къ Дуняшѣ, ничѣмъ не выразилась, а со временемъ и совсѣмъ прошла, тѣмъ болѣе, что Авдотья Ивановна сторонилась отъ остальной прислуги не изъ гордости, а изъ присущаго ей чувства дѣвственной стыдливости и перасположенія къ лицамъ мужского пола. Она не только сама была дѣвственницей, но зорко слѣдила за тѣмъ, чтобы подчпненные ей дѣвицы не увлекались кѣмъ-либо законно или незаконно, въ случаѣ провинности въ этомъ любовномъ, а то просто легкомысленномъ, направленіи кого-либо изъ нихъ, прямо свирѣпствовала, хотя въ остальномъ была очень добра, и настаивала на удаленіи изъ дома такой пошалившей дѣвицы. Казалось, что главная ея обязанность заключается вовсе не въ уходѣ за матушкой, а, именно, въ охраненіи, во чтобы то ни стало, невинности, состоявшихъ въ ея подчпненіи молодыхъ дѣвицъ, что иногда ей и удавалось.

Но одна изъ нашихъ прирожденныхъ Спасскихъ дворовыхъ дѣвицъ—Лиза, а подъ старость Елизавета Артемьевна, во всю свою жизнь питала недружелюбное чувство къ Авдотѣ Ивановнѣ и не могла помириться съ проникновеніемъ въ родную крѣпостную обстановку чужеземки. Для этого была, впрочемъ, особая причина: Елизавета Артемьевна, кажется, питала въ тайникѣ души своей романтическую любовь къ отцу моему, о чемъ онъ и не догадывался; Елизавета была особа скромная, а кромѣ того, наружностью своей совершенно не подходила къ роли влюбленной. Она сложениемъ своимъ скорѣе напоминала мужчину и была, при громадномъ ростѣ, замѣчательно костлява, но съ выдающимся валикомъ животомъ, а лицомъ была не казиста, при чемъ бросались въ глаза громадныхъ размѣровъ мясистый носъ, который она (на моей уже памяти) усердно набивала табакомъ, и росшіе на подбородкѣ рѣдкіе волосы. Въ ранней молодости Лиза состояла горничной при моей бабушкѣ Софѣ Фоминишнѣ—матери отца, персонѣ, судя по отзывамъ о ней ея современниковъ и по сохранившимся у меня ея письмамъ, обладавшей довольно тяжелымъ и строптивымъ, а при томъ очень расположеннымъ къ властвованію, характеромъ. Судя по письмамъ Софьи Фоминишны, бракъ отца на моей матери, рожденной княжнѣ Оболенской, состоявшийся безъ какого-либо ея участія (дѣдъ умеръ когда отцу было не болѣе 5 лѣтъ), не былъ ей симпатиченъ и едва ли она питала особенно благожелательныя чувства къ своей невѣсткѣ, въ виду чего, какъ надо думать, и переселилась изъ Спасскаго, когда мои родители переѣхали изъ Москвы на житье въ деревню, на другую, на много менѣе благоустроенную, усадьбу. И вотъ Лиза, преданная во всемъ какъ нельзя болѣе своей непосредственной госпожѣ, несмотря на ея строгій нравъ, почувствовала нѣчто въ родѣ перасположенія къ матушкѣ, поддержаннаго своего рода ревностью,—но, такъ какъ проявлять такое чувство къ «барынѣ» было неудобно, то она и перенесла его полностью на ея наперсницу—Дуяшу.

Впрочемъ, въ то строго дисциплинированное время, враждебныя чувства Лизы къ какимъ-либо эксцессамъ не приводили. Конечно выходило то, что Лиза была и лично и въ отношеніи надзора надъ домашними юными дѣвками, столь же строгой весталкой, сколько ея врагъ, и тоже считала тягчайшимъ грѣхомъ малѣйшую близость къ мужчинамъ. Матушку, будучи уже старухой, Елизавета Артемьевна таки простила и признала, наконецъ, своей Спасекой. Къ этому времени Лиза, а было оно уже много лѣтъ спустя послѣ смерти Софьи Фоминишны,—жила въ большомъ Спасскомъ домѣ, состоя въ званіи «кофешенки», то-есть, завѣдуя специально кофейнымъ и чайнымъ хозяйствомъ; впоследствии, послѣ смерти коренной нашей экономки Мавры Андреевны, она заняла ея мѣсто. Елизавета Артемьевна хорошо помнила то время,—до женитьбы и вступленія въ управленіе имѣніями моего отца,—когда еще былъ живъ и велъ все большое хозяйство мой прадѣдъ Федоръ Андреевичъ,—человѣкъ совѣтъ другого склада и характера,—крайне строгій и не всегда справедливый со своими людьми, въ которыхъ кромѣ любимчиковъ, видѣлъ только холоповъ. По ея словамъ жизнь двора при Федорѣ Андреевичѣ была тяжелая и его боялись какъ огня; тѣлесныя наказанія при немъ примѣнялись легко, но зато хозяинъ опъ былъ образцовый и крестьянамъ при немъ жить было въ матеріальномъ отношеніи хорошо, они ни въ чемъ не пуждались. Переданное мнѣ Лизой нашло себѣ подтвержденіе въ сохранившейся перепискѣ прадѣда и дневникѣ дѣда (умершаго молодымъ въ 1812 году). Изъ документовъ этихъ видно, что Федоръ Андреевичъ любилъ веселое житье; въ Спасское зимой и лѣтомъ постоянно наѣзжали гости и господа весело проводили время за картами (выигрывались и проигрывались не только деньги, но вещи, напримѣръ, коляска, тарантасъ, лошади) и выпивкой. Ежедневными гостями были сосѣдніе помѣшники и всевозможныхъ ранговъ губернскіе и уѣздные чиновники, непремѣнно заѣзжавшіе въ Спасское при поѣздкахъ изъ Тамбова въ Моршанскъ и обратно, благо Спасское лежало на самой большой дорогѣ, соединяющей эти города.

Упомянувъ о томъ, что Елизавета Артемьевна простила матушку, я долженъ добавить, что иначе оно и не могло быть, ибо матушка была воплощеніемъ доброты и привѣтливости. Какъ примѣръ, характерный для той эпохи, приведу такую черту: комната Дуняши, въ которой она спала за перегородкой, находилась рядомъ со спальней матушки; утромъ, когда матушка просыпалась, она звала Дуняшу, чтобы помочь ей встать, но если той не хотѣлось еще покидать ночного ложа, она и не думала подниматься и кричала матушкѣ изъ своего апартамента строгимъ голосомъ: «Рано еще вставать! Спите, а то такъ полежите!» И матушка безропотно покорялась и оставалась безъ сна въ постели или приступала къ своему утреннему туалету одна, безъ помощи Дуняши.

Вообще мнѣ не привелось быть свидѣтелемъ мрачныхъ картинъ изъ эпохи крѣпостного права, отчасти оттого, что ко времени, когда я могъ сознательно относиться къ совершавшемуся вокругъ меня, это право было уже на исходѣ и смягчилось, отчасти же потому, что при отцѣ, а въ особенности при матери, обращеніе съ крѣпостными было у насъ гуманное и, напримѣръ, павысшимъ наказаніемъ для дворовыхъ считалось изверженіе изъ двора: провинившемуся выдавалась со веѣмъ его семействомъ «вольная» и опъ изгонялся съ усадьбы. Такъ уже на моей памяти получилъ отпускную буфетчикъ Апаній въ видѣ наказанія за такое преступленіе: зиму въ томъ году вся наша семья проводила въ

Москвѣ, по Анаіи былъ оставленъ въ Спасскомъ, гдѣ пустой домъ все-таки слегка отапливался; у Анаіи находились, какъ у буфетчика, ключи отъ погреба, въ которомъ былъ достаточный запасъ вина. Лѣтомъ, по нашему прїѣздѣ въ Спасское, при первой же поданной бутылкѣ вина, выяснилось что-то пеладное: вкусъ и букетъ вина исчезли и въ бутылкѣ имѣлся какой-то жидкій, кислый и мутный напитокъ; вторая поданная бутылка оказалась въ такомъ же неестественномъ состояніи, а по произведенному тщательному осмотру выяснилось, что почти все бутылки были откупорены, вино изъ нихъ почти полностью вылито, а онѣ дополнены водой и вновь закупорены. Анаіи тотчасъ повинился, сознавшись въ томъ, что онъ, въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ, вынулъ все бывшее въ погребѣ вино, разбавляя остатки его въ каждой бутылкѣ водой. Попуталъ его «нечистый» на такое скверное дѣло съ переноя, когда ему опохмелиться было нечѣмъ и не на что, а душа горѣла и ее безудержно тянуло «исправиться». Сначала онъ робѣлъ, шлѣ понемногу, а тамъ махнулъ на все рукой и проныпствовалъ всю зиму. Въ отуманенномъ мозгу Анаіи держалась мысль, что господа быть можетъ не замѣтятъ его продѣлку и будутъ пить оставшуюся въ бутылкахъ бурду, принимая ее за хорошее вино. За такое дѣяніе Анаіи, сколь ни просилъ, не былъ прощенъ и, получивъ «вольную», покинулъ съ семьей Спасское, а управляющій имѣніемъ, тоже изъ своихъ, Егоръ Фроловичъ, хотя и возмущался поступкомъ Анаіи и каялся въ недосмотрѣ, въ разговорѣ со старшими служащими высказывалъ даже удовольствіе, что, наконецъ-то, понялъ, почему Анаіи всю зиму казался ему словно выпивши, а между тѣмъ, онъ зналъ достоверно, что ему не на что, да и негдѣ выпить.

Въ средѣ нашей дворянъ было много людей не только способныхъ, а прямо талантливыхъ, но эта талантливость не спасала ихъ отъ бывшаго всеѣмъ имъ присущимъ недостатка—склонности къ пьянству. Даже наиболѣе способные люди тѣмъ сильнѣе поддавались власти вина. У всеѣхъ у нихъ эта слабость проявлялась, обычно, въ формѣ классическаго запоя, дливнагося иногда недѣлями. И тутъ ужъ ничего не помогало: такого запивнагося человѣка даже запирали гдѣ-либо до вытрезвленія, но онъ все-таки какимъ-то способомъ добывалъ себѣ водки и продолжалъ пить. Старшій садовникъ, бывшій въ ученіи въ Москвѣ, человѣкъ сравнительно развитой, настоящій любитель и знатокъ своего дѣла, заведшій у насъ померанцевыя и лимонныя деревья, дававшій ежегодно плоды, поставившій Спасское садоводство на поразительную высоту, впадалъ на цѣлыя недѣли въ запой, художникъ-токарь Івліи Тимофеевичъ шлѣ непробудно, какъ только у него заводились какія-нибудь деньжонки, лучшій нашъ паѣдникъ Никита шлѣ временами безъпросьба, самоучка-механикъ мельникъ Аонасіи страдалъ тѣмъ же, великолѣбно готовившій поваръ Федотъ, учившійся въ Москвѣ на кухнѣ Англійскаго клуба,—тоже, словомъ, все, за самыми рѣдкими исключеніями, дворовые были пьяницы.

Припоминаю одного двороваго, не изъ нашихъ крѣпостныхъ, но очень интереснаго человѣка—Ивана Осипова. Онъ обладалъ двумя способностями: хорошо стригъ волосы и состоялъ прежде поэтому у своихъ господъ мужскимъ куаферомъ, а еще обладалъ поэтическимъ даромъ и былъ придворнымъ поэтомъ,—сочинялъ и подносилъ господамъ, во всевозможныхъ случаяхъ, стихи, болышею частью въ формѣ именьныхъ дифирамбовъ. Писалъ онъ и оды, длинныя и маловразумительныя. У меня сохранился случайно отрывокъ одного изъ его

стихотворений, свидетельствующий о томъ, что Осипъ обладалъ дѣйствительно даромъ римоплетства и склонною къ поэзіи и возвышенною душою. Вотъ этотъ огрызокъ.

РЪЧЬ ВЪ СТИХАХЪ.

Кипитъ мой духъ живымъ восторгомъ.
Когда на небо я гляжу....
Стою какъ будто передъ Богомъ
И весь восторгомъ трепещу!
Вотъ солнце дивною красою
По небу синему плыветъ,
Дождь сыплетъ, свѣзый, надъ землею
И жизнь природѣ всей даетъ.
Вотъ точно яркая лампада
Горитъ тамъ мѣсяцъ золотой
И служитъ сладкою отрадой
Во время темноты ночью!
Вотъ точно праведниковъ очи
Созвѣздя свѣтлыя блестятъ
И въ тишинѣ спокойной ночи
На насъ, какъ будто бы, глядятъ.
Какъ будто огоньки какіе
Зажглись невидимой рукой,
Какъ будто къ Вышнему Святые
На праздникъ собрались какой!..
.....
.....
Но нѣтъ! Бесплодною мечтою
Зачѣмъ по облакамъ летать!
Мы можемъ Бога предъ собою
И на землѣ здѣсь созерцать...

И несмотря на возвышенную душу и хорошую грамотность, Осипу невозможно было поручить никакого самостоятельнаго дѣла,—онъ, какъ только оставался на свободѣ и добывалъ гдѣ-либо деньжонокъ, напивался до безчувствія, а затѣмъ долго опохмелялся, вымаливая буквально на колѣняхъ у господъ (кто подобродушнѣе) и у своихъ же коллегъ хоть самую малость на приобретение сна-спительнаго лекарства,—т.-е. водки.

Припоминаю еще одного двороваго, тоже не нашего, пзряднаго пьяницу, но удивительнаго фантазера-разсказчика. Онъ служилъ лѣснымъ сторожемъ у одного изъ нашихъ сосѣдей и я съ нимъ часто видался въ періодъ охоты по тетеревамъ,—мѣстопоходженіе выводковъ которыхъ указывалъ всегда именно онъ. Онъ много, во время перерывовъ охоты для отдыха, разсказывалъ невѣроятныхъ исторій то съ участіемъ его самого въ нихъ, а то и постороннихъ ему лицъ. Одинъ изъ его разсказовъ настолько мнѣ понравился, что я его тогда же записалъ почти дословно. Разсказъ этотъ можно назвать «новѣтвованіемъ о безстрашномъ дворянинѣ». Содержаніе его таково:

— Жилъ около насъ по сосѣдству,—разсказывалъ сторожъ,—дворянинъ помѣщикъ, который ничего не боялся. Пробовали его страшить всячески, по такъ и не удалось запугать. Жилъ неподалеку, на хуторѣ нѣкоторый человѣкъ и жилъ будто какъ и всѣ, даже жену имѣлъ и племянники при немъ находились. Значился онъ крестьяниномъ и хуторъ арендовалъ у того помѣщика, но былъ онъ на самомъ дѣлѣ, какъ всѣмъ намъ доподлинно было извѣстно, колдунъ и много зла дѣлалъ: порчу напускалъ на людей, на скотину болѣзни и морь, даже погоду мѣнялъ. И вотъ померъ этотъ колдунъ и всѣ изъ его семьи и которые были хуторскіе жители, разбѣжались; на ночь никто при колдунѣ не рѣшался остаться. Узналъ о томъ дворянинъ и объявилъ, что пойдетъ почевать на хуторъ къ умершему колдуну. Сказалъ и сдѣлалъ: захватилъ съ собою бутылку водки, свѣчку и книжку и усѣлся читать въ горницѣ, гдѣ лежалъ покойникъ. Въ полночь колдунъ сталъ подниматься изъ гроба, но тутъ дворянинъ громовымъ голосомъ какъ закричитъ на него: «Ахъ ты с.... е!... Куда? Народъ пугать? Я те покажу какъ подниматься! На мѣсто с.... с...!» И колдунъ тотчасъ же улегся и ужъ больше въ эту ночь не вставалъ. Почевалъ тоже тотъ дворянинъ разъ на нашемъ кладбищѣ. А тамъ съ чего-то за послѣднее время покойники стали вылѣзать изъ могилъ и бродить по погосту. Какъ увидалъ это дворянинъ, открылъ онъ по покойникамъ палубу изъ пистолета, взятаго съ собою, да съ добавленіемъ такихъ крѣпкихъ словъ, что покойники сразу попрятались по своимъ мѣстамъ и ужъ болѣе не показывались. Ему тогда отъ всей округи благодарность была и угощеніе, и въ столицѣ пропечатано было, а звали его Иванъ Ивановичъ. Но съ тѣхъ поръ не было ему другого прозвища, какъ «безстрашный дворянинъ».

— Однажды пришелъ къ Ивану Ивановичу мужичокъ и доложилъ, что въ засѣкѣ объявилась большая шайка людоѣдовъ, и что они уже многихъ людей извели. Безстрашный дворянинъ не задумываясь долго, велѣлъ кучеру своему Кузьмѣ заложить бѣговья дрожки, надѣлъ новый кафтанъ, перетянулся потуже кушакомъ, взялъ охотничій ножъ, повѣсилъ черезъ плечо, какъ оно полагается порядочному дворянину, фляжку съ водкой и вмѣстѣ съ кучеромъ поѣхалъ въ засѣку. Отѣхавъ по лѣсу нѣсколько верстъ, видятъ они, лежитъ зарѣзанный человѣкъ, совсѣмъ голый, поперекъ дороги. Иванъ Ивановичъ знаетъ хорошо и понимаетъ, что и къ чему и когда требуется, а потому сразу велѣлъ Кузьмѣ подобрать покойника и положить на дрожки. Такимъ манеромъ ѣдучи, подобрали они еще двоихъ покойниковъ, лежавшихъ поперекъ дороги голыми. Наконецъ вѣхали они на полянку, а тутъ видятъ—стоитъ изба, вродѣ какъ сторожка, только мохомъ крытая, а вокругъ нея валяются—прости Господи!—людскіе черепа, лодыжки и другія кости. Слѣзъ дворянинъ съ дрожекъ и сейчасъ въ избу. А въ ней духъ тяжелый, несносный и на скамьяхъ сидятъ людоѣды,—страшные, косматые, лохматые, бородатые, нечесашные, немытые. Уставились глазами на дворянина, а сами молчатъ. Дворянинъ сразу-то чуть заробѣлъ и говоритъ этакъ, будто къ знакомымъ: «здорово, ребяташки!» Молчатъ людоѣды, только что другъ друга подталкиваютъ. Но тутъ дворянинъ уже подбодрился,—не такойскій онъ быть,—сѣлъ за столъ, снялъ съ себя флягу, сколько было ему потребно выпилъ и кричитъ въ окно: «Кузьма! Тащи ко мнѣ на закуску осетрину, что мы дорогой подобрали!» Кузьма внесъ перваго покойника и положилъ его передъ дворяниномъ на столъ, а у покойника голова свѣсилась и руки болтаются. Дворянинъ вынулъ свой ножъ, отрѣзалъ отъ покойника кусокъ, попробовалъ, вы-

плюнулъ и кричитъ Кузьмѣ: «Нѣтъ, этотъ не годится, не свѣжъ. Давай второго!» Кузьма принесъ второго, но и этотъ не понравился дворянину и онъ спросилъ третьяго. А людѣды жмутся и шепчуть про себя: «Экъ его! Мы-то хоть варимъ, а этотъ прямо сырьемъ жретъ!»

«Нѣтъ, закричалъ дворянинъ, и третій не годится. А ты вотъ что, Кузьма, поймай-ка миѣ свѣженькаго!» Людѣды все зажались, еле дышать. Кузьма вышелъ впередъ, выставилъ ногу, засучилъ рукава, вытянулъ руки и спрашиваетъ: «какого прикажете Ваше благородіе?» «А какого поймаешь», спокойно отвѣтилъ дворянинъ. Тутъ все людѣды какъ прыснуть: кто туда, кто сюда, этотъ въ дверь, тотъ въ окно—все разбѣжались, только ихъ и видѣли! А Иванъ Ивановичъ забралъ людѣдскую шкатулку,—а въ ней были большія деньги и вернулся, какъ ни въ чемъ не бывало, домой. Такъ на вѣкъ за нимъ и осталось прозвище «безстрашный дворянинъ».

Въ видѣ иллюстраціи того, какъ пили дворовые, приведу отрывокъ изъ письма моего отца къ матери (въ сороковыхъ годахъ), изъ Тамбова въ Спасское, отстоящее отъ него въ 50 верстахъ:

«... Отправившіеся поутру транспортъ не совсемъ благополучно достигъ своего назначенія. Ежели не кривая Матрена, то я и не знаю, чѣмъ бы это дѣло кончилось. Посланные, помня Николу*), котораго празднуютъ три дня, напились, и продолжали подливать по дорогѣ отъ Горѣлова. Подливанье это дошло наконецъ до того, что Семенъ лежалъ на возу безъ всякихъ чувствъ и правилъ до Тамбова пьяный Андрей. Наконецъ въ Тамбовѣ лошади шарахнулись и на нервомъ ухабѣ онъ свалился. Лошади понесли кривую. Какой-то проходившій солдатъ остановилъ ихъ и связалъ порванные постромки. Между тѣмъ сзади привязанный Артуръ**), испугавшись, началъ бить, а солдатъ отказался проводить Матрену до двора, ибо ему слѣдовало куда-то идти на дежурство. Матрена, не зная Тамбова, одна на возу съ совершенно безчувственнымъ Семеномъ, одною рукою держитъ возжи, а другою поводъ Артура, и изволилъ двигаться. Наконецъ какой-то прохожій, по врожденному человѣку чувству состраданія къ ближнему, сѣлъ на сани и за гривенникъ взялся доставить ее до дому, что и совершилъ добросовѣстно. Семена не могли даже растряссти. Въ это время я пріѣхалъ и встрѣтилъ у нашей церкви Филиппа и Якова, отправившихся за попомъ Андрея. Матрена, не зная города и кружившись по разнымъ направленіямъ его, сначала безъ проводника, никакъ не могла сказать, гдѣ свалился Андрей. Яковъ пошелъ на поиски. Между тѣмъ времени прошло часа полтора и я, опасаясь, чтобы Андрея не зашибли или не ограбили, послалъ Филиппа справиться въ обѣихъ полицейскихъ частяхъ и заявить на всякій случай о происшествіи. Между тѣмъ Семенъ ознобилъ себѣ руки и ноги, которыя ему оттираютъ холодною гущей и кажется успѣшно».

Въ концѣ длиннаго письма, на третій день по пріѣздѣ отца въ Тамбовъ, значилось еще: «Семенъ вѣроятно потеряетъ руку, во всякомъ случаѣ долго проболѣетъ. Я намѣренъ помѣстить его въ больницу». — Предположеніе отца, однако, не осуществилось, Семенъ руки не потерялъ. Я и его, и упоминавшихся въ письмѣ Андрея и Филиппа, Якова и даже кривую Матрену хорошо зналъ. Семенъ состоялъ въ мое время кучеромъ и расположенія къ вину не потерялъ.

*) Письмо датировано 8-мъ декабря.

**) Лошадь.

Въ приведенномъ отрывкѣ письма характернымъ является тоже количество при-
слуги, окружавшей господъ. Приѣзда отца въ Тамбовъ (у насъ тамъ былъ обычно
пустовавшій небольшой флигель—комнаты въ три) уже ждали Филиппъ и Яковъ,
съ подводой ѣхали туда же трое, да еще отецъ въ письмѣ къ матери пишетъ:
«Пришли ко мнѣ вмѣстѣ съ почтовымъ посломъ Ивана Пивкина». А приѣзжалъ
отецъ въ Тамбовъ только на время дворянскихъ выборовъ.

Тѣ изъ дворовыхъ, кто не принадлежали къ категоріи пьяницъ (даже
глухо-нѣмой сапожникъ и тотъ напивался каждый праздникъ), тѣ ужъ зато
совсѣмъ не пили; умѣреннаго употребленія вина не существовало. На селѣ, въ
крестьянствѣ, такого расположенія къ пьянству не замѣчалось; пьяницъ было
очень немного и злоупотребленія спиртными напитками было лишь въ большіе,
особенно же въ храмовые, праздники.

II. Д а в ы д о в ы .



Э. Я. Пивковъ.
«Дождалься».

П Р О Щ А Н І Е.

Жутокъ, темень городъ молчаливый.
Черный вѣтеръ бродить, какъ слѣпой,
Шаритъ стѣны, пробуетъ затворы,
Хлещеть въ окна снѣжною крупой.

Вспоминаю свѣтъ и шумъ вокзала,
Гулъ вагоновъ, жесткій стукъ колесъ,
И звонки, и суету, и слезы,—
Сколько лицъ и взоровъ, сколько слезъ!

Разставаясь, дѣланно бодрился,
Говорилъ ненужныя слова
И глядѣлъ на бѣлыя косынки
И на красный крестъ—на рукава.

А когда ушелъ и скрылся ноѣздъ
И настало время уходить,
Вспомнилъ я съ тревогой и печалью,
Что забылъ тебя перекрестить...

Г. Вяткинъ.



Скалистый финскій кряжъ щетинится сосною
Надъ гладью озера. Игрушки—острова
Въ деревьяхъ крошечныхъ. И свѣтлой глубиною
Въ водѣ повторена сквозная спнева.

Корнями цѣпкими обломки скалъ обвиты,
Межъ нихъ въ лѣсную глушь тропинка пролегла,
Гдѣ шишки падаютъ на мшистые граниты,
И курится сосны душистая смола.

П. Петровскій.

ОЛЬРИДЖЪ И ШЕВЧЕНКО *).

(Страничка изъ прошлаго).

Они были разные, совѣмъ разные люди,—разныхъ странъ, разныхъ языковъ, разной вѣры, разной крови, разныхъ лицъ. Онъ былъ черный, съ шерстистыми, курчавыми волосами,—негръ-мулатъ, пріѣхавшій изъ Америки. Онъ былъ по-настоящему африканскій человѣкъ. Его отецъ былъ привезенъ въ Америку изъ родной Африки на невольническомъ суднѣ, какъ матеріалъ для работы на сахарныхъ плантаціяхъ, какъ рабочій скотъ, вмѣстѣ съ сотнями другихъ черныхъ африканскихъ тѣлъ, захваченныхъ на облавѣ, которую устраивали цивилизованные бѣлые народы на черныхъ африканскихъ людей, совершенно такъ же, какъ устраивается облава на оленей на сѣверѣ Сибири.

Его отецъ былъ мальчикомъ-невольникомъ, по сотни черныхъ африканскихъ людей знали и помнили, что мальчикъ—сынъ ихъ царька, старѣйшины ихъ рода, и когда пришло время становиться мальчику на работы на сахарныхъ плантаціяхъ, подъ плеть надсмотрщиковъ, африканскіе люди, уже обращенные въ американскую вѣру, выбрали юношу своимъ пасторомъ, чтобы освободить его, сына старѣйшины ихъ рода, отъ плетей и отъ рабьей работы.

Къ тому же, къ пасторству, миссіонерству предназначался и сынъ, молодой Ольриджъ. Разказчица не знаетъ, проповѣдывалъ ли онъ слово Божіе, но она хорошо помнитъ, что разказывала ей и отцу ея Ольриджъ. Его страстно потянуло къ театру, но такъ какъ въ тѣ времена, а быть можетъ, и сейчасъ на дверяхъ американскихъ театровъ былъ аншлакъ, что «собаки и негры въ театръ не допускаются», то онъ нанялся слугою къ какому-то актеру, чтобы только бывать въ театрѣ, чтобы хотя изъ-за кулисъ видѣть, что развертывается на сценѣ.

Всемирной знаменитостью, признаннымъ гениемъ пріѣхалъ онъ въ Россію. Встрѣчавшія его русскія аристократки цѣловали его черныя руки, онъ изобразилъ исторію Отелло не только на сценѣ, но и въ жизни,—англійская леди,

*) Ольриджъ былъ знаменитый трагикъ, по разказамъ современниковъ, исполнявшій какъ никто трагическія шекспировскія роли, бывшій единственнымъ королемъ Лиромъ и Отелло. О встрѣчѣ ихъ я слышала отъ Ек. Оед. Юнге, известной художницы и писательницы, помѣщавшей свои воспоминанія въ «Вѣстникѣ Европы», въ домѣ отца которой, графа Ф. Толстого, вице-президента академіи художествъ, встрѣчались Ольриджъ и Шевченко.

дочь знатной семьи, противъ воли родителей, вышла за него замужъ, и сына оставилъ онъ въ Лондонѣ, предъ тѣмъ какъ прѣхать въ Россію.

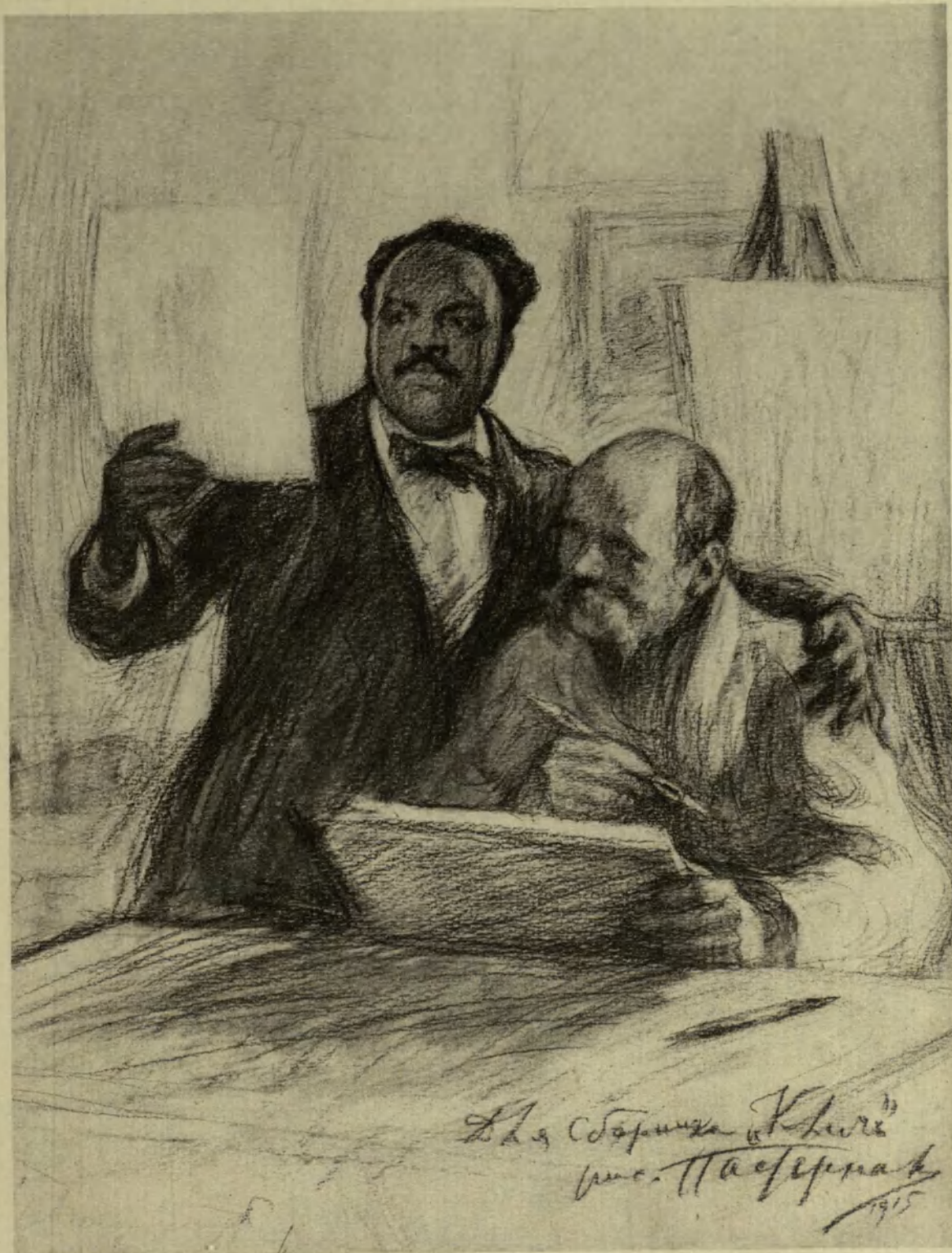
А другой, Шевченко, съ Украинской, круглой, какъ арбузъ, головой, съ старыми казацкими усами, унылыми усами. Онъ тоже изъ неволи вышелъ, изъ давней крѣпостной русской неволи, тоже украдкой пробирался къ своему художественному творчеству, учился тайкомъ, урывками рисовалъ, гдѣ попало и былъ битъ за то, что рисовалъ.

Въ то время онъ прѣхалъ съ противоположной стороны, съ Востока, изъ-за Каспия, изъ другой неволи, изъ злой николаевской солдатчины, прѣхалъ онъ— крупный художникъ, великій создатель малороссійскихъ думъ, можно сказать, малороссійской поэзии, чье величіе только недавно признано—и признано ли въ полной мѣрѣ современниками?—чья живопись и чья поэзия были разгромлены, раздавлены злой и жестокой русской жизнью николаевскихъ временъ.

И встрѣтились они двое у третьяго, у русскаго аристократа, графа Оедора Толстого. Тамъ встрѣтились, потому что онъ имъ былъ встрѣчный. Блестяще начавши свою военную карьеру, изъ аристократической и военной семьи, гдѣ тогда признавалась единственной приличной и достойной карьерой военная, гдѣ допускались и даже поощрялись отклоненія въ сторону искусства, поэзии и литературы, но только какъ отклоненія, какъ временныя экскурсіи, и гдѣ признавалось недостойнымъ и полупостыднымъ, чтобы искусство, поэзия и литература сдѣлались у человѣка изъ аристократической семьи всею жизнью, за которой ничего не остается у человѣка. Графъ Оедоръ Толстой взялъ искусство, какъ всю жизнь, какъ только одну жизнь для себя. И дочь его разеказывала миѣ, какой скандалъ былъ въ семьѣ и въ смежныхъ кругахъ, когда ихъ графъ Толстой ушелъ изъ полка въ мастерскую.

Онъ сдѣлался мастеромъ, говорятъ, единственнымъ знатокомъ и тончайшимъ цѣнителемъ чистой античной красоты, говорятъ, величайшимъ художественнымъ граверомъ, какого знала до того времени Россія. Онъ не сдѣлался отщепенцемъ. Онъ не пересталъ быть графомъ, онъ былъ вице-президентомъ академіи художествъ, но душа его была уже раздѣленная, и большая часть души легла въ сторону людей художества, поэзии, литературы. И общество, собиравшееся у него, было одно изъ рѣдкихъ, собиравшихся тогда въ Петербургѣ,—общество людей, уходившихъ отъ обычной военно-служебной карьеры въ сторону искусства, поэзии и литературы. Съ тогдашней точки зрѣнія не вполне благонадежное общество, начиная съ близкаго друга дома, Костомарова, и кончая родственникомъ, Львомъ Толстымъ, тоже уже уходившимъ отъ порядочной карьеры, отъ мечты о флигель-адъютанствѣ въ сторону литературы.

А главное,—сердце, чудесное сердце графа Оедора Толстого легло къ людямъ, избравшимъ эту карьеру даже подъ угрозой, николаевской угрозой бичами и скорпіонами, къ тѣмъ, которыхъ онъ считалъ своими людьми, родными людьми. Онъ первый возбудилъ ходатайство о возвращеніи Шевченко изъ пустынныхъ степныхъ батальоновъ, онъ, хотя ему разъ уже было отказано, не побоялся, несмотря на дружескія и серьезныя предостереженія объ опасности шага, подать новое прошеніе во время коронаціи все о томъ же вредномъ Шевченко. Только благодаря Толстому и не погибъ Шевченко въ закаспійской пустынѣ, только благодаря ему возвращенъ онъ былъ въ Петербургъ и, хотя размятый и униженный, все же передъ смертью увидѣлъ кусочекъ радости жизни



Л. О. Пастернакъ.
Ольриджъ и Шевченко.



и великую радость художника и писателя—почувствовать признание себя тѣми, для кого онъ творилъ.

Къ графу Оедору Толстому и прѣхалъ прямо изъ Нижняго-Новгорода Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, и Еж. Ф. Юнге рассказывала миѣ великую, трогательную радость ихъ семьи, когда они дождались Шевченко.

Въ ихъ же домъ съ другой стороны прѣхалъ другой великій человекъ, Ольриджъ. И между ними переводчицей и связующей душой была старшая, четырнадцатилѣтняя дочка графа Оедора Толстого, безъ которой не могли имѣть смысла свиданія Ольриджа и Шевченко, не понимавшихъ другъ друга, и которая такъ художественно и съ такой нѣжной памятью о томъ и другомъ рассказывала миѣ объ этихъ свиданіяхъ.

Шевченко приходилъ раньше. Онъ рисовалъ тогда портретъ Ольриджа и аккуратно раскладывалъ папку, чинилъ карандаши, устранялъ оевѣщеніе и бесѣдовалъ съ своей прятельницей, четырнадцатилѣтней дѣвочкой, неизмѣнно въ эти часы сидѣвшей на диванѣ въ ожиданіи дорогого гостя.

Ольриджъ всегда опаздывалъ и врывался бурно, торопливо сбрасывалъ съ себя плащъ и еще въ передней спрашивалъ лакея: «здѣсь артиста?» Такъ называлъ онъ Шевченко.

«Артиста» былъ здѣсь, уже съ углемъ и мѣломъ въ рукахъ, и принималъ Ольриджа сурово и укоризненно. И въ сознаніи вины Ольриджъ покорно садился на назначенное ему мѣсто въ предуказанной Шевченко позѣ, и тогда на нѣкоторое время водворилось молчаніе... Не на долгое.

Ольриджу, очевидно, непереносно было смиренное сидѣніе, сосредоточенное глядѣніе,—онъ начиналъ мѣнять позы, дѣлалъ гримасы тоже его прятельницѣ, четырнадцатилѣтней дѣвочкѣ, а Тарасъ Григорьевичъ Шевченко сердился и ругался. «Ось, бісова дѣтина!»—А потомъ Ольриджъ и вовсе не могъ выносить смирности и неподвижности, и начиналъ нѣтъ печальныя нѣсни негритянской неволи, а потомъ всакивалъ съ своего мѣста и начиналъ плясать буйныя негритянскія пляски и представлять сцены. Тогда Шевченко оставлялъ свое рисование и нѣлъ печальныя думы о малороссійской неволѣ, и случалось, плясали они оба,—одинъ—негритянскій танецъ, а другой малороссійскаго гопака.

И цѣловались и обнимались они, и смѣялись и плакали...

И потомъ начинались долгіе, тихіе разговоры, при посредствѣ четырнадцатилѣтней дѣвочки, объ ихъ прошлой долѣ, объ ихъ общей долѣ.

Одинъ рассказывалъ о своей негритянской долѣ, какую горькую муку униженій, за то только, что онъ не бѣлый, вынесъ онъ, пока выбился на свѣтъ; а другой рассказывалъ о своей русской долѣ, какъ онъ былъ крѣпостнымъ рабомъ не у чужихъ людей, а у своихъ же русскихъ, какъ били его чубукомъ, за то, что онъ не могъ не рисовать, какъ сослали его рядовымъ въ батальонъ, какъ мучили его, какъ истерзали его сердце, размяли, раздавили его всего.

Они очень любили другъ друга. Такъ встрѣчались Ольриджъ и Шевченко.

С. Е л н а т ь е в с к і и .

В Р А Г Ъ.

На рокочущемъ Ньюнорѣ,
Метящій, злой,—я мчусь къ врагу...
Въ сердцѣ гнѣвъ и месть во взорѣ,—
Здѣсь щадить—я не могу!...

Вверхъ, туда, гдѣ съ гордымъ чванствомъ
Онъ летаетъ въ вышинѣ,—
Пусть предѣла нѣтъ пространствамъ,—
Тѣсно намъ,—врагу и мнѣ!..

Нѣтъ земли, пропеллеръ свищетъ,—
Здѣсь морозъ,—а въ сердцѣ зной...
Взоръ мой жадно ждетъ и ищетъ
Злую птицу надо мной.

Свистъ и грохотъ... Перебой...
Гдѣ-то, въ сумракѣ небесъ
Въ смертномъ боѣ бьются двое...
Взрывъ... Побѣда!.. Врагъ исчезъ...

Михаилъ Гальперинъ.



ВЪ ДНѢПРОВСКОМЪ ЛИМАНѢ.

Разсвѣтъ. Дымя, идемъ средь водъ лимана.
Все уже ширь. Вдали—видна рѣка.
Она блеститъ сквозь кисею тумана...
Зазелѣли стѣны тростника.

Волна ихъ гнетъ и круто, и упрямо.
А сбоку—степь съ кустами лозняка.
Кургановъ рядъ. И желтый блескъ песка,
И бурный цвѣтъ поблекшаго бурьяна.

Тѣснѣй рѣка. Здѣсь стукъ винта—звучнѣй.
А велѣдъ—другой гигантъ ползетъ за нами,
Какъ мы, бурля курчавыми волнами...

Труба и дымъ. Кресты высокихъ рей.
И мы идемъ случайными друзьями
Вдоль зыбкихъ стѣнъ шуршащихъ камышей.

Павелъ Тулубъ.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ.

Въ новую земскую школу, обращенную въ лазаретъ, привезли солдатъ. Это легко раненые. Ихъ тридцать человѣкъ. Вписывая въ книгу данныя о нихъ, видишь, сколько въ Россіи губерній, выговоровъ, типовъ лицъ. Немалая наша страна.

Изъ тридцати семнадцать х л ѣ б о п а ш ц ы. Такъ и быть должно. Если взглянешь въ окошко, или туманнымъ утромъ выйдешь по большаку—столько полей, жнивья, озимыхъ, пахоты—на миллионы рукъ.

Одного рыжеватого мужика имя—Хрисанъ, а зовутъ его всеъ Крысаномъ. Онъ и есть Крысанъ. Высокій, нескладный. Ходитъ нѣсколько коряво. Раненъ въ руку, когда шли «на ура». Пьетъ много чаю. Другой пониже ростомъ, со спутанными волосами, рѣдкой бороденкой. Кажется, Курекой губерніи. Крысанъ—самарецъ. У него разворочепъ палець, и зловонепъ. На перевязкѣ, когда снимаютъ разложившіяся частицы, слегка охаетъ. Но крѣпится. Они оба п а х а р и. Изъ тѣхъ, кѣмъ государетва держались. И эти не выдадутъ. Все помаленьку, помалегоньку. А прикажутъ имъ—всеъ полягутъ. Не побѣгутъ.

Работа состоитъ здѣсь въ томъ: кормить ихъ, поить чаемъ, помогать на перевязкѣ. Это, разумѣется, не трудно.

Удивительная тьма вечеромъ, когда выйдешь на улицу! Начало ноября. Суровое въ деревнѣ время. Человѣку молодому и первому вѣтеръ, тьма ночи кажутся хаосомъ. Вѣроятно, это такъ и есть.

Вспоминаешь о тѣхъ воюющихъ, знакомыхъ и друзьяхъ, съ кѣмъ въ пестрой, иногда блестящей сутолкѣ столицъ сжигали жизнь. Гдѣ они сейчасъ? Въ развѣдкахъ, въ опасностяхъ? Или кто-нибудь изъ нихъ уже хрипитъ въ кусту, съ нулей въ животѣ?

«О плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ, страждущихъ и илѣпенныхъ—и о спасеніи ихъ» ...

Фамилія одного раненаго—Келка. Онъ Петроградской губерніи, очень страннаго, Люблинскаго уѣзда. О своей народности, емуцаея, пролететаль: «випиць», «випиць»—непонятно. Онъ просто финнъ. Добрыя у него глаза, дѣтскіе. Очень растерянный. Что-то мелькаетъ и перебѣгаетъ въ лицѣ, и говоритъ онъ тоже жалобно—малопонятно. Точно подбалтываетъ. Вечеромъ мучительно и горячо молится, на колѣняхъ. Я принесъ имъ въ палату, передъ вечернимъ сномъ, яблокъ. Разговорились. Келка все бормоталъ: «Ой, много народу побили!» И улыбался виновато. Потомъ прибавилъ: «И я его, офицера ихняго, прикладомъ, прикладомъ!»

Еще разъ я видѣлъ, онъ стоялъ передъ постелью, голову въ нее уткнулъ и руками сжалъ. Пусть бы актеръ сыгралъ такъ отчаяннѣ!

Маркъ Аврелій былъ очень спокойный, всегда прекрасный и правый человекъ. Ему было горько жить, во многомъ. Но одного онъ не зналъ, терзаній совѣсти. Великое это счастье.

Низкорослый, черныи, веселый солдатъ разсказывалъ, какъ ихъ рота сошлась съ австрийцами—на штыки. «И они стоятъ, и мы стоимъ, значитъ, и имъ страшно, и нашимъ. Они кричагъ—сдавайтесь, и мы имъ то же кричимъ. Ротный нашъ говоритъ... «иногда колотъ, ребята, сейчасъ сдадутся». И только сказалъ—разъ ему пуля въ лобъ. Наши осерчали. Нѣтъ, не уйдешь. Они драла. Я на какого-то наскочилъ, ва-акъ далъ ему штыкомъ въ задъ, даже хрюнуло. Штыкъ застрялъ, вытащить не могу. А онъ бѣжитъ, меня за собой тянетъ. Ружье жаль бросать, ахъ ты дьяволъ этакий! Было къ своимъ утанцилъ, въ Австрію. Ну, тутъ сбоку нашъ, Мироновъ ему раза далъ, попритихъ онъ». Это разсказывалось раза три. Всегда съ успѣхомъ.

Отчего Келка тоскуеть?—Измученъ.—Чѣмъ?—Кровью, выстрѣлами, убійствомъ.—И смерти ждеть?—Ждетъ.—Многіе ждутъ?—Многіе.

Большинство думаетъ, что не вернется. Много пишутъ женамъ, къ которымъ стали нѣжнѣе. Чаще вспоминаютъ домъ, дѣтей. Нерѣдко они смѣются. Но скоро становятся серьезны. Вообще они очень, очень серьезны. Почти все стали набожнѣе.

Еще есть гвардеецъ. Необыкновенной красоты человекъ. Даже черныя его волосы ложатся симметрично, кольцами, какъ все въ немъ симметрия и гармонія. Онъ изъ Черниговской губерніи, но похожъ на Софокла. Этотъ Софокль мнѣ сообщилъ, что убилъ около тридцати человекъ. Черезъ нѣсколько времени, когда дежурила одна добрая душа, онъ вдругъ ей сказалъ: «А не грѣхъ, что я столько народу убилъ?» Солдаты засмѣялись. «Глуный человекъ, небось война!» Должно быть, и у него это было минутное.

Маркъ Аврелій войну ненавидѣлъ. Ему пришлось воевать всю жизнь. Онъ покорно и величественно воевалъ съ разными квадами, маркоманами, защищая Римъ, ненавидя войну. Онъ всехъ побѣдилъ.

Русскіе тоже войны не любятъ. Одинъ мой другъ пишетъ изъ арміи: «Я успѣлъ полюбить солдатъ, т.-е. какъ часть народа. Нашъ умнѣйшій народъ попираетъ, какое страшное несчастіе война».

Нашъ умнѣйшій народъ, не любя войну, отобьетъ всѣхъ, кого нужно.

Если есть Судъ за гробомъ, Келка попадетъ въ селенія блаженныхъ.

Иной разъ, разливая имъ чай или пакладывая кашу, думаешь, что эти люди увидѣли и узнали такое, чего тебѣ и веѣмъ не бывшимъ тамъ, не дано.—
Бремя ли на нихъ?—Да.—Подвигъ ли?—Да.—Великая ли тоска?—Великая.

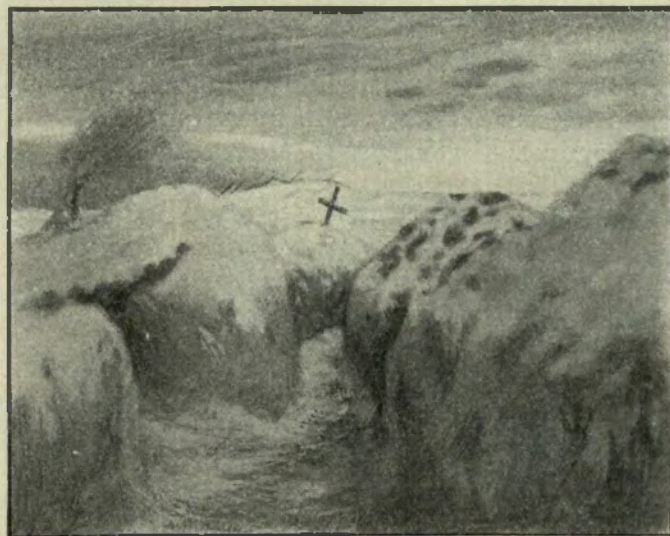
Изъ нихъ мало такихъ, кто хочетъ драться. И умирать никому не хочется. Но если выпало общее горе—это горе война—надо драться. Они смотрятъ на себя, какъ на обреченныхъ. Навѣрно, есть у некоторыхъ озлобленіе. Но я его не видѣлъ.

Пришла старуха, принесла имъ пироговъ, и поклонилась въ поясъ. Вѣрно, такъ она покойника поцѣлуетъ въ вѣщичь на лбу.

А мы? И мы въ поле поклонимся. Быть можетъ, слѣдуетъ взять руку Крысана, покрытую рыжеватыми волосками,—ту руку, что черезъ мѣсяць, два, снова будетъ держать ружье и отстаивать родину—взять ее и поцѣловать. Это вовсе не будетъ стыдно.

«Спаси и помилуй рабовъ Божіихъ Павла, Сергія, Александра»... А затѣмъ слѣдуетъ прибавлять: «И все христіанское вошпетво»—старинное и теперь такъ мучительно-жалобное выраженіе. Да, все христіанское вошпетво.

Б о р. З а й ц е в ъ.



А. В. Лысенко.
«Путь сообщенія»,
рис. съ природы.

НѢТЬ БОЛЬШЕ РАДОСТИ...

(Изъ цикла «14-й годъ».)

НѢть больше радости на сумрачной землѣ...
Веселый смѣхъ погасъ и пѣсни отзвучали.
Дни медленно ползутъ и таютъ въ душевной мглѣ...
Жизнь призадумалась,—и на ея челѣ
Сѣдое облако печали...

Разбитый тяжкимъ сномъ, встаешь съ тупой тоской,
Готовый ко всему, измученный, покорный...
Берешь газетный листъ дрожащею рукой—
Кошмаръ не кончился... и льется кровь рѣкой,
И все растетъ синодикъ черный.

Ничто не радуетъ: ни солнце, ни морозъ,
Ни тройка звонкая, ни блескъ равнины сибирской.
НѢть больше радости, нѢть милыхъ дѣтскихъ грезъ...
Все обезкрылено... Все богъ войны унесъ,
Справляя грозно ширъ мятежный.

НѢть больше радости!.. горячія уста,
Шептавшія «люблю», искажены страданьемъ.
Надъ веѣмъ, что дорого, могильная плита...
И пѣснь народная въ одинъ напѣвъ слита
Съ глухимъ безпомощнымъ рыданьемъ...

Идутъ, идутъ на смерть цвѣты родной страны,
Идутъ, чтобъ свергнуть мощь кроваваго кумира!
Умомъ я вѣрую въ святую цѣль войны,
Но сердце ждетъ любви, покоя, тишины,—
Больное сердце жаждетъ мира....

Л. М у н ш т е й н ъ.

Декабрь, 1914.

НАТАША ДЯДИНА.

(Глава изъ романа «Иеромонахъ Илизъ».)

Свѣтиѣла ночь. И широкая полоса зодіакальнаго свѣта, протянувшаяся отъ горизонта до зенита, растекалась зарей по восточному небу. Въ застоявшемся воздухѣ горячихъ улицъ пахло испареньями жаркихъ тѣлъ, пивомъ и дымомъ дешовыхъ папиросъ. На улицѣ было точно въ непровѣтренномъ залѣ, изъ котораго только что вышли люди. Дыханье тополей струилось выпъзъ приторно-сладкимъ ароматомъ. Надъ городомъ свободно прогудѣлъ пароходный гудокъ. И въ наступившей тишинѣ молчаливо встревоженными казались бѣлые каменные дома съ темной водой оконъ.

Угловой домъ лѣсоотроговцевъ братьевъ Дядиныхъ—одноэтажный, съ причудливымъ, завитымъ кругами карнизомъ. Широкий раскидистый и бѣлый, онъ увѣренно вдавился угломъ въ крутой скатъ Сѣвзжей улицы. Книзу тяжелыми уступами спускалась толстая, тоже бѣлая, неуклюжая стѣна фруктоваго сада. За стѣною выстроились длиннымъ рядомъ подобранные, устремившіеся всѣми вѣтвями кверху платаны—строгое дерево, необщительное, настоящій солдатъ на часахъ. Тѣни отъ нихъ перегибались черезъ стѣны, точно брошенные вгороняхъ монашескія одежды. Видѣлся отсюда уголь Волги съ цвѣтными огнями бакаповъ, путеводныхъ и мачтовыхъ фонарей. Нѣкоторые огни медленно передвигались, и чувствовалось, что сине-сѣрая даль рѣки за грудой городскихъ домовъ текуча и зыбка.

Зеркальные окна дома Дядиныхъ темны. Въ саду тихо, безлюдно. Только на лавочкѣ у входной двери уже давно сидѣлъ младшій изъ братьевъ, Кузьма Ефимычъ Дядинъ, ждалъ изъ монастыря свою жену. Въ сѣрой коломенковой фуражкѣ и такомъ же пиджакѣ онъ почти терялся въ призрачномъ освѣщеніи ночи. Но все-таки, когда слышалъ издалека шаги, прятался во дворъ, тихонько открывая и закрывая калитку. Когда человѣкъ проходилъ, онъ снова садился на скамью и смотрѣлъ вдоль улицы напряженно и тревожно.

Съ неба и Волги повѣяло прохладой. Было звонко на пустой улицѣ. Стукъ калитки, шорохъ шаговъ, скрипъ смазанныхъ сапогъ Кузьмы—все шуршало межъ домами явственнымъ отголоескомъ. Кузьма старался не шумѣть, но изрѣдка забывался: въ раздраженіи назойливыхъ мыслей онъ опускалъ на колѣно туго сжатый кулакъ и велухъ говорилъ:

— Просто я дуракъ и ничего больше... Учить ее надо, подлячку!

Но самъ же пугался своихъ громкихъ словъ и оглядывался по улицѣ. Было ему стыдно за себя и казалась непонятной жена. Слова его были грубы и онъ смутно чувствовалъ,—не подходили къ тихой и большеглазой женѣ Паташѣ. Но велика была и нестерпима въ сердцѣ Кузьмы обида.

Поневолѣ Кузьма Дядинъ вспоминалъ весь этотъ годъ жизни съ Паташей, годъ, полный ревнивыхъ страданій и робкой, испуганной радости. Взять онъ ее изъ бѣднаго дома, у вдовы Жучкиной,—старшему брату неудовольствіе причинилъ бѣдной женой. Была Паташа смиренная, робкая, печальная. Съ перваго же дня совмѣстной жизни до послѣдней минуты было у Кузьмы такое настроеніе, точно онъ дурное дѣлаетъ, что живетъ съ Паташей. Она покорна, но холодна на ласки и глаза испуганы.

Не зная, въ чемъ обвинить жену, Кузьма страдалъ, ревновалъ, жаловался матери Паташи. Та приходила испуганная, раздраженная:

— Ужь не обезсудь, Кузьма Ефимычъ. Молодая она, въ женщину не вошла еще...

А потомъ цѣлыми часами пилила дочь:

— Дура ты, дура!—Чего тебѣ, какого еще рожна надо послѣ такого-то мужа?! Да онъ молодець, да онъ красавецъ, богатѣй! Что жъ, ты, сука, о себѣ помышляешь?!

Кузьма и не радъ бывалъ тещину разговору, самъ заступался за жену:

— Ну ужъ вы, маменька, довольно! Что ужъ тутъ, довольно, говорю!

И вотъ недавно у Паташи появилось увлеченіе,—стала ходить въ монастырь къ отцу Иллѣ. Ожила, повеселѣла, стала съ Кузьмой ласковѣе, жалѣла его.

— Все-то ты въ копторѣ, да съ рабочими серднишься! Сходилъ бы въ монастырь со мной, красота какая, Кузьма! Бѣдниекій ты мой, Кузя!..

Радостно Кузьмѣ,—впервые такъ назвала его Паташа. Но не жалости хотѣлось ему, коренастому, плотному мужчине съ толстой бородой, которая лежала на губахъ и подбородкѣ, загибалась на шею средней величины ежомъ. Только не зналъ онъ, какъ достигнуть того, чего хотѣлось и вообще не понималъ, въ чемъ тутъ дѣло.

Теперь Кузьма злился и ждалъ жену.

— Прочить ее надо!—бормоталъ онъ.—За полпечь шляется гдѣ-то. Кто знаетъ,—съ кѣмъ! Это ужъ, можетъ, и не монастырь. Страмить меня... Знакомые подсмѣиваются...

Плотный ежъ бороды шевелился на выпущломъ лицѣ Кузьмы, сами собой напрягались мускулы тѣла. И съ сладкой злобой въ душѣ онъ мысленно бралъ Паташу на руки и не зналъ, что дѣлать: бить или снести на кровать, какъ малаго ребенка.

Паташа пришла тихая, умиленная, усталая. Увидѣла Кузьму на лавочкѣ, заволновалась:

— Ахъ, Кузя, ждешь! А мы по городу съ иконою ходили, только сейчасъ въ монастырь вернулись... Сходилъ ба и ты, Кузя! Батюшка велѣтъ женамъ мужей приводить.

Говорила Паташа, жалѣла и боялась Кузьмы, стояла въ нерѣшительности, какъ провинившаяся дѣвочка.

— Иди, ужь, иди!—со злобой сказалъ Кузьма, пропуская жену впереди себя въ калитку.—Дома поговоримъ.

Мужъ съ женой вошли въ большую половину дядинскаго дома, которую старшій братъ уступилъ молодоженамъ. Веѣ въ домѣ спали. Широкая передняя съ бѣло-дубовой вѣшалкой-шкафомъ, мебель гостиной въ бѣлыхъ чехлахъ. Изъ гостиной входъ въ кабинетъ Кузьмы, а за кабинетомъ спальня, гдѣ зеркала сумеречно отразили хрупкую фигуру Наташи и кряжистаго, слегка сутуловатаго Кузьму. Натертые воскомъ полы были гладки, тоже слегка темнѣли смутными зеркальными отраженіями, и половики скользили подъ ногами, какъ на льду. Въ комнатахъ пахло неистребимымъ природнымъ запахомъ Дядиныхъ,—острымъ солоноватымъ запахомъ здороваго тѣла съ тѣмъ единственныиъ и непооторяемымъ отгѣнкомъ, который отличалъ дядинскую породу. Запахъ этотъ всегда былъ Наташѣ непріятенъ.

— Ты сердишься, Кузьма Ефимычъ?—робко и устало спросила она.

— Гдѣ шляешься?—грубо спрашивалъ Кузьма, подходя къ женѣ вплотную.

Отъ запаха дядинскаго тѣла мужа, отъ его злого голоса и усталости у Наташи закружилась голова. Она сѣла на край кровати и умоляюще сказала:

— Я жа въ монастырѣ была, Кузя!.. Да если ты не вѣришь, такъ сходи со мной. Ты поймешь тогда... Ахъ, Кузя!

— Нечего мнѣ понимать, ужь я все понялъ! Надо мной люди смѣются, говорятъ—жена у тебя по оврагамъ, да пустырямъ бѣгаетъ!—раздувая въ себѣ злобу, чтобы высказать все, говорилъ Кузьма.—А люди-та ужь замѣчаютъ!.. Смотри, я тебя убью, ежели что... вотъ передъ Богомъ говорю! Будь что будетъ.

— Я не виновата передъ тобой, Кузя. Я ничего дурного не дѣлаю,—устало говорила Наташа, неохотно раздѣваясь. Она всегда стѣснялась раздѣваться при мужѣ.—Ну, ты самъ посуди, вѣдь тысячи народу идутъ къ нему! Вѣдь зачѣмъ нибудь идутъ, Кузя? Какъ онъ служить, какъ говорить! Ангель съ небеси пришелъ къ намъ, несчастнымъ... Сегодня проповѣдь говорилъ, что его въ газетѣ обвиняютъ гады эти, кареспадентъ что ли, быдто жепница у него живетъ... Это его-та, батюшку Илію?! Ахъ вы, несчастные! Господи!.. А онъ и сказалъ...

Полунагая, она вдохновлялась и показывала, какъ онъ говорилъ, какъ сдѣлалъ рукой и какое у него было лицо. Кузьма слушалъ сердито и петерѣливо.

— Кто тебѣ дороже?—запальчиво спрашивалъ онъ въ новомъ приступѣ ревнивой злобы:—Я, или твой монахъ, Илья?!

Наташа, уже раздѣтая, привстала съ кровати, окрѣпла. Глаза ея засвѣтились въ сумеркахъ, какъ у кошки. Сказала презрительно и гордо, сама не узнавая своего голоса:

— Конечно, о нѣ мнѣ дороже! Какой же можетъ быть разговоръ...

Кузьма схватилъ жену за голыя, дѣтскія плечи, потрясъ ее, чувствуя въ рукахъ сладкое желаніе сломать, смять нѣжное тѣло. Но только толкнулъ жену на кровать, со стономъ отошелъ къ зеркалу, взглянулъ мимоходомъ на свое встрепанное отраженіе и со злобой крикнулъ придушеннымъ голосомъ:

— Тебѣ его морда правится,—вотъ и вся твоя молитва!

Наташа векочила гнѣвпая, какъ бы защищаясь голой рукой отъ повыхъ, еще несказанныхъ мужемъ словъ.

— Ты дуракъ, Кузьма Ефимычъ! За эти слова я тебя ненавижу!—сказала она съ гадливостью и вышла изъ спальни. Легла въ гостиной на диванѣ въ одной

рубашкѣ, почти голая. Кузьма раздѣвался въ спальнѣ, видѣлъ въ сумракѣ гостиной бѣлое пятно Наташина тѣла и злобно говорилъ:

— Лучше уходи ты отъ зла къ матери! Уходи, сука. А-то убью я тебя, потаскушку. Уходи!

— Я очень рада,—согласно отзывалась Наташа.—Завтра уйду.

Лежала и тихо плакала о томъ, что не знала, какъ ей быть съ Кузьмой. Жалко его было, но и тягостенъ весь укладъ богатой, но однообразной и гнетущей дядинской жизни. Въ душѣ у ней была только одна непреложная мысль и свѣтлая радость: отецъ Илія и монастырь. Что бы ни случилось, тамъ можно забыть всякое горе.

Наташа ужъ пачала дремать, какъ Кузьма тихо подошелъ къ ней, взялъ ее на руки горячій и жадный, цѣловалъ и шепталъ:

— Наташа, я тебя, вѣдь, люблю! Милая, дорогая ты миѣ. Эхъ, Наташа!..

Она слабо отвѣчала на ласки. Только сказала съ сожалѣніемъ и тайнымъ испугомъ:

— Ахъ Кузьма, опять...

И прижатая щекой къ обнаженной груди мужа, она съ отвращеніемъ дышала запахомъ дядинскаго тѣла, когда онъ несъ ее по чистымъ свѣтлѣющимъ комнатамъ въ большую и богатую спальню.

С. К о н д у р у ш к и н ѣ .



Н. И. Бродскій.
«Пострадавшіе».

ЗЕМНОВОДНЫЙ КРУГЪ.

(Библиографическая справка).

Трудно жилось русскому человѣку въ XVII вѣкѣ. Съ востока и запада враждебно окружали его иноземцы, возбуждая его крайнее недовѣріе,—чуждые ему по вѣрѣ, по образу жизни, по языку, непонятные въ своемъ общественномъ устройствѣ,—всегда могущіе то угрожать силою, то дѣйствовать хитростью и коварствомъ. Противъ всѣхъ надо было быть насторожѣ и сторониться отъ нихъ. Поэтому личныя свѣдѣнія людей Московской земли о чужихъ странахъ были крайне скудны и поверхностны. Еще болѣе недостаточны и въ значительной мѣрѣ фантастичны были свѣдѣнія научнаго характера, преимущественно изъ области космографіи. Хотя царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ и была дана въ 1639 году Олеарію грамота о томъ, что «вѣдомо намъ учинилось, что ты гораздо паучень и павыченъ въ астроломіи и географуе, и небесаго бѣгу, и землемѣрю, и инымъ многымъ надобнымъ мастерствамъ и мудростямъ; а намъ, великому государю, таковъ мастеръ годенъ», но еще сорокъ лѣтъ спустя Семеонъ Полоцкій писалъ, что видимый міръ состоитъ изъ естества небесъ и естества стихійнаго, небеса же суть троякія: небо эмпирейское въ 428,000 верстъ, небо кристалльное и затѣмъ твердъ, на которой водружены звѣзды и планеты и т. д.

Какія космографическія и политико-экономическія понятія были распространены въ нашемъ обществѣ до конца XVII столѣтія и находили себѣ выраженіе не только въ рукописныхъ хронографахъ, но и въ печатныхъ сочиненіяхъ, видно изъ того, что тамъ трактовалось о «Мазическомъ царствѣ дѣвнчьемъ»,—жителиницы котораго сходятся съ году на годъ: мужской полъ отдають Эоіопамъ въ ихъ землю, а женскій полъ оставляють»,—о великанахъ съ песьими головами, о змѣяхъ, у которыхъ «лицо дѣвическое, до пула челоуѣкъ, а отъ пула хоботъ змѣевъ, крылаты, а зовомы василиски»,—«о людяхъ Астромовехъ, кои живуть въ индѣйской землѣ, сами мохнаты, безъ обоихъ губъ, а питаются отъ древа и коренія пахнучего и отъ яблокъ лѣсныхъ, а пѣдятъ, не пьютъ, только нюхаютъ, и покамѣеть у нихъ запахи есть, по та мѣста и живутъ,—и о людяхъ «Моноку-ляхъ обѣ одной ногѣ, а коли и солнце печеть и они могутъ покрытися ногою, какъ лапоі» и т. д.

Въ этого рода сочиненіяхъ описанію сосѣдей нашихъ съ запада отводилось меньше мѣста, чѣмъ фантастическому описанію «дивныхъ людей», да и характеристики этихъ сосѣдей отличались большою краткостью. Такъ французы оказывались, «зѣло храбры, по невѣрны и въ обѣтѣхъ своихъ не крѣпки, а пьютъ много», жители «королевства агленскаго—нѣмцы купеческіе и богатые, воинскихъ людей у нихъ мало, а сами мудры и доктуроваты, а пьютъ много», а люди королевства польскаго «величавы и обманчивы,—пьютъ зѣло много, платья носятъ зѣло цвѣтно и всякимъ слабостямъ покорны, а вольность имѣютъ велику, паче всѣхъ земель».

Отчеты и статейные списки служилыхъ людей, посылаемыхъ въ чужестранныя земли въ XVII вѣкѣ, отличаются лишь свѣдѣніями, почерпнутыми изъ вѣстной наблюдательности, лишеной анализа, или принятыми на вѣру данными сомнительнаго достоинства. Примѣромъ можетъ служить отчетъ посольства къ Алтынъ-царю (Монголія) казаковъ Тюменева и Петрова въ 1617 году. Посламъ въ числѣ пяти человѣкъ предписано было давать поденнаго корму «на человѣка въ день по два калача да говядины какъ имъ можно сытымъ быть, да пштыя всѣмъ вопче по тринадцать чарокъ вина, три ведра пива и ведро меду». Они доносили между прочимъ: «а на завтрае того дни ѣли мы у Алтынъ-царя, а царь передъ нами государю шертвоваль по своей мусулской вѣре: подымаль на руки бога своего честна. А богъ у нихъ вылить въ золоте, что робепочекъ невеликъ, а царь говорилъ, что у нихъ толко и вѣры, что они боговъ своихъ поднимаютъ и имъ кланяются, а не прикладываютца. А на отпуске далъ имъ царь своего жалованья по три копя да одному изъ нихъ далъ дѣвку и та у него дѣвка въ дороге у Сали Вычегодцкой умерла, а везъ онъ ѣе к Москве, да имъ же далъ по шубе боранье опушены соболье». Такъ въ другомъ отчетѣ въ 1697 году разсказывается, что около Сициліанскаго острова стоитъ гора Струмболій, на верху которой непрестанно горитъ огонь, а въ горѣ, по словамъ жителей, обиталище дьяволамъ, а также, что въ Венеціи у сенатора много натуральныхъ вещей и въ томъ числѣ каменные раки отъ патуры великіе, курица о четырехъ ногахъ и василскъ, который можетъ умертвить человѣка зрѣніемъ. Съ начала XVIII столѣтія поѣздки русскихъ людей въ Западную Европу становятся чаще, но вниманіе путешественниковъ въ первое время, главнымъ образомъ, обращается на явленія природы и на то, что «преудивительно» поразило ихъ взоръ своимъ несоотвѣтствіемъ видѣнному на родинѣ. Ихъ, между прочимъ, приводитъ въ удивленіе «предивной работы божница, во имя поганскаго бога Венуса и поганской богини Діаны и Меркурія, коимъ припосилъ жертвы проклятый Неропъ и за ту свою къ нимъ любовь купно есть въ пеклѣ». Также удивляютъ ихъ «въ спиритусахъ бальзамныя младенцы въ скляшцахъ стеклянныхъ и плаваютъ въ томъ спиритусѣ и стоятъ такъ хоть тысячу лѣтъ, не испортятся, а также разныя животныя также въ спиритусахъ—крокодилы малые и ехидны и мартышки не токмо здѣшнихъ европейскихъ, но наипаче оріентальныхъ, остинскихъ и вестинскихъ государствъ». Путешественники во многомъ затруднялись незнаніемъ мѣстнаго языка, а также трудностью пути, при чемъ имъ приходилось «видѣть много смертныхъ страховъ отъ зѣло прискорбпаго и труднаго нути, отъ безмѣрно многога камня остраго по дорогѣ самой тѣеной среди безмѣрно высокихъ каменныхъ горъ». Поэтому подробностей о внутреннемъ политическомъ устройствѣ, характерѣ народа и его вѣрованіяхъ почти не встрѣчается, кромѣ нѣкоторыхъ,

замѣчаний относительно женскаго пола и развлеченій въ театрахъ и на ярмаркахъ. Такъ, «народъ женскій въ Венеціи зѣло благообразенъ и строенъ и политиченъ, высокъ, тонокъ и во всемъ изряденъ, а къ ручному дѣлу не очень охочъ, больше заживаютъ въ прохладахъ. Венеціане же люди умные, политичные и ученыхъ людей зѣло много: однакожь нравы имѣютъ видомъ не ласковые, а къ прѣзжимъ иноземцамъ зѣло пріемны. Между собою не любятъ веселиться и въ дома другъ къ другу на обѣды и вечера не съѣзжаются, и народъ самый трезвый, никакого человѣка ни гдѣ отнюдь никогда пьянаго не увидишь, а штей всякихъ, винъ виноградныхъ разныхъ множество изрядныхъ, также розолнновъ и водокъ анисовыхъ изрядныхъ изъ винограднаго вина сытенныхъ много, только мало ихъ употребляютъ, а больше употребляютъ въ штыяхъ лимонадовъ, симады, кафы, чекулаты и иныхъ тому жъ подобныхъ, съ которыхъ человѣку пьяпу быть невозможно».

Свѣдѣнія такого рода и имъ подобныя, конечно, съ трудомъ могли проникать въ общество и не служили ему на пользу. Съ этимъ, однако, не могъ примириться этотъ «работникъ вѣчный на тронѣ», кто «не презиралъ страны родной, но зналъ ея предназначенье» и «самодержавною рукой» въ ней «смѣло сѣялъ просвѣщенье». Поэтому въ 1719 году въ Москвѣ выходитъ нынѣ чрезвычайно рѣдкая и мало извѣстная книга подъ названіемъ «Земноводнаго круга краткое описаніе изъ старыя и новыя географіи по вопросамъ и отвѣтамъ чрезъ Ягана Гибнера собранное и на нѣмецкомъ діалектѣ въ Лейпцигѣ напечатано, а нынѣ повелѣніемъ великаго Государя, Царя и Великаго Князя Петра Перваго, всероссійскаго Императора, при наследственномъ благороднѣйшемъ Государѣ Царевичѣ Петрѣ Петровичѣ—на россійскомъ напечатано въ Москвѣ».

Книга эта, удовлетворяя любознательности русскыхъ людей, призванныхъ Петромъ Великимъ къ болѣе широкому кругозору, является интересной еще и потому, что представляетъ собою характеристику взглядовъ современнаго Петру западно-европейскаго образованнаго общества на различныя историческія явленія и бытовыя стороны жизни.

«Описаніе земноводнаго круга» отпечатано на прекрасной, плотной бумагѣ, красивымъ, четкимъ шрифтомъ и представляетъ собою большой томъ in quarto, съ пятью гравюрами на мѣди. Первая изображаетъ Атланта, держащаго на раменахъ своихъ міръ, по борту ея надпись «несу всехъ носящо, старъ сый толь тяжкое бремя, се зрящъ, всякъ учися—не тратъ всеу время». Вторая, съ надписью «европы описаніе», изображаетъ женщину въ царскомъ одѣяніи. По борту написано «сія трехъ частей и мудрости царица, въ храбрости въ силѣ какъ въ звѣздахъ дѣнница». Гравюра «описаніе Азіи», изображающая торговцевъ въ восточномъ одѣяніи, окружена надписью «Сія сіяла въ силѣ своей славна, но днесъ, при лучшихъ не столь стала явна», «Африки описаніе»—съ изображеніемъ негровъ, слоновъ, львовъ—сопровождается надписью «Аще и подъ солнцемъ, но черпа есть тѣломъ, паче же грубымъ и гнуснымъ своимъ дѣломъ». Наконецъ, послѣдняя гравюра, съ фигурой царя инковъ, бобрами, черепахами и змѣями, предшествуя описанію Америки—повѣствуетъ, «что пользуется снмъ множество богатства, егда не имуть мудрости изрядства».

Въ книгѣ 426 страницъ. Она раздѣляется на «предъ-уготовленіе на географію» и на отдѣлы, называемые—ландкарта европейская, азіатская, африканская, американская и о незнаемыхъ земляхъ. Каждая ландкарта содержитъ описаніе всѣхъ странъ, входящихъ въ соотвѣтствующую часть свѣта. Въ концѣ книги помѣщена глава «о глобусѣ», содержащая главныя основанія математической географіи. По вопросу о возвращеніи земли эта послѣдняя глава высказывается очень осторожно. «Солнце причиняетъ день, а понеже на свѣтѣ день и ночь мѣняются того ради безъ сомнѣнія изъ того слѣдуетъ, что либо солнце съ фирмаментомъ, т.-е. съ твердію небесною, или земля движутся. Еже ли по человѣческому уму разсуждать, то, кажется, имовѣрнѣе, что солнце стоитъ, а земля движется, ибо и т. д. И сей аргументъ защищалъ и содержалъ Николай Коперникъ духовной челобѣтъ въ Фрауенбургѣ въ прусахъ, что и нынѣ многіе приемятъ и оному послѣдуютъ. Между тѣмъ понеже именпо въ священной библии написано, что солнце течетъ въ кругъ, а земля недвижима стоитъ, того ради святому писанію больше въ томъ вѣрить надлежитъ, нежели человѣческому мнѣнію. Сей же аргументъ особливо славный дацкій математикъ Тихо Браге хранилъ, чему и до нынѣ всѣ согласуются, которые святому писанію не охотно прекословятъ. Мы (глаголетъ авторъ книги сея) согласуемся мнѣнію Тихопискому и вѣримъ, что земля недвижима стоитъ, а противъ того весь фирмаментъ непрестанно около земли обращается».

Изложеніе физической географіи стремится въ книгѣ къ большой образности. Напримѣръ, на вопросъ—какъ раздѣляется Италия? дается отвѣтъ, что лучше при фигурѣ сапота остаться, а сапота раздѣляется на три части: верхняя—гдѣ отвороты, средняя—голепища и нижняя—ступень.

Яганъ Гибперъ, авторъ этого «Земноводнаго круга»—особенно интересуется правами и свойствами жителей разныхъ странъ, а также ихъ учрежденіями. Описывая послѣднія, онъ старается, однако, отмежеваться отъ области «политики», «исторіи» и «генеалогіи», но, тѣмъ не менѣе, часто обращается къ историческимъ фактамъ, давая имъ живое и своеобразное освѣщеніе. Точный и оригинальный языкъ автора въ переводѣ пріобрѣлъ особую образность и силу, свойственныя, несмотря на заимствованіе чужихъ словъ, языку Петровскаго времени. Характеристики отдѣльныхъ народовъ, при чемъ, конечно, наибольшее мѣсто отводится Европѣ, перѣдко поразительны по своей вѣрности и умѣнью сочетать и выставить рельефно отличительныя свойства народнаго характера. Мѣткіе и рѣшительные приговоры—чрезъ сто семьдесятъ лѣтъ не утрачиваютъ своего значенія и примѣнимости въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ и къ настоящему времени. Вотъ какъ, напримѣръ, рисуетъ авторъ французовъ въ отвѣтѣ на вопросъ о томъ, «Какія жители обрѣтаются во Франціи?»—«сіи жители въ ученіи зѣло любопытны, въ экзерциціяхъ поснѣжны, въ войнѣ высокоумны, храбры и скоропостижны,—къ чужестраннымъ учтивы и вѣжливы,—въ платьѣ перемѣнны и замысловаты,—въ языкѣ своемъ искусны и благопріятны, королю своему вѣрны и во всѣхъ дѣлахъ скорую примѣнютъ резолюцію». Если отбросить стертую рукою исторію «вѣрность своему королю» и не поставитъ на счетъ храбрости французовъ ихъ поражений въ 1870—71 гг., отнеся ихъ, по всей справедливости, къ бездарнымъ «высокоумнымъ» военачальникамъ и «скоропостижнымъ» политикамъ, имѣвшимъ слишкомъ «скорую резолюцію»—то предъ нами будетъ живое изображеніе современныхъ

французовъ со всѣми ихъ отличительными свойствами. Къ другимъ двумъ романскимъ націямъ «Описание земноводнаго круга» относится съ ббльшею критикою. Отвѣтъ на вопросъ о «состояніи жителей г и ш п а н с к и х ъ» указываетъ, что у «оныхъ хвалятъ остроуміе ихъ и постоянство, а противъ того хулятъ ихъ гордость и лѣннество», что «особый языкъ ихъ съ латинскимъ во многомъ сходенъ и такимъ образомъ кажется, что оный отъ латинскаго родился» и что, наконецъ, «проѣзжія люди и иностранцы—корчмами зѣло недовольны». Отмѣчено враждебное отношеніе испанцевъ къ французамъ:—«между гишпанцами и французами природная ли или обыкная антипатія состоитъ—о томъ еще и донынѣ диспутуется». Но что стоитъ виѣ спора, это—экономическое истощеніе страны и ея малая населенность. «Гишпанія въ протчемъ гораздо столько жителей не имѣетъ сколькобъ оная обнять могла, а причины ктому отчасти за воздухомъ (... сія земля гораздо жарчае, нежели Германия, говорится въ другомъ мѣстѣ....), а отчасти за н е в р е м е н н о ю л ю б о в і ю, также и ради безмѣрнаго множества духовныхъ, ради изгнанія мароновъ и для жестокой инквизиціи и для многихъ оттуда переведенцевъ быть являються» ... Къ малой населенности Испаніи авторъ возвращается и говоря о Франціи, въ которой «примѣчается въ лошадяхъ скудость, для того говоритца ежелибъ въ Гишпаніи столько людей родилось, какъ во Франціи, а во Франціи столькобъ лошадей, какъ въ Гишпаніи, то бы обонмъ королевствамъ пужды не было». Вѣрными чертами намѣчаются, такимъ образомъ, тѣ язвы, которыя разѣли организмъ богатой и когда-то вполне культурной страны и отодвинули ее на задній планъ исторической сцены. Политическая мудрость и благородная терпимость звучатъ въ этомъ перечисленіи причинъ паденія Испаніи и звучатъ въ то время, когда эти свойства вовсе еще не сдѣлались достояніемъ здраваго государственнаго управленія. Достаточно припомнить, что, за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, происходило среди народа «нимѣющаго скорую резолюцію» по поводу отмѣны Нантскаго эдикта въ 1685 году, когда «разослалъ король драгунъ своихъ гугенотовъ отъ вѣры ихъ обратить въ католичскую, чего ради нѣкоторые отреклись вѣры, дабы избѣить мученія, нѣкоторые же до смерти замучились, а многія оставя имѣніе свое и пожитки поѣхали въ швейцары, въ голландію и англію, кромѣ тѣхъ, кои въ севенскихъ горахъ пребываютъ и нѣсколько лѣтъ калвинскую вѣру противъ королевскихъ войскъ шпагою обороняли, однакожъ мало имъ въ томъ удачи было». Авторъ книги, какъ мы увидимъ ниже, еще разъ возвращается къ вопросу о религіозной терпимости, говоря объ Испаніи. «Гишпанцы» и «французы» служатъ мѣриломъ для оцѣнки и т а л ь я н ц е в ъ. «Не можно лучше итальянскаго права описать кромѣ что когда говорится: что у нихъ есть темпераментъ или природа между гишпанскою гордостью и французскою безпечальностью или веселостью». Разсаднику некушетъ и паукъ, озаренному свѣтомъ Возрожденія—отдается справедливость: «итальянская нація достойна похвалы, ибо они суть остроумны, понеже они въ музыкѣ, и въ архитектурномъ и въ живописномъ и въ протчихъ художествахъ и мудрыхъ искусствахъ предъ другими народами не мало превосходятъ». Но песимнатичныя свойства народа, пустившаго, между прочимъ, въ свѣтъ поговорку «la vendetta é una meta ché e bisogna mangiare a freddo» (мщеніе—кушанье, которое надо ѣсть холоднымъ), не ускользаетъ отъ автора. «Имъ (т.-е. итальянцамъ) приписуется, говоритъ онъ, ревнованіе невѣдомо, либо за хулу или яко благочестіе, также и превеликое преступное

злопамятство». Забота о положеніи путешественниковъ сказывается и при описаніи Италіи, гдѣ «прежде сего отъ бандитовъ или разбойниковъ, а особливо внизу въ Неаполи зѣло опасно пріѣзжимъ бывало, однакожъ нынѣ оныя гораздо успокоены и утолены». Но особо лестнымъ мнѣніемъ Ягана Гибнера, а быть можетъ и русскаго переводчика, украсившаго подлинный текстъ доброжелательными прибавками (подобно тому, какъ съ очевидностью измѣненъ и сокращенъ, примѣнительно ко взглядамъ русскихъ читателей, текстъ отвѣтовъ о Россіи), пользуется излюбленная Петромъ Голландія. «Ремесло жителей оной есть купечество, которое въ Голландіи такъ возвысилось и весьма имовѣрно, что во всемъ свѣтѣ только кораблей не обрѣтается сколько въ семъ маломъ государствѣ находится. И кто вѣдаетъ, что народъ оной зѣло правдивъ, простосердеченъ, трудолюбивъ, терпѣливъ, береженъ и с а м о ж е л а т е л е н ъ, тотъ не удивляется, что они въ купечествѣ всѣхъ другихъ народовъ превосходятъ. Но при томъ необъятномъ купечествѣ не покидаютъ оныя и книжнаго ученія, которое у нихъ такъ въ землѣ той распространилось, что они многія иныя земли въ томъ посрамить могутъ». Эта характеристика получаетъ особую цѣну при сравненіи голландцевъ съ португальцами, «кои большое прилежаніе имѣютъ къ купечеству и торговлю во всѣхъ четырехъ частяхъ свѣта въ добромъ имѣютъ состояши,—ио также склонны ко всѣмъ добродѣтелямъ и п о р о к а м ъ, которые съ симъ ремесломъ слѣдуютъ, а особливо ученіе тамо велми уничтожено, а во время мира можетъ быть и воинскую храбрость весьма позабыли». Не менѣе голландцевъ нравятся автору и населеніе Г р а у б н д е н с к о й земли (Граубюнденъ), гдѣ «зачинается рѣка Ренъ» и гдѣ «жители живутъ зѣло единодушно, мало знаютъ о излишнихъ роскошахъ и прихотяхъ и однимъ словомъ являются яко бы изъ стараго свѣта остались»,—при чемъ къ ихъ союзу относится и достопамятный городъ Семпахъ, «понеже тамо въ 1386 году достались естрейхерцамъ отъ швейцаръ немилостивые побои». А н г л і и посвящено въ «Земноводномъ кругѣ» много отвѣтовъ, въ которыхъ по отношенію къ Ирландіи высказывается взглядъ, донынѣ раздѣляемый большинствомъ «благодѣтельныхъ» англичанъ, видящихъ въ великодушныхъ и мудрыхъ предложеніяхъ Гладстона чуть не проповѣдь полного государственнаго разложенія Британіи. «О жителяхъ Ирландіи мало добраго п и ш у т ъ,—говоритъ Гибнеръ,—кромѣ того, что они къ работѣ лѣнны, къ тому же худыя и упрямые люди и понеже англичане усмотрѣли, что невозможно закосяблаго въ нихъ нрава перемѣнить и исправить, того ради многихъ переведенцевъ изъ Англіи туда на житье отправили, а противъ того многими тысящами ірландцевъ другихъ потентатамъ поступились». Самый краткій и жестокой отзывъ дается о небольшомъ государствѣ на юго-восточной границѣ Азіи и Европы, при чемъ говорится, что земля въ немъ сама по себѣ весьма хороша, но жители «не гораздо добры, пбо хотя они больше въ христіанской вѣрѣ признаются, однако толь плохіе имѣютъ обычаи, что обыкновенно нѣкоторые дѣти отъ отца воровать, а отъ матери бл.....ть научаются».

Вопросы вѣры и государственнаго устройства весьма интересуютъ составителя «Земноводнаго круга», хотя онъ и оговаривается неоднократно, что «состоящіе правительства надлежитъ въ п о л и т и к у,—обстоятельства королевскаго дома въ г е н е а л о г і ю, а и р о т ч е е—въ г и с т о р і ю».

На вопросъ «кто государствуетъ во Франціи?»—онъ отвѣчаетъ: «Франція всегда особливаго своего короля имѣла, прежде сего королевская власть зѣло

В. М. Васнецовъ.
Единоборство Пересвѣта съ Челибеемъ.





была припуждена, когда парламенты еще въ великой чести и славѣ жили, однако, нынѣ то пресѣклось, ибо король французскій есть нынѣ самовластѣйшій въ свѣтѣ потентатъ». Даже и въ сопредѣльныхъ земляхъ, напримѣръ, въ Лотрингѣ (Лотарингін) имѣетъ французскій король свободный проходъ чрезъ всю землю, «однако безъ поврежденія жителей». Въ инныя условія поставлена королевская власть, напримѣръ, въ Польшѣ, странѣ— «которая довольно вездѣ многолюдна и шляхты въ ней есть неслыханное множество, которые къ германци и прусамъ живутъ суть учтивѣе, нежели тѣ, которыя позади на россійскихъ и татарскихъ границахъ обрѣтаются». Когда король польскій «Яганъ Третій для своей охоты веселое мѣсто, недалеко отъ Варшавы, Виллановъ построилъ, поляки сперва не хотѣли того видѣть, ибо по основательному ихъ закону и праву король не имѣетъ ничего собственнаго содержать». Еще болѣе стѣнено и тревожно положеніе королевской власти въ Шотландіи, ибо «шкоты не такъ обходительны, какъ англичане, а особливо горскія шкоты и которыя по островамъ живутъ, поспеже оныя такъ дики и нелюдимы, что обычайно они дикія шкоты называются, въ прочемъ къ бунту они склонныя англичанъ и едва не веѣхъ инныхъ народовъ охотиле; однакожъ ежели учинится бунтъ, то они предъ англичаны и едва не передъ веѣми другими націями гораздо жестоко въ томъ поступаютъ».

Обращаясь къ вопросамъ о вѣроисповѣданіяхъ, «Описаніе земноводнаго круга» указываетъ, что Италия къ тому удостоена, что глава римскаго католичскаго сонмища, зовомый викарій или намѣстникъ Христовъ, непремѣнно тамо резиденцію свою имѣетъ, однако не смотря на то нигдѣ столько легкомысленныхъ и безчинныхъ въ римской вѣрѣ поступковъ не бываетъ, удивительножъ и сіе, что въ самомъ Римѣ жиды вѣру свою отправлять могутъ, а реформаторамъ того не дозволено». Оутетствіе терпимости въ католицизмѣ и его вредныя послѣдствія сказались съ особою силою въ Гишпаніи, гдѣ «веѣ сряду имѣютъ римскую католичскую вѣру», и гдѣ за 200 лѣтъ было «жидовъ и ерацынъ много, но оныя милліонами выгнаны оттоль». Кроме того, «незадолго предъ реформаціею и духовный судъ, по гишпански инквизиціонъ называется отъ Фердинанда католика въ ішпаніи зачался, отъ котораго щастливо или больше несчастливо препона учинилась, что свѣтъ евангельскія истины никогда въ Гишпаніи просіять не могъ».

Противоположность исключительному преобладанію католицизма представляютъ нѣкоторыя страны, въ которыхъ свобода вѣроисповѣданія и отправленія религиозныхъ обрядовъ вызываетъ у составителя «Земноводнаго круга» наряду съ сочувствіемъ и проницескія замѣчанія. Такъ въ Голландіи «начальная вѣра есть реформатская, однако, при той и инныя вѣры всего свѣта отправлять свободно, хотя нѣкоторыя изъ того числа и гораздо глупы и удивительны паходятся». Широкая вѣротерпимость въ Польшѣ охарактеризована такъ: «начальная вѣра есть римская, которую король и знатнѣйшія въ государствѣ исповѣдываютъ, однако и инныхъ причастники вѣръ, яко греки, соціани, реформаты, жиды, лютеры и турки не только тамо стерпимы бываютъ, но и подъ польскою обороною вѣры своя отправляютъ, а особливо жидамъ тамъ лучше удача, нежели въ другомъ мѣстѣ на свѣтѣ». «Удивительно,—говорится далѣе въ описаніи начальнаго города въ Литвѣ—Вилня,—что въ городѣ ономъ во вся недѣли три субботы празднуются, ибо христіане празднуютъ въ воскресенье, жиды въ субботу, а турки въ пятницу». Не осталась безъ отмѣты и узкая нетерпимость англичанъ къ

католикама. «Хотя Англія вся калвинскую вѣру держитъ, однакожь обрѣтаются между епископскими, презвитерскими, пуританами—конформитаны, не конформитаны, секараты, индепенденты и протчія неразрѣшимыя расколы; квакеровъ и протчихъ такихъ же сумасбродовъ полоумныхъ довольно, токмо однихъ католиковъ не терпятъ». «Описание земноводнаго круга» въ разныхъ мѣстахъ отдастъ справедливость религіозной пропагандѣ католиковъ среди нехристіанскихъ племенъ Азіи. Пальма первенства здѣсь принадлежитъ ордену, «зачинщикомъ и уставникомъ» котораго былъ «Игнаціусъ Лойола», проживавшій въ 1520 году въ Пампелонѣ («городъ стоитъ веселъ и добръ укрѣпленъ»), столь сильно израненный, что ему «удобнѣе было постричься, нежели жениться». Хотя Христосъ и апостолы его Евангеліе прежде въ Азіи благовѣствовали, однако «жители азіатскія не смотря на то благодати такой сподобитися сами себя недостойными явили, но по пынѣ большая часть оныхъ въ махOMETанской слѣпотѣ и заблужденіи погрязли. Европейцы, а особливо езуиты зѣло до пынѣ трудились, дабы христіанскую вѣру тамо распространить, токмо, хотя посланныя ихъ много о обращеніи своемъ разглашаютъ, однако всюду тамо во утѣшеніи вѣры жить и въ разныхъ мѣстѣхъ въ книги съ мученики вписыватися принуждены бываютъ». Поэтому—временныя успѣхи христіанской пропаганды бываютъ въ Азіи непрочны. Такъ, на примѣръ, въ 1685 г. французскіе іезуиты, поселившіеся въ Сіамѣ, «такъ у онаго короля себя въ кредитѣ поставили, что не только землю, на и самаго короля въ христіанскую обратить вѣру уповали, но какъ новый король вступилъ, тогда оныя тамо зѣло ненавидимы были». Такъ португальцы близъ ста лѣтъ (т.-е. въ началѣ XVII в.) «такъ зѣло въ Японіѣ усилились, что и цесаря онаго въ христіанскую вѣру обратить уповали, но голанцы не дали себя усыпить пока на португалцовъ такъ японцевъ озлобили, что въ 1626 году ихъ многія тысячи ужаснымъ образомъ за христіанскую вѣру тамо порублено, а иныя до смерти замучены, отчего христіанское имя и до пынѣ тамо противно и не терпимо»... Успѣшнѣе дѣйствуютъ духовно-рыцарскіе ордены и въ особенности орденъ «Яганскихъ кавалеровъ», которымъ принадлежитъ островъ Мальта, гдѣ «великій государь мальтійскій имѣетъ свою резиденцію и какъ достойной прпщъ себя содержитъ». Вступающій въ орденъ, повѣствуетъ авторъ, не можетъ жепшться, «при томъ же имѣетъ присягу учинить, что опой туркамъ всякій уронъ причинять тцатися будетъ, для того у сего острова всегда нѣсколько галеръ обрѣтается, отъ которыхъ туркамъ подлинно многія чинятся досады».

Сѣверъ Европы, Россія и вѣввропейскія страны описываются въ «Земноводномъ кругѣ» значительно короче западной Европы.—Жители Д а н і и характеризуются какъ «учинившіеся толь искусны, что ни въ мирныхъ, ни въ военныхъ художествахъ другимъ европейцамъ не уступаютъ», а жители Норвегіи, какъ такіе «кои во веѣхъ своихъ дѣлахъ, поступкахъ и порядкахъ съ датчанъ не с х о д п ы». Швеція соприкасается съ Россією чрезъ Л а п л а н д ъ, сирѣчь Л а п п і я ш в е ц к а, гдѣ жители «зѣло дикія и суровыя и варварскія люди», при чемъ «ради великія пустоты и не многихъ жителей завелись въ Лапландіи и ожились многія дикія звѣри, между которыми особливо елени знакомиты суть». Жители ближайшей къ россійскимъ границамъ Финляндіи могутъ «гораздо спести стужу и иную тягость въ работѣ, того ради оныя угодны въ войнѣ бываютъ». Не далеко отъ Финляндіи, въ Ингерманландіи, лежащей «между синусомъ фипскимъ и Ладозскомъ озеромъ», паходится и «С а н к т ъ - П е т е р с б р у к ъ, крѣпость

и купеческій городъ, который нынѣ царствующій монархъ Петръ Первый построилъ и отъ часу оный возрастаетъ и прибавляется и въ красотѣ и силѣ своей процвѣтаетъ». Хотя Москва и признается въ «Земноводномъ кругѣ» начальнымъ городомъ всей земли и столицею царскою и патріарха греческаго, но о «красотѣ и силѣ» ея ничего не говорится, а упоминается лишь, что городъ состоитъ «во многихъ тысячахъ домовъ, которыя токмо изъ дерева и глины весьма бѣдно склеены, отъ чего и убытокъ великъ бываетъ ежели когда нѣсколько тысячъ домовъ згоритъ». Въ этомъ приписаніи Москвы—видна угодливая рука переводчика. Ему же, конечно, принадлежитъ и заявленіе, что въ Россіи «жители прежде сего не гораздо были некусны, но нынѣ царствующій государь Петръ Первый трудится, дабы оныя ѣздили въ инныя страны и другимъ европейскимъ обычаямъ подражали и обучаяся навывкали». —Съ разныхъ сторонъ Русская земля окружена татарами, при чемъ, хотя русскія границы «отъ самыхъ тѣхъ варварскихъ народовъ вродлинно перазмѣрены,—по новѣйшия географы разсуждаютъ, что крайнія границы русскія весьма не такъ далеке отдалены отъ Хины, нежели какъ оныя въ обычныхъ ландкартахъ означены бываютъ». «Описаніе земноводнаго круга» перечисляетъ до 12 татарскихъ племенъ, живущихъ подъ разными наименованіями на русскіхъ граппцахъ и, между прочимъ, «около рѣки Тапай, гдѣ жилали древле храбрыя жепы амазоны» и даже въ Украйнѣ, недалеко отъ Кіева... «толь далеко распространилась и разѣялась сія гадина» ... Г о с у д а р е т в у Х и н е к о м у, по предположеніямъ географовъ сопредѣльному съ Россіею, посвящено довольно подробное описаніе. «Оная земля не можетъ довольно описана быть ради своего плодоносія и богатства въ золотѣ и каменіяхъ драгоценныхъ. Прежде сего былъ въ той землѣ особливой государь, которой хипской цесарь назывался. Но въ 1630 году напали татары съ такою силою, что сіе неподобное государство подъ власть свою привели и такимъ образомъ нынѣ нарочитая часть тартаріи и государство хипское одному владѣтелю подвержены, которой хипской царь и татарской ханъ вмѣстѣ называется. Новыя описанія повѣствуютъ, что сей царь между великою стѣпою и тартаріею на 100 миль землю весьма опустошить повелѣлъ, дабы никакое животное не могло тамъ питатися и можетъ быть для того, чтобы его другія татары иногда такимъ же образомъ въ Хипѣ не посѣтили, какъ онъ самъ учинилъ».

А ф р и к а—полна «незнаемыхъ земель» и «пseudобопамятныхъ королевствъ», а также разныхъ звѣрей, какъ-то—долгихъ обзьяпъ, драконовъ, т.-е. змievъ великихъ, львовъ, слоновъ и «струсовъ» коихъ и имъ подобныхъ такое множество при рѣкахъ находится, что никто не можетъ безопасно проѣхать. Жители тамошніе «суть всюду дикія и необходимыя люди; повыше къ медитеранскому морю еще оныя отъ части бѣлая, а которыя пониже тамо живутъ, оныя суть чернообразны; которыя живутъ въ веру признаются въ махометанской вѣрѣ, но и христіане между нихъ находятся, но оныя больше христіанское имя посятъ, нежелли дѣла отправляютъ; тѣже, которые къ западу при еоіопскомъ морѣ живутъ городовъ не имѣютъ и никакого короля не знаютъ, но токмо скитаются вездѣ въ оной землѣ и не многимъ лутче звѣрей, а наипаче, что оныя человеческое мясо жрутъ, въ землѣ своей называются они готентотепъ, а говорятъ языкомъ подобно какъ у насъ куры кричатъ». Христіанскую вѣру исповѣдуютъ также цесарь и жители Муріпской земли или Габесини, но только «оная вѣра отъ европейской во многихъ вещахъ не сходна». Король этого

государства «отъ африканъ именуется великой негуць; прежде сего въ простомъ народѣ назывался онъ священникъ Іоаниъ или Жанъ, но пышѣ отъ такого безумнаго имени отвыкли, ибо подлиннѣе о томъ увѣдомлены» .

Судьбы туземцевъ А м е р и к и даютъ поводъ автору очертить, въ отвѣтѣ на вопросъ—кому принадлежитъ Америка?—безчеловѣчную и близорукую политику испанцевъ послѣ открытія этой части свѣта. «Доколѣ земля сія отъ европейцевъ не найдена была имѣла она въ разныхъ мѣстахъ особливыхъ своихъ королей. Но какъ гишпанцы сперва тамо прибыли, стали оны умышлять какъ бы жителей тѣхъ искоренить и оную землю себѣ въ собственное владѣніе привлечь, что съ немалымъ свирѣпствомъ учинено. А папа, хотя свою учтивость и податливость оказать, подарилъ всю оную землю гишпанцамъ. Но языческія короли въ Америкѣ не мало тому смѣялись, что папа раздаетъ королевства чужія» .

«Земля она не подобна другимъ, а паче богата золотомъ и серебромъ (говоря въ другомъ мѣстѣ о Калифорніи, авторъ впрочемъ высказываетъ мысль, что «мало тамъ каково прибутку ожидать (!) того ради о ней мало мы освѣдомы»), такъ что гишпанцы многія корабельныя флоты нагружены серебромъ оттолъ получали и ежелибъ они съ людьми той земли пріятнѣе поступили, то неисчетное бѣ богатство получили, но понеже они многіе миллионы людей немилосерднымъ образомъ погубили, того ради сами жители многія рудокопныя заводы разорили. Жители оныя были острога ума, что можно признать изъ многихъ ихъ искусныхъ вымысловъ» ...

Въ заключеніе надо замѣтить, что авторъ относится съ большою осторожностью ко всеѣмъ «празднымъ и парочнымъ вымысламъ» и тщательно опровергаетъ въ своей книгѣ различныя легенды, связанныя съ тою или другою мѣстностью, или приписываемыя ей чудесныя свойства. Это его стремленіе доходитъ до того, что какъ указано выше, онъ рѣшается держаться «тихонскаго» ученія о вращеніи земли изъ осторожности, и даже, говоря о Палестинѣ, объясняетъ, что «иностраннымъ показываютъ тамо гробъ святой и католики обыкли для того часто по общапію туда ходить; токмо понеже обѣтованная земля не токмо отъ римлянъ, но потомъ отъ турокъ не единожды разорена бывала, того ради, отъ нѣкихъ сумнительно—прямой ли оной есть гробъ Христовъ?» —Только въ одномъ мѣстѣ онъ измѣняетъ своему скептицизму. «Слоны на острову Цейлонѣ, говоритъ онъ, такую имѣютъ честь, что всеѣ слоны на свѣтѣ онымъ поклоняются, когда гдѣ сойдутся» ...

А. О. К о п и.



НЕИЗДАННЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ ГРАФА ФЕДОРА ЛЬВОВИЧА
СОЛЛОГУБА.

I.

НОЧНАЯ ПѢСНЬ.

Вкругъ уснувшей земли
Сонъ съ Дремою прошли
Бъ полуночи обычнымъ дозоромъ,
Заглянули въ лѣса,
Оглядѣли поля
Своимъ тихимъ, лелѣющимъ взоромъ,
Садъ душистый, село,
Огородъ и гумно
Облетѣли пелышнымъ полетомъ:
Спитъ въ лѣсу лѣсовккъ,
Спитъ въ водѣ водяникъ—
Сонъ съ Дремою легли на нихъ гнетомъ.
Позабывши обходъ,
Сторожъ спитъ у воротъ,
Головою склоняся на ограду,
И собаки кругомъ
Спятъ, свернувшись клубкомъ...
Сонъ съ Дремою проходятъ по саду.
Заглянули въ окно—
Тамъ все тихо, темно,
Челядь спитъ по клѣткамъ и чуланамъ.
Спитъ твой грозный отецъ,
Недвижимъ, какъ мертвецъ,
За столомъ съ педопитымъ стакапомъ.
Въ своемъ теремѣ мать
Ужъ легла на кровать
И, крестясь, мирнымъ сномъ засыпаетъ...
Вкругъ уснувшей земли
Сонъ съ Дремою прошли...
Милый твой подъ окномъ распѣваетъ!

II.

Т Р И Д Н Я.

Три свѣтлыхъ дня любви и счастья
Мы взяли у судьбы.
Безъ непогоды и ненастья,
Безъ страха, безъ борьбы.
Пути намъ разные съ тобою,
Быть можетъ, суждены,
Но мы три дня одной тропою
Шли, радости полны.
И чѣмъ насъ грозный рокъ ни встрѣтитъ
Среди грядущей тьмы,
Прожитыхъ дней восторгъ и трепетъ
Не позабудемъ мы.

III.

Э П И Л О Г Ъ.

Я снова посѣтилъ знакомыя мѣста...
Заглохъ и вымеръ домъ и комната пуста,
Въ которой ты жила... Я тронулъ клавикорды...
Клавиши стукнули. но въ струпахъ звука нѣтъ,
И ужъ не могъ заставить ихъ въ отвѣтъ
Мнѣ дать знакомые любимые аккорды.

Я вышелъ на балконъ—повсюду тишина,
Унылой радости природа вся полна
И словно ждетъ чего и чутко замираетъ.
Въ осеннемъ воздухѣ застылъ и умеръ звукъ;
Изъ роуи слышится лишь дятла мѣрный стукъ,—
Какъ будто гробовщикъ послѣдній гвоздь вбиваетъ.



Т И Ш И Н А.

I.

Бѣлый крестъ молчаливо и строго стоитъ на холмѣ. А близъ него совѣмъ маленькій, кружевной, чугунный еле виднѣется изъ цвѣтовъ. Маленькій крестикъ надъ могилкой сына Евфимія, большой бѣлый на могилѣ Елены-сестры.

Покойно и ясно на кладбищѣ. И совѣмъ не тоскливо, хотя кругомъ еще черные, необросшіе зеленью холмы и покосившіеся, поломанные временемъ кресты деревянные. Синѣетъ небо, теплое, весеннее. Такого апрѣля ужъ давно никто не запомнить: это лѣто кроткое,—не весна.

Двѣ женщины сидятъ неподвижно на скамьѣ у могилъ. Одна въ черномъ, другая—бѣлая и безпомощная. У той, что въ черномъ, такое свѣтлое, озаренное лицо: это Вѣра—монашенка; у женщины въ бѣломъ лицо погасшее, темное, умершее. Евфимія это.

— Какой просторъ, сестра, на этомъ кладбищѣ, а вѣдь оно огорожено,—негромко говоритъ Вѣра и тонкими пальцами, на которыхъ просвѣчиваютъ косточки, оправляетъ свое черное платье.—Не потому ли такъ просторно, что здѣсь не смерть, а жизнь? Когда люди живутъ, возлѣ нихъ такъ тѣсно.... Отчего же такъ безпредѣльно-широко, когда умираютъ они?

— Я не знаю, ничего не знаю,—отвѣчаетъ Евфимія.—Я не вижу ничего.

Кладбищенскій сторожъ проходитъ межъ могилами, стараясь не наступать на холмы и лежащіе брусья крестовъ. «Аминь, аминь».—шепчетъ онъ съ благоволеніемъ и поспѣшно отходитъ, выгибая спину. Этотъ странный Тихонъ всегда почему-то говоритъ «аминь» и совѣмъ нектати, и однако, всегда это слово имѣетъ смыслъ затаенный, точно даетъ отвѣтъ мыслямъ, навѣянными кладбищемъ: «да, вѣрно, аминь, истинно, да будетъ такъ».

Невинно и радостно дышутъ на кладбищѣ молодыя березы и кроваво-красные, сами собой рождающіеся, словно исходящіе изъ крови сердецъ умершихъ, цвѣты. Отчего они такіе невинные, когда выявились изъ смерти? Не потому ли, что смерть—это жизнь? Или потому, что имъ, возросшимъ со дна могилъ, извѣстна тайна сокровенная, тайна жизни неумирающей?

— Какъ хорошо, сестра, что могилы теперь у насъ—убранныя!—говорить Вѣра и улыбается.

— Я не вижу ничего,—повторяетъ Евфимія.—Ничего не вижу.

— Раньше могилы наши были заброшенныя, а теперь и цвѣты на нихъ растутъ, и рѣшетка исправлена, и елей теплится вѣчный...—Тѣсно Вѣра придвигается къ сестрѣ и заглядываетъ въ ея безжизненные глаза.—Умереть и лежать здѣсь—такъ благоестно, сестра. Ты вспомни только, какъ страшно за нее было, когда жила Елена, и какъ спокойно стало, когда она умерла. Была жизнь потерянная, были смерть и грѣхъ, и душа погибала,—а мы не страшились. А успокоилась душа,—нашла начало вѣчное,—и мы всѣ были встревожены, всѣ плакали, всѣ роптали... Правильно ли послѣ этого устроена людьми жизнь?

Не отвѣчаетъ Евфимія и все думаетъ безконечное. Вотъ старый докторъ подошелъ къ ней колеблющимися шагами. Въ обѣ руки онъ взялъ ея голову и поцѣловалъ въ лобъ и сказалъ, что сынъ маленькій—умеръ. Зачѣмъ умеръ, за что? Кто велѣлъ? Не вѣрила Евфимія этому даже тогда, когда отпѣвали сына въ церкви. Никто не вѣрилъ, что мальчикъ умеръ, и невѣримымъ, неувѣреннымъ голосомъ иѣлъ священникъ свои молитвы и недоумѣвающе слабо вторилъ ему дьячокъ. Это было такъ поразительно, что мальчикъ родился, былъ живой и—однако, умеръ,—что не вѣрилъ этому никто даже изъ постороннихъ... И только, когда подали Евфиміи въ тарелкѣ песокъ, чтобы бросила она землю на гробъ сына,—тогда разомъ стало ясно, что онъ умеръ, что все—земля. И, повѣривъ этому, она мгновенно ослѣпла. Но сейчасъ же, какъ только ослѣпла, спокойствіе овѣяло душу. Снова стало на ней ясно, какъ только отемнились глаза. Зло земли поражающее исчезло изъ нихъ,—сдѣлалось во взглядѣ ровно и безбрежно, и даже изгладилась изъ памяти черта сына умершаго,—не стало того, о чемъ было бы можно рыдать. Стала пустота. Спокойствіе стало вѣчное. Тишина распростерлась. Молчаніе.

— «Въ самомъ дѣлѣ, какой онъ былъ? Какія были у него черты?—Не помнить теперь Евфимія, какъ ни напрягаетъ ослабшую память. Помнить только одно: былъ онъ малепькій-маленькій! И кричалъ жалобно сначала, какъ зайчикъ, а потомъ замолчалъ. Были ли у него волоса темные? Или свѣтлые? И глаза какіе? Цѣловалъ ли онъ ее когда-нибудь? Хотя разъ единственный? Смѣялся ли?—Путается все въ головѣ.

Земляника юная невинно выглядываетъ свѣтлыми листьями на погребальномъ холмикѣ. Такъ кротко и успокоенно смотритъ она, что Евфимія стихла бы, если бь... увидѣла. Но не видитъ ея душа ослѣпшая, отчего не видитъ, когда кругомъ такъ ясно и примиренно?

Иконка блеститъ мѣдная, полустертая, на крестѣ; такая она старенькая, отемненная, озеленѣлая, по спокойно и радостно смотрѣть на нее. А вотъ еще что-то взглядъ обрѣзало. Подходить Вѣра и растроганно улыбается: нѣсколько дѣтскихъ игрушекъ прикрѣплено на березовомъ крестикѣ и среди нихъ особепно запоминается сломанная кукла.—«Любимая игрушечка!»—проносится въ головѣ Вѣры. Она бережно беретъ куклу на руки и бережно цѣлуетъ.—«Спи, маленькій: игрушечка при тебѣ».

Нѣжно и застѣнчиво дышитъ апрѣль. Звонъ съ неба едва ошутимый спускается. То звонятъ въ колокола алмазные бѣлые ангелы, и Господь Кроткій сидитъ на престолѣ алмазномъ и тихо улыбается, благословляя двухъ.

Съ ранняго утра опѣ здѣсь на могилѣ среди крестовъ неслышныхъ, кладбищенскихъ, говорящихъ вѣчныя, отпускающія горе слова.

II.

Ясное спокойствіе, наплывающее сверху, все крѣпче осѣпляетъ душу Вѣры. Да, отойди прочь все земное, тлѣнное; нетлѣнное сердце затеплилось подъ черною тканью; ему спокойно, ему нѣтъ дѣла до всего живущаго, ему хорошо. Осторожно обходить Вѣра могилки и читаетъ надписи. Такія онѣ простыя, обыкновенныя. «Кондратій Силенъ», — выводилъ, должно-быть, деревенскій маляръ, — «семидесяти лѣтъ». Ужъ, конечно, фамилія у этого Кондратія была Силипъ, но не даромъ, не ошибочно написалъ «Силенъ» сельскій живописецъ: онъ понималъ, что этотъ Кондратій былъ, дѣйствительно, въ жизни силенъ, разъ могъ протянуть жизнь черную мужпческую до семидесяти лѣтъ. И еще духомъ былъ силенъ Кондратій; и тѣломъ и духомъ. Не сломило тѣла питанье картофелемъ, и не сломила души болѣзнь, ни жизнь безрадостная, ни самая смерть. Развѣ не сказалъ этотъ Кондратій, умирая, свое извѣстное: «Слава Тебѣ, Господи» — за то слава, что родился и маялся, за то слава, что болѣлъ и умиралъ? И развѣ это не сила души простой, души опрощенной, взятой прямо отъ черноземной земли? Силенъ, силенъ былъ Кондратій и не ошибочно отмѣтилъ его силу живописецъ-символистъ.

«Вотъ у кого бы и учиться силѣ» ... думаетъ Вѣра и радостно улыбается. Какъ сильна, краснорѣчива и горда эта немудрая надпись въ сравненіи съ могилой помѣщицѣй—«Дворянинъ усопшій, полковникъ Бѣлокопытовъ, вкушаетъ вѣчное отдохновеніе подъ памятникомъ симъ». Какъ вычурно и мелко, какъ забавно-ничтожно въ сравненіи съ трогательной надписью: «Кондратій Силенъ». Это даже не обвѣяное лиризмомъ упоминаніе Пушкина—«Господень рабъ и бригадиръ». — Грустью, суетой безпомощной и невѣріемъ, и слабостью, и ложью вѣсть отъ дальнѣйшаго: «Убитая горемъ супруга твоя и дѣти слезами неходятъ».

— Вѣрно ли это? Вѣрно ли написано?—Почему могила заброшена, хотя памятнику всего двадцать лишь лѣтъ. Или и жена умерла, въ самомъ дѣлѣ? А что же дѣти? Почему могила покинута? Почему не убрана?

И рисуется въ умѣ Вѣры картина знакомая. Вотъ шумятъ въ залѣ родичи и наслѣдники; шумятъ, спорятъ, сеорятся, завѣщаніе вскрываютъ... и такіе уходятъ иные блѣдные, полные злобы,—ихъ полковникъ обдѣлилъ...

«Грѣшно, постыдно,—сейчасъ же думаетъ о себѣ Вѣра и отходить отъ памятника, слабо краснѣя.— «Не судите, да не судимы будете» ... Не все еще, значитъ, испарилось изъ сердца земное, если приходятъ въ голову суетныя мысли».

— «Аминь, амннь» — бормочетъ, проходя, старпчокъ Тихонъ, вѣщій Тихонъ, и выгибаетъ спину смиренно.

Идетъ Вѣра къ Евфиміи, и комья черной земли падаютъ у ея ногъ. Останавливается, смотритъ. Маленькій человѣкъ съ сѣрыми волосами роетъ могилу; облипла рубаха, прилипла къ спинѣ, и видны на ней костлявые позвонки. На половину стоитъ мужикъ въ могилѣ вырытой.

— Кому роешь?—спрашиваетъ Вѣра смущенно.

Мужикъ отвѣчаетъ просто, не останавливая работы:

— Баба померши, Аксинья...—и попрежнему равнодушно-упруго подсакапываютъ по дорожкамъ засохшіе комья съ извивающимися въ нихъ, обрѣзанными лопатой червями. Жутко становится на сердцѣ Вѣры.—Самъ же и роетъ... тоже вотъ, навѣрное, какой-нибудь «Кондратій Силенъ»,—посмотрѣть только въ его каменное лицо.

Подходитъ къ краю могилы. Заглядываетъ въ яму. Такъ жалко и безпомощно стоятъ на днѣ ея обутыя въ лапти худыя костлявыя ноги.

— Какъ же звать тебя?—спрашиваетъ она и подаетъ монету.—Господь подаетъ.

— Дорофеемъ Плоховымъ,—отвѣчаетъ мужикъ и кланяется, встряхивая сѣрыми волосами.—А жену звали Аксиньей... Аксинья Плохова!—поясняетъ онъ,—и горбится Вѣра и думаетъ: «Да, вонъ и Плоховъ, а какъ же силенъ! Какъ же и онъ силенъ. У нихъ и учиться».

— Господь видитъ тебя, Дорофей Плоховъ. Видитъ и твою Аксинью новопре-
ставленную!—строго и увѣренно, съ блѣднымъ лицомъ говоритъ Вѣра и отходитъ.

— Спасибо, матушка!—отвѣчаетъ мужикъ, и снова къ ногамъ Вѣры бѣгутъ ссохшіеся сѣрые комья.

— Господь д о л ж е н ъ увидѣть тебя, Дорофей.

III.

Сестры тихо идутъ съ кладбища обратно къ дому, и Вѣра по дорогѣ плететъ изъ елокъ вѣнокъ,—сплела и надѣваетъ обѣимъ на плечи, отчего кажется, что вѣнкомъ онѣ словно связаны, что сплелась вмѣстѣ ихъ души и тѣла.

— Хорошо ли тебѣ итти такъ, Евфимія?—спрашиваетъ она, и сестра хотя и отвѣчаетъ обычное:

— Миѣ все равно, я ничего не вижу...

Но не колятъ душу ея опечаленныя темныя слова: слишкомъ ужъ хорошо было на кладбищѣ. «Такъ много горькаго,—и такъ тамъ радостно», говоритъ себѣ Вѣра и улыбается, вспоминая про Кондратія Силина и про Плохова Дорофея.

— Вотъ она мудрость истинная. Какъ просто у нихъ ихъ отношеніе къ смерти. Именно и надо сдѣлаться дѣтми, чтобы омудриться и понять: «Богъ далъ, Богъ взялъ».

Не хочется быстро итти: точно душа до краевъ переполнилась кладбищенской тишиною,—до краевъ, какъ бы не расплескаться. Надо тише итти, какъ можно тише...—Сидемъ вотъ здѣсь подъ березой, сестра.—Евфимія молча садится и шевелитъ губами неслышно, и чувствуетъ Вѣра, что она шепчетъ свою фразу непримиренную Все еще не смирилась, не свыклась съ происшедшимъ ей бунтующая оскорбленная душа. Иѣтъ, надо прощенья, надо молчанія, надо тишины.

Растерянный звонъ вдругъ раздается со стороны кладбища. Дробный, немѣрный, испуганный звукъ мѣди потрясаетъ типшину. Встаютъ Вѣра, вздрагиваетъ Евфимія. Неужели въ церкви пожаръ?

А мѣдные звоны все плывутъ съ кладбища, какъ бы жалующіеся и испуганные. Вотъ крестьянинъ, проѣзжавшій къ селу на телѣгѣ, повернулъ лошадей и, ударивъ ее кнутомъ, помчался къ кладбищу. Двѣ бабы, двое мальчишекъ, лежавшихъ у поля, векинули головы и побѣжали за мужикомъ, крестя збы. Что же случилось? И дыма не видно, и звонъ оборвался, — отчего же тревога рветъ сердце, непонятная, отчего душа ежася и беспомощно дрожитъ?

— Спасите, спасите!—кричитъ кто-то беззубымъ старческимъ голосомъ, и оборачивается Вѣра и смотритъ, — словно игрушечный старичокъ бѣжитъ на нихъ растерянно, неровными шагами, жалко махая рукой, и почему-то прежде всего бросаются въ глаза его громадные продранные лапти.—Что случилось?

Старичокъ подбѣгаетъ и тяжело дышитъ, поглядывая на сестеръ тусклыми глазами и растерянно держа за грудь.—Что случилось?—уже строго спрашиваетъ Вѣра, видя, что это кладбищенскій сторожъ Тихонъ.—Зачѣмъ звонятъ?

Но старикъ все не отвѣчаетъ, онъ не можетъ говорить отъ непривычной бѣготни и только шипитъ и бьетъ себя кулачками по бокамъ, какъ бы выдавливая изъ нихъ замершіи воздухъ.

— Ма... Ма... Ма...—бормочетъ онъ и глазами моргаетъ.—Мо...гилкою того... могилкою того... Дорофея придавило. Могилку копаль...

— Какой могилкою? Какого Дорофея?—хочетъ крикнуть Вѣра, и вдругъ все понимаетъ, вся блѣднѣетъ и сжимаетъ кулаки.

— Э т о г о Дорофея?.. Э т о г о?—вскрикиваетъ она и, схвативъ старика за воротникъ рубахи, изступленно трясетъ его и не можетъ оторваться, какъ будто бы именно онъ завалилъ землею копавшаго жепѣ могилу Дорофея.—Его задавило въ ямѣ?—Опамятовавшись, она выпускаетъ сторожа и глухо переспрашиваетъ.—Его?..

— Аминь, аминь,—бормочетъ Тихонъ и бѣжитъ дальше, говоря:—Подкопаль должно, круто, али земля сопрѣла... Спасите! Спасите!—уже во весь старческій голосъ кричитъ онъ вдали.

— Надо бѣжать, Евфимія,—сурово шепчетъ Вѣра сестрѣ, и какъ бы стоворившись, схватившись за руки, онѣ бѣгутъ, спотыкаясь на полѣ, по дорогѣ къ кладбищу.—Нѣтъ, какъ же это?.. Какъ?—гнѣвно спрашиваетъ кого-то Вѣра и все бѣжитъ и слушаетъ обрывающееся дыханіе свое и Евфиміи.—Этакого Дорофея задавить... Этакого,—копавшаго жепѣ могилу... Вѣдь я же сказала ему: «Господь д о л ж е нъ увидѣть», и онъ принялъ обѣщаніе, и сказалъ «спасибо» ... и вотъ тутъ же его... его...

Холодно смотритъ Вѣра въ раскрытое, жаромъ дышущее безпредѣльное небо. Оно попрежнему невозмущенное. Что же это, что?..

IV.

Кладбище полно народа. Откуда онъ набрался такъ быстро? Вѣдь есдо недалеко. Слышны пестрые голоса и крики,—точно ожили молчаливые кресты, и тѣ, подъ ними.

Подходитъ Вѣра съ запыхающей Евфиміей и угрюмо смотритъ. Обезображена спокойная четырехугольная яма. Осыпалась земля, и яма стала безформенной, какъ рваная рана на тѣлѣ земли. Два мужика, тяжело отдуваясь, копаются на днѣ ея, сверкая лопатами. По ихъ грязнымъ потрескавшимся шеямъ потъ струится, прилипли къ спинамъ взмокшія рубахи и четко видѣются напругшіе мускулы рукъ.

— Осторожиѣ!—раздается тревожный предостерегающій голосъ.—Онъ долженъ быть тутъ: отседава свалило.

И дѣйствительно, среди взрытахъ комьевъ глины вдругъ тускло и слѣпо взблескиваетъ бѣлое тѣло ноги. Шопотъ стихаетъ. Многіе крестятся.

— О! О!—безпомощно и грубо взываетъ Вѣра и отходитъ, оттаскивая за собою сестру. Но сейчасъ же снова приближается съ нею, не будучи въ силахъ оторваться отъ зрѣлища.—«Какъ же спокойно лицо Евфиміи!»—говоритъ она себѣ.—«Ну какъ же это хорошо въ самомъ дѣлѣ не видѣть».

Но не видѣть нельзя. Осторожно соскребаютъ землю съ человѣческаго тѣла лопаты. Тѣло лежитъ такъ спокойно и ровно, словно говоритъ: «счищайте, счищайте»... Отчего же такъ рвется сердце живое, когда спокойно мертвое? Вотъ часть руки загорѣлой видѣется въ углу ямы, вотъ грудь,—знакомо-красная, слипшаяся рубаха... Отчего же все не видно лица?

— Пустите, пустите,—кто-то грубо ударяетъ Вѣру въ спину, и она оборачивается. Молодой, беззубый бѣлокурый урядникъ протискивается черезъ толпу, расталкивая ветрѣчныхъ эфесомъ рыжей сабли, за нимъ проходитъ высокій, худой, черный человѣкъ въ темной крылаткѣ и кепкѣ, и Вѣрѣ прежде всего почему-то запоминаются голубые шнурки на его мягкой рубашкѣ. Еще видитъ Вѣра, что щеки у него впалыя, шея худая, заросшая волосами, съ твердымъ кадыкомъ, въ рукахъ ящичекъ. Этотъ ящикъ ей объясняетъ все,—надо поосторониться.

— Докторъ, докторъ... шепчутъ въ толпѣ.—Миколай Миколанчъ... А воиъ и его сироты.

И мгновенно жуткая усмѣшка перечеркиваетъ ротъ Вѣры.—А!..—вскрикиваетъ она.—Такъ у него еще дѣти?.. А-а!—Темноволосое лицо доктора склоняется надъ нею.

— Не надо кричать,—устало говоритъ онъ.

— Хорошо, я не буду,—покорно отвѣчаетъ Вѣра.—Но онъ,—Дорофей Плоховъ? Что съ нимъ?

Вмѣсто отвѣта, докторъ спрыгиваетъ въ яму и тамъ становится подлѣ тѣла.

— Надо бы вытащить, нешто такъ возможно?—бормочутъ въ толпѣ.

— Когда еще вытащутъ, а важно первоначало,—отвѣчаетъ еще кто-то и грубо смѣется.—Учи еще доктора... Грамотей!

Странная, удивленная, совсѣмъ сѣрая голова показывается изъ ямы. Одинъ глазъ вытаращепъ, другой прикрытъ, и никакъ нельзя узнать въ этой сѣрой головѣ спокойное и мудрое лицо Плохова Дорофея.

— Держите же, черти! — кричитъ па толпу урядникъ, трупъ выносятъ наверхъ и кладутъ па травѣ.—Осади! Отступи назадъ! Всѣ послушно отступаютъ и смотрятъ, какъ ровно и спокойно лежитъ неподвижный сѣрый человѣкъ, то, что было человѣкомъ. Онъ совсѣмъ спокоенъ, только ротъ да глазъ

раскрыты и что-то красное тлѣетъ тѣнями въ углахъ губъ... Совсѣмъ спокойная наблюдаетъ Вѣра.

— Дайте же доктору руку, помогите ему выйти,—говоритъ урядникъ и тычетъ въ кого-то кулакомъ. Испачканный въ землѣ, угрюмый докторъ подходитъ къ Дорофею и склоняется, и слушаетъ. Спокойно и увѣренно наблюдаетъ Вѣра.—Да, что-то случилось... слѣбое... Но видитъ Онъ...

— Земля справа-то и обвалилась,—вздыхаютъ въ толпѣ.—Должно, была прежде могила рядомъ—и подопрѣла... а онъ и не остерегся.—Кругомъ сѣрые ждущіе глаза, сѣрые лица, сѣрое небо. И внезапно сѣрую тишину разрываетъ мѣрный и жесткій словно упрямый голосъ доктора.

— Поздно. Ничего нельзя. Померъ.

— А-а-а!—вдругъ снова вскрикиваетъ Вѣра на все кладбище. Она все спокойно наблюдала и ждала и вдругъ услышала отказъ доктора,—но не слова, не смыслъ словъ, а то, какъ онъ поднялся, какъ отряхнулъ съ ладоней крошки земли и какъ взялъ аптечку,—вдругъ пронизали ее безумнымъ ужасомъ.—А-а-а!..

— Я же сказалъ: не надо кричать!—повторяетъ надъ пей докторъ и устало улыбается.—И зачѣмъ вы пришли, барышня, если...—недовольно заканчиваетъ онъ.

— Но какъ же?—вслухъ говоритъ Вѣра и осматривается изумленно, точно одна она пошмаетъ, а остальные—нѣтъ.—Она лежитъ на травѣ, почти рядомъ съ Дорофеемъ, и Дорофеемъ точно слушаетъ ее.—Вѣдь я же только что видѣла. Онъ копалъ для жены могилу. Онъ такъ спокойно копалъ, и я сказала: Богъ это увидитъ, Богъ вознаградитъ...—Она видитъ передъ собою два чумазыхъ дѣтскихъ лица, которыя тупо смотрятъ на недвижнаго Дорофея и улыбаются равнодушно.—Вѣдь это онъ?..

— Я же говорю: такимъ нельзя сюда ѣздить,—раздраженно вскрикиваетъ докторъ и обращается къ Евфимии.—Барышня, хоть вы уведите ее...—Внезапно онъ взглядываетъ въ безжизненные глаза Евфимии, и лицо его бурѣетъ, и онъ морщится, двигая плечами.—Хоть вы бы, что ли, ихъ увели!.. кричитъ онъ на урядника и отходитъ, нервно потирая руки.

«Какой самъ онъ больной!—вспыхиваетъ въ застывшемъ сердцѣ Вѣры.— Но какъ это могло случиться? Какъ могло?»

— Извольте, я доведу васъ, сударыни?—дрогнувшимъ голосомъ предлагаетъ урядникъ.

Онъ усаживаетъ сестеръ въ плетеную бричку, на задкѣ ея садится докторъ.

— Вы бы сюда, Николай Николаевич!—говоритъ урядникъ, садясь на облучекъ.

Темное лицо доктора стигивается злыми морщинами.

— Э,—все равно.

Они ѣдутъ. Холоднымъ каменнымъ взоромъ смотритъ на небо Вѣра.

— Нѣтъ, какъ могло это произойти? Какъ могло совершиться?.. Онъ вѣрилъ и ждалъ. Какъ же случиться могло?..

Еще проходя къ бричкѣ, Вѣра сорвала съ бѣлаго крестика поломанную игрушку.

— Ты обманулся, маленькій!..—неизвѣстно кому сказала она.

Н. Крашениниковъ.

Хмуры сумерки зимняго дня.
Заревомъ села объята.
Синебагровыя вспышки огня,
Пушекъ глухіе раскаты...
Это война. Подъ ногами снѣжокъ,
Имы окоповъ рядами.
Какъ онъ теперь безконечно далекъ—
Трудъ, перебитый мечтами!
Дѣти играютъ въ сосѣднемъ селѣ:
Къ пушкамъ привыкнуло ухо.
Кони разѣзда маячугъ во мглѣ,
Топотъ ихъ слышится глухо.
Это война. Если спросятъ меня,
Въ чемъ ея смыслъ и значенье,—
Буду молчать среди вспышекъ огня,
Гнѣва и горя мученья.
Буду молчать, чтобы плакать потомъ
Съ матерью бѣдной о сынѣ,
Или съ дѣтьми предъ раскрытымъ дворомъ
Въ полуголодной пустынѣ...

В л . Л а д ы ж е н е к і й .



Нѣтъ, Богъ аскетовъ—Богъ не мой.
Ему не въ силахъ я молиться.
Душѣ отзывчивой, живою
Съ холоднымъ мраморомъ не спиться.

Нѣтъ, ей нужна живая плоть
И страсть съ земной горячей кровью:
Ихъ людямъ далъ на то Господь,
Чтобъ грѣтъ другихъ своею любовью.

И н к . К а р е в ь .

ВСТРѢЧА.

Свиридовъ прямо съ поѣзда проѣхалъ въ гостиницу и сидѣлъ за завтракомъ въ ресторанѣ, когда замѣтилъ вдругъ въ дверяхъ сильно расплывшуюся, знакомую фигуру въ пальто и мягкомъ картузѣ и тотчасъ же окликнулъ входившаго.

— Николай Ильичъ!

— Лева, голубчикъ! Какими судьбами?

Они расцѣловались.

— Давно-ли? На долго ли?

— Да минутъ десять уже есть. А на долго ли—не знаю. Что-то вотъ ничего не даютъ, а я тороплюсь и голоденъ какъ волкъ.

— Сейчасъ, сейчасъ все будетъ. Человѣкъ!—закричалъ вдругъ Стоцкій такимъ голосомъ, что Свиридовъ поморщился.

— Если ты такъ будешь кричать, то подумаютъ, что мы съ утра хотимъ устроить дебошъ и совсѣмъ ничего не дадутъ. Смотри, дамы обернулись и смотрятъ на насъ.

— Ничего, голубчикъ! Это я отъ радости. Вѣдь сколько лѣтъ не видались. Какъ же было не увѣдомить, по крайней мѣрѣ, не написать!

— Для чего же было увѣдомлять! Вотъ и не написалъ, а все же встрѣтилъ тебя. Я и зналъ, что встрѣчу. Гдѣ же тебѣ и быть, какъ не здѣсь! Мѣсто насѣженное.

— Ну, не скажи,—съ озабоченнымъ видомъ возразилъ Стоцкій, усаживаясь къ столу и пережевывая послѣ рюмки водки кусокъ калача съ икрой.—Я послѣднее время почти что и не наѣзжалъ, у себя сидѣлъ въ Зайцевѣ безвыѣздно. Не вѣришь? Честное слово. А это крайность заставила, дѣла. По дѣламъ и пріѣхалъ.

— Что жъ, пмѣніе перезакладывалъ?

— Экъ хватился! Заложено, дружочекъ, давно, когда хозяйство совершенствовать затѣяли.

— Ну, разумѣется, какъ и подобаетъ. Всякое совершенствованіе денегъ стоитъ. Такъ теперъ, значитъ, подѣ третью, что ли?

Николай Ильичъ махнулъ рукой.

— Ну что, право, охота! Столько лѣтъ не видались, охота сразу говорить о дѣлахъ. Слава Богу, успѣлъ устроить все и теперь свободенъ и счастливъ, что могу быть съ тобой. Господи, вѣдь точно въ воду капулъ и вдругъ нашелся. Даже не вѣрится. Ты что будешь пить?

— Да Виши, должно быть, другое-то все запрещено. А ты все попрежнему? Но однако не съ утра же копякъ! Спроси что-нибудь поприличнѣе. Портвейпъ здѣсь былъ когда-то не дурепъ, красивый. Ты, впрочемъ, мало измѣнился въ общемъ, вотъ развѣ только жилеть бѣлый напрасно носишь. Бѣлое, говорятъ, полнитъ.

Стоцкій махнулъ рукой.

— Гдѣ ужъ тутъ разбирать! Въ смыслѣ туалетовъ, мы здѣсь все опустили, печего грѣха таять. Дома, повѣришь ли, по мѣсяцамъ изъ косоворотки не вылѣзаю.

— Что жъ, и косоворотка вещь хорошая... во благовременш. Помнишь, говорилъ отецъ протоіерей? Передай, пожалуйста, пкру. Вотъ пкру такую въ Петербургѣ не всегда найдешь. Кедровыми орѣхами отзывается. Да ты службу-то бросилъ или нѣтъ? Я вѣдь въ самомъ дѣлѣ давно ничего не знаю о васъ,—замѣтилъ Свиридовъ и, придвинувъ блюдо, положилъ на тарелку куриную котлету и медленно, словно нехотя, сталъ ѣсть.

— Такъ какъ же, все еще председательствуешь?—повторилъ онъ вопросъ.

Николай Ильичъ не сразу отвѣтилъ. Онъ былъ занятъ переправкой пзъ судка на тарелку стерляди кольчпкомъ, которую ему хотѣлось переложить цѣликомъ, не сломавъ.

— Да ты что же это, па діэтѣ, что ли? Куриную котлету!—почти въ ужасѣ закричалъ онъ.—Такихъ стерлядей, батенька мой, въ Петербургѣ и за деньги не найдешь. Живая вѣдь была, плавала пять мнпуть тому назадъ.

— Вотъ Богъ дастъ, отлежусь у матери на лежанкѣ, тогда и за стерлядей примусь. А пока такая дрянь иногда во рту, что табакъ и тотъ протнветъ.

— Да, постарѣлъ ты, братъ, похудѣлъ,—началъ было сочувственно, расправляясь со стерлядью и качая головой Николай Ильичъ, но Свиридовъ перебилъ его.

— А ты все не отвѣчаешь на вопросъ. Что же земство-то ваше, председательство твое?

— Вышелъ, голубчикъ, давно, лѣтъ пять уже какъ бросилъ. Нѣтъ возможности, слишкомъ дорогое удовольствие, не по карману. Ну, какъ же, посуди самъ...

— Что жъ, растрата?—закуривая и улыбаясь, спросилъ Свиридовъ.

— Хорошо, кабы одна, а то разъ за разомъ цѣлыхъ три, да все тысячныи и побольше. Такіе мерзавцы тутъ у насъ завелись, не повѣришь. Ну, а между тѣмъ, что же хорошаго, корреспонденціи сейчасъ пойдутъ, пресса правая обрадуется, подхватитъ тамъ у васъ же въ Питерѣ. Въ качествѣ председателя пришлось, разумѣется, пополнять. Крѣпился, крихтѣлъ, все разсчитывалъ къ совѣсти апеллировать, все и тянулъ. Спасибо, Анна Викентьевна вступилась, наконецъ, и заставила подать въ отставку. У меня вѣдь ихъ, голубчикъ, собственныхъ-то восемь человѣкъ, девятый въ дорогѣ.

— Да, количество значительное.



И. Е. Рѣпинъ.

Этюдъ.



— Вотъ прїѣдешь, самъ увидишь. Подросли, и новенькіе есть, перезнакомнись. Кстати, ты куда же отсюда и когда?

— Въ Осиповку, разумѣется, ѣду сегодня же. Вотъ только постричься думаю, въ Петербургѣ не успѣлъ.

— Брось, не стойтъ. У меня тебя Пашка не хуже Теодора острижетъ. Онъ у меня всѣхъ ребятъ стрижетъ. Я и машинку завелъ,—объяснялъ Николай Ильичъ удерживая за рукавъ, и ласково глазами, уже подернувшимся влагой отъ выпитаго портвейна, посмотрѣлъ на Свиридова.

— Послушай, ну, что тебѣ стойтъ! Поѣдемъ сейчасъ ко мнѣ. Успѣешь въ Осиповку. Что ты тамъ въ самомъ дѣлѣ забылъ? Вѣдь ты не телеграфировалъ, не писалъ?

— Не писалъ.

— Ну, вотъ видишь. Сдѣлай мнѣ эту дружбу. Нельзя же такъ не видаться нѣсколько лѣтъ и вдругъ разстаться чрезъ полчаса.

Но Свиридовъ остался непреклоненъ. Онъ былъ блѣденъ, утомленъ дорогой и не соглашался ни на какія измѣненія въ своихъ плапахъ.

Порѣшили на томъ, что Николай Ильичъ самъ довезетъ его до Осиповки, переночуетъ, а тамъ на утро видно будетъ.

— Да у тебя что же, экипажъ здѣсь, лошади свои? —спросилъ Свиридовъ, когда оба, расплатившись, сходили по широкой, уставленной растениями лѣстницѣ нарядной гостиницы, и швейцаръ внизу со всѣхъ ногъ бросился подавать имъ пальто.

Николай Ильичъ улыбнулся немного смущенной улыбкой.

— Не свои, голубчикъ. Признаться, не люблю я своихъ. На конюшнѣ у меня ихъ тамъ дѣлая инвалидная команда, и порядочная, полукровки есть. Только вѣчно, знаешь, исторія какая-нибудь со своими. Какіе-то тамъ у нихъ, чортъ ихъ знаетъ, всегда мокрецы, да постромки, гужи какіе-нибудь не въ порядкѣ. То ли дѣло ямщики. Знать ничего не знаешь, онъ тебѣ отвѣчаетъ за все, и посмотри какъ у него все поетъ. А какой тарантасъ!—въ восхищеніи закричалъ онъ, выходя на крыльцо.—Да ты что морщишься? Это Казанскій, видишь дрожини? Люлька, тебѣ говорю, настоящая люлька, никакая коляска не сравнится.

— Что же, я дѣню постоянство вкусовъ,—говорилъ Свиридовъ, послѣ того какъ размѣстили вещи и оба удобно устроились на пружинномъ спѣшии тарантаса, который дѣйствительно мягко покачивался на длинныхъ дрожинахъ, дѣлавшихъ нечувствительными толчки и неровности дороги.

— Ты, въ самомъ дѣлѣ, и прежде предпочиталъ ямщиковъ. Я помню, какъ ты прїѣхалъ къ намъ съ Сережей въ первый разъ въ институтъ вмѣсто извозчика на тройкѣ. Мнѣ тогда почему-то это ужасно понравилось. Но я рассчитывалъ, что ты успѣлъ измѣниться съ тѣхъ поръ. Сколько далъ тогда за карету, которую написалъ къ свадьбѣ?

— А это пзъ Вѣны, съ голубой обивкой... Дорого что-то, тысячи полторы съ доставкой, должно быть, обошлось.

— Довольно была страшная идея выписывать карету для путешествія въ нѣсколько саженой отъ Зайцевской усадьбы до церкви.

— Ну вотъ еще, мы въ ней съ Гулей визиты дѣлали. А какъ у нея профиль выдѣлялся на голубой обивкѣ, вотъ ты чего не видалъ! У нея вѣдь вашъ типичный Свиридовскій профиль. Не хуже твоего, какъ сейчасъ помню,—задумчиво проговорилъ Николай Ильичъ и вздохнулъ.

Свиридовъ, полулежа на сафьянной, мягкой подушкѣ, повернулся слегка и внимательно посмотрѣлъ на облысѣвшую, прикрытую глубоко надвинутымъ мягкимъ картузомъ, голову, Николая Ильича. Лица не было видно.

— Въ такомъ случаѣ извини, ты правъ, совершенно правъ,—серьезно сказалъ онъ.—Была, значитъ, хорошая минута, по настоящему хорошая, если помнишь о ней черезъ столько лѣтъ. За это не дорого и полторы тысячи отдать. Больше-то вѣдь и нѣтъ ничего.

— То-есть, какъ это нѣтъ ничего? Въ какомъ смыслѣ?

— Да такъ, въ самомъ буквальномъ смыслѣ. Есть хорошія минуты въ жизни и кромѣ нихъ нѣтъ ничего. Ничто другое по сравненію гроша ломаного не стоитъ, въ томъ числѣ и самая жизнь.

— Это что же, философія новая тамъ у васъ въ Петербургѣ?—съ неожиданной раздражительностью спросилъ Николай Ильичъ, откашливаясь, и затрясъ головой такъ, что подушка закачалась подъ обоями. Свиридову пришлось перемѣнить положеніе.

— Ничего нѣтъ кромѣ минутъ наслажденія? Ну, а другое-то все куда же вы дѣвали?

— То-есть, что же это другое?

— Да мало ли! Ну хотя бы... общественныя обязанности, долгъ, наконецъ. Свиридовъ поморщился и бросилъ папиросу.

— Былъ у меня пріятель, который любилъ говорить,—«долгъ прежде всего!» Такъ онъ его понималъ въ буквальномъ смыслѣ и долженъ, гдѣ могъ, главнымъ образомъ своему портному. А у тебя вѣдь, пожалуй, другое на умѣ? То-то вотъ и есть, разговоры о долгѣ въ тарантасѣ на большой дорогѣ, а я въ вагонѣ двѣ ночи не спалъ, да и тарантасъ твой хваленый, далеко не такой покойный, какъ казалось съ перваго раза. Или дорога здѣсь хуже пошла?

Николай Ильичъ не отвѣчалъ. Онъ видимо думалъ о другомъ и можетъ быть не слышалъ вопроса...

— А твою старую теорію наслажденія помнишь?—спросилъ онъ вдругъ, помолчавъ.

— Что жъ, я и теперь продолжаю думать, что наслажденіе это единственное, что заслуживало бы теоріи. Я, конечно, понималъ ее тогда реблчески, прямолинейно, но и въ то время она сослужила мнѣ свою службу и дала не одну хорошую минуту.

— Ну, по части наслажденія и хорошихъ минутъ, я полагаю, у тебя вообще недостатка не было въ жизни, помимо всякихъ теорій,—замѣтилъ Николай Ильичъ.—Ты объ насъ не слышалъ, а о тебѣ вѣсти сюда доходили. Что-то прямой разъ фантастическое! Не то Донъ-Жуанъ, не то, ужъ извини, что-то въ родѣ маркиза де-Садъ.

— Ну, что, вздоръ!—лѣниво отозвался Свиридовъ.

— Да позволь, однако, когда я самъ былъ въ Петербургѣ въ послѣдній разъ...

— Что же ты хочешь сказать?

— Да, вѣдь, я въ двѣ недѣли ни разу не могъ тебя застать. Ни единого раза, —выразительно протянулъ Николай Ильичъ.—Приходилъ, кажется, во всеѣ часы дня и ночи, и неизмѣнно дверь была заперта, а швейцаръ въ благодарность за мои рублевки конфиденціально докладывалъ мнѣ, что у тебя— «дама-съ» .

— Скотина! Что же онъ тебѣ пазывалъ кого-нибудь?

— Я, братъ, не допытывался, не все ли мнѣ равно. Но фактъ тотъ, что мы увидались только на вокзалѣ.

— Въ Петербургѣ все такъ живутъ.

— Ну, нѣтъ, голубчикъ, не все. Развѣ я самъ-то не жилъ! Да гдѣ же было мнѣ съ моимъ животомъ и кривыми ногами. Это ужъ твое счастье. Будетъ, по крайней мѣрѣ, чѣмъ вспомнить...

Свиридовъ вдругъ повернулся лицомъ и поправилъ низкую дорожную шапочку, красиво сидѣвшую на только-что подстриженныхъ, все еще густыхъ волосахъ.

— А хочешь ты знать, что я считаю, что совсѣмъ нечего будетъ вспоминать,—съ неожиданной серьезностью началъ онъ.—Было такъ... калейдоскопъ какой-то былъ, ежедневная непомѣрная суета и трата силъ и въ результатѣ— дурной вкусъ во рту, утомленіе, чады и угаръ.

— Да ужъ если ты это можешь говорить...

— И говорю! Хоть тебѣ и странно, можетъ быть, слышать, но повѣришь ли, иной разъ кажется, что настоящаго-то ничего и не было до сихъ поръ. Ну и не будетъ уже, разумѣется, теперь.

— Да тебѣ теперь сколько лѣтъ?

— Сорокъ,—отвѣтилъ Свиридовъ.

— Сорокъ,—повторилъ Николай Ильичъ и тотчасъ прибавилъ:—Сорокъ лѣтъ—бабьи вѣкъ, ну, а мы еще повоюемъ. Отощаль ты пемного... Ничего, заправишься живо на домашнихъ хлѣбахъ, молодцомъ еще будешь.

Свиридовъ комически охнулъ и перемѣнилъ позу.

— Гдѣ ужъ тутъ! Хоть бы до лежанки добраться скорѣе. Нѣтъ, положительно, хваленый тараптасъ не выдерживаетъ критики. Нельзя ли хоть потише? Все бока расколотило.

— Слышишь, тише, Игнашка!—приказалъ Стоцкій.—Тараптасъ не при чемъ, а дорога не наѣзженная. Это что тамъ впереди? Молодое?

— Такъ точно,—отозвался съ козелъ ямщикъ.

— Ну, такъ, разумѣется, это новая дорога, объѣздъ. Тутъ, братъ, у насъ цѣлая исторія...

— Да чье имѣніе-то? Я что-то не вспомню,—сказалъ Свиридовъ, приглядываясь къ картинѣ усадьбы, которая открывалась передъ ними со стороны горы.

— Ну, какъ же, Молодое, Карабинныхъ. Онъ самъ, Михаилъ Петровичъ Карабинъ, замѣститель мой, теперешній предѣдатель управы. У этого можно быть покойнымъ, начетовъ не будетъ никакихъ, ни растратъ. Все въ струпѣ. Глазные, говорятъ, обижаются, что онъ въ земскомъ хозяйствѣ единолично распоряжается своей властью, какъ у себя въ Молодомъ.

Свиридовъ слушалъ разсѣянно и внимательно всматривался въ картину, открывавшуюся съ горы.

Быль конецъ апрѣля. Снѣгъ сошелъ, но весна была поздняя, трава слабо

пробивалась изъ-подъ сѣраго слоя прошлогоднихъ стеблей и листьевъ, и только озими зеленѣли изумрудными кусками и полосками, да въ ближнемъ лѣсу, еще прозрачномъ и голомъ, темнѣли пятна высокихъ стрѣльчатыхъ елокъ и раскидистыхъ сосенъ.

Въ церкви па горкѣ перезванивали колокола. Гдѣ-то близко и громко куковала кукушка.

Солнце свѣтило съ безоблачнаго неба. Было празднично-свѣтло, ярко и звонко.

Дорога сдѣлала поворотъ и пошла у самой ограды усадьбы, усаженной стриженной акаціей.

— Да что такое, почему звонять? Сегодня праздникъ какой-нибудь, что ли? — спросилъ Свиридовъ.

— А какъ же, самый нашъ деревенскій—Егорій. Не знаешь развѣ, 23 апрѣля? Скотину выгоняютъ.

— Да пѣть, погоди, постой! Поютъ!.. Да вели же остановиться ради Бога! Это интересно.

Ямщикъ осадилъ лошадей и экипажъ остановился у угла каменной, невысокой ограды.

Жиденькія вѣтки стриженной акаціи еще пераслуптившейся, покрытой пухлыми, свѣтло-сѣрыми комочками почекъ, ничего не закрывали и приходились почти въ уровень экипажа.

Свиридовъ поднялся съ мѣста, уперся колѣномъ въ подушку сидѣнья и сталъ смотрѣть поверхъ акаціи.

По дорогѣ къ усадьбѣ, разметенной и усыпанной пеекомъ, со стороны церкви двигалась процессія.

Отчетливо и бодро, чуть-чуть что не сбиваясь на плясовой мотивъ, раздавалось: Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ...

Шли бабы и дѣвки съ иконами. Мужики несли старыя, колыхавшіяся въ воздухѣ, потемнѣвшія хоругви и два мальчугана, опоясанные полотенцами, заажженные фонари.

Все это готовилось уже войти въ ворота, когда навстрѣчу съ крыльца дома двинулась небольшая группа людей: молодая женскія фигуры въ бѣлыхъ платьяхъ, офицеръ въ мундирѣ и маленькій мальчикъ и нѣсколько человекъ прислуги, слѣдовавшей за господами.

Въ воротахъ произошла остановка.

Молодая, полная женщина выпустила ручку ребенка, и первая, перекрестившись, приняла на полотенцѣ небольшую икону Богоматери въ серебряной, ярко начищенной ризѣ. Остальные образа переходили съ рукъ на руки отъ пришедшихъ къ встрѣчавшимъ, и процессія уже трогалась дальше, когда Свиридову бросилась въ глаза бѣлая, странно тонкая, въ узкомъ платьѣ, фигура, очевидно, молодой дѣвушки, какъ бы въ смущеніи остановившаяся посреди дороги.

Образа уже были все разобраны по рукамъ. Рядомъ стояла крестьянская баба, держа крѣпко и прямо обѣими руками передъ самымъ лицомъ большое черное распятіе съ тусклымъ, почти полипавшимъ изображеніемъ. Дѣвушка, видимо, въ нерѣзительности безпомощно оглянулась назадъ, потомъ вдругъ перекрестилась, взялась руками за распятіе, стараясь держать его совершенно

такъ же, какъ баба, но не удержала и склонившись и подставивъ плечо, подняла на него большой черпый крестъ.

«Смертью смерть поправъ» ... пѣли удалявшіеся голоса.

— Кто? Кто это?—шепталъ Свиридовъ, толкая за плечо Николая Ильича, который также приподнялся съ мѣста и смотрѣлъ.

— Которая? Красивая, полная впереди?

— Да нѣтъ! Эта, вонъ эта съ крестомъ?

— Не знаю. Должно быть тоже одна пзъ дочерей,—такъ же шепотомъ отвѣтилъ Николай Ильичъ.

— Самая барышня, ихняя дочка,—отозвался вслухъ ямщикъ, безъ шанки съ козелъ наблюдавшій происходившее.

Процессія подходила къ мѣсту ограды, у котораго стоялъ экипажъ и восклицаніе ямщика обратило на себя вниманіе.

Когда бѣлая фигура, съ крестомъ на плечѣ, поровнялась съ нимъ, Свиридовъ снялъ шляпу и разглядѣлъ темные, серьезные глаза на минуту сурово поднявшіеся на него.

Потомъ, видимо, сгибаясь подъ тяжестью ноши, она на секунду остановилась, поднялась на ступени крыльца и исчезла въ дверяхъ.

— А красиво! Нѣтъ въ самомъ дѣлѣ—хорошо,—заговорилъ Свиридовъ послѣ молчанія, когда миновали усадьбу и тарантасъ покотился по большой дорогѣ, усаженной старыми березами.

— Въ Петербургѣ этого не увидишь. Будь я художникъ...

— Но ты не художникъ... Знаю я, что тебѣ показалось хорошо. Да не влией, пожалуйста. Что же будешь добиваться теперь знакомства?

— Гдѣ мнѣ? До того ли теперь!

— Какъ знаешь. А если бы очень захотѣлъ, протекцію оказать я могу.

— Такъ стало быть ты знакомъ?

— И да, и нѣтъ. Не большой я охотникъ до самого Карабина. Тяжелый характеръ, и своимъ въ семьѣ должно быть съ нимъ не легко... Этой съ крестомъ не знаю. Худа очень. Не мой вкусъ. Младшая, вѣроятно, ее еще и не показывали, а старшія дѣвочки премилыя. Одна замужемъ. Да вотъ ноѣдемъ, увидишь самъ.

— Ноѣдемъ,—отозвался Свиридовъ и прибавилъ соннымъ голосомъ.— А пожалуй, ты правъ, это дорога была виновата. Сейчасъ не трясеть, а въ самомъ дѣлѣ, укачиваетъ, какъ въ люлькѣ. Я буду спать.

— Спи. Я же тебѣ говорилъ.

Но и во снѣ Свиридову представлялась бѣлая, тонкая фигура съ крестомъ на плечѣ, и въ первый разъ со времени отъѣзда изъ Петербурга, сопровождавшагося тяжелыми, раздражительными сценами, ему начинало казаться, что еще есть нѣчто, не состоящее ни въ какой связи ни съ Петербургомъ, ни съ этими сценами, неспорченное и неопрошенное и что, вообще, можетъ быть, еще и можно и стоять жить.

Л. Нелидова.

УЗНИКЪ.

Я томлюсь въ тюрьмѣ въ оковахъ.
Тамъ—родные бьются братья...
Полонъ духъ порывовъ новыхъ,
Съ ними вмѣстѣ могъ бы встать я,
Вмѣстѣ съ ними могъ бы биться,
Раздѣлить труды и бѣды—
Умереть или добиться
Милой родинѣ побѣды.

Мнѣ не жаль разбитой жизни,
Мнѣ не страшень бои кровавыи,
Принесу себя отчизнѣ
Въ ратномъ полѣ съ новой славой.
Не свобода дорога мнѣ,
Дорога страна родная.
За рѣшеткой въ сѣромъ камнѣ
Гибнетъ сила молодыхъ!

В л. Г и л я р о в с к і й.



Свѣтлое дѣтское платье шью на песокъ, на припекъ,
Въ полдень, у самаго моря на отмели бѣлой,
Синія тѣни прозрачны, жаркія сосны высоки,
Нѣжно ласкается солнце къ рукѣ загорѣлой.
Стаи стрекозъ разноцвѣтныхъ вьются, звени, у залива.
Плачутъ рыбалки надъ моремъ протяжно и звонко.
Пестрый узоръ вышиваю въ полдень, склоняясь терпѣливо,—
Но для чужого, я знаю,—чужого ребенка.
Вѣтеръ мѣшаетъ работать, пальцевъ тихонько касаюсь.
Путаешь легкія складки и яркія нитки.
Матери съ смуглымъ ребенкомъ платье отдамъ, возвращаясь,—
Нитцей съ смѣющимся сыномъ у старой калитки.
Къ шеѣ подъ темнымъ загаромъ,—къ ручкамъ его смуглокожимъ,—
Знаю, пойдутъ огневые, шитые мною цвѣты...
Если бы только на сонъ мой не былъ такимъ онъ похожимъ,—
Темповолосымъ, какъ я,—голубоглазымъ, какъ ты.

А д а Ч у м а ч е н к о.

НА БРАТСКОЙ ЛИНИИ.

....Скоро я услышалъ первые выстрѣлы, и не зналъ, что это настоящіе выстрѣлы, подумалъ—мое воображеніе создаетъ ихъ. Но они были совершенно отчетливые, какъ во время наводненія, я даже могъ ихъ считать и пробовалъ считать, помогая себѣ этимъ заснуть, до ста, до тысячи, и все не зналъ, что это настоящіе выстрѣлы.

Съ грохотомъ что-то упало возлѣ меня и зазвенѣло. Я пошарилъ рукой возлѣ себя на полу и нашелъ упавшій со стѣны фонарь. «Вотъ,—подумалъ я,—какъ все пеладится этою ночью, придется еще платить за разбитый фонарь»—и вспоминалъ все: чужую землю, чужіе вагоны, для всѣхъ бесплатные поѣзда. Мы остановились на головной станицѣ, я вышелъ на платформу: горизонтъ предомною горѣлъ и гремѣлъ.

...Къ разсвѣту этотъ бой-гроза затихалъ и, когда проиѣли утренніе пѣтухи—а они и тутъ пѣли—бой сталъ, какъ море послѣ бури: качается море, но все ужъ не то. Что-то ворчало тамъ на невидимой линіи, потрескивало, какъ въ печкѣ дрова, пристукивало, будто работали тамъ кузнецы.

Мы съ докторомъ шли туда по дорогѣ, къ намъ подошелъ артиллеристъ и объявилъ намъ все:

— Строить мостъ.

За восемь верстъ отъ насъ черезъ рѣку строили мостъ, потому гремѣла артилерія и намъ казалось, будто работали тамъ кузнецы.

Я замѣтилъ возлѣ дороги два тополя и удивился, какъ они этой осенью теряли свои листья, верхушки были зеленыя, а внизу уже все облетѣло и казалось мнѣ, будто это все такъ отъ войны. Роца съ высокимъ мачтовымъ лѣсомъ тряслась, какъ въ горячкѣ, отвѣчая непрерывнымъ эхомъ на звуки войны. На поляхъ бродилъ скотъ, люди что-то копали, вѣроятно, попрежнему въ потѣ лица, добывая себѣ изъ земли пищу.

Звукъ, похожіе на морской прибой, насъ увлекали итти все впередъ по дорогѣ; тянуло насъ съ вершины утеса упасть въ страшное и прекрасное море. И мы все шли и шли, скатывая время отъ времени пинками сапога въ канаву то шрапнель, то гранату.

Повисло бѣлое плотное облачко и осталось надолго висѣть, какъ привязанное. Сказали: снарядъ разорвался. Блеснетъ въ глазахъ, какъ молнія, посмотришь туда и видишь ужъ только это привязанное облачко. Люди попрежнему копали землю, не обращая вниманія на это, и все вокругъ было по-старому, но только мнѣ стало казаться будто обыкновенная наша земля постепенно удалялась отъ насъ, а что тамъ люди копали землю—видѣнія прежняго древняго міра.

Необыкновенный гулъ наполнилъ воздухъ этого новаго вѣка земли, ростъ, удалялся и такъ еще разъ и еще. Напрасно я старался разсмотрѣть это пролетающее неизвѣстное, повертывался къ нему, провожалъ его. Спутники мои называли эти воздушныя существа «чемоданами» или «марфутками». Разъ не очень далеко отъ насъ это упало на землю и все вокругъ затряслось и загудѣло. Вырвался испуганный выводокъ куропадокъ, чумазыя дѣти бросились бѣжать къ мѣсту взрыва, но тѣ, кто пахалъ, Адамъ и Ева, даже не обернулись: они же, первые люди, живутъ далеко отъ насъ въ библейскихъ сказаніяхъ, имъ не слышно звуковъ XX вѣка.

Безъ ружья и пашки, неся въ рукахъ что-то, остановился солдатъ и угрозилъ па дѣтей. Опъ сказалъ намъ, что несетъ молоко на позиціи и указалъ рукой на ближайшую рощицу: тамъ будто бы и были эти позиціи.

Когда свистнула одна пуля, и другая, и третья, мнѣ стало такъ, будто на меня папали и кричатъ: «руки вверхъ!», но я навсегда рѣшилъ рукъ не поднимать, я очень боюсь, ожидаю со страхомъ слѣдующаго свиста, но рукъ не поднимаю и все иду, иду по тропинкѣ за солдатомъ. А то мнѣ вспомнилось, какъ однажды я, не захвативъ свѣчи, пошелъ за чьимъ-то огонькомъ въ кіевскія катакомбы и какъ со всѣхъ сторонъ стали показываться гробы, а я задыхался отъ испорченнаго воздуха, но вернуться, отетать нельзя, безъ свѣчки одинъ непременно заблудишься—и я шелъ все такъ впередъ и тамъ гдѣ-то въ глубинѣ земли въ подземной церкви слышалъ:

«Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положитъ за други своя» .

Солдатикъ нашъ вдругъ круто повернулъ въ бокъ и мы увидѣли недалеко отъ насъ большія орудія и людей. Но и тутъ возлѣ самыхъ орудій женщины старыя и молодыя выкапывали картошку и онѣ поемѣялись, какъ солдатъ обѣими своими руками несъ крынку молока. Только шутки женщинъ и улыбки были не тѣ, какъ у насъ. У насъ—какъ давно это было!—я помню у насъ на берегу толпу, стонущую и даже падающую отъ горя, женщинъ и между ними одного такого же какъ эготъ, солдата; долго не зналъ солдатъ, какъ ему быть, поглядывалъ на стонущихъ женщинъ, на по колѣно стоящую въ водѣ лошадь и какъ онъ вдругъ отстранилъ рукой отъ себя своихъ женщинъ, сѣлъ въ телѣгу и, не оглядываясь, поѣхалъ черезъ рѣку: назади осталась одна земля, за рѣкой другая.

День и ночь тарахтѣла по нашей дорогѣ телѣга смерти и смолкала у рѣки и тамъ за рѣкой, казалось памъ, ѣхали уже другіе, преображенные люди. И вотъ теперь я слышу ясно, какъ недалеко тарахтитъ машина смерти, словно оканчиваетъ всѣ эти работы по обыкновенной землѣ.

Мы взобрались на какой-то холмикъ, увидѣли рѣку и за рѣкой городъ. Тамъ у берега зеленый лугъ былъ вспаханъ снарядами до черна и у самага берега стояли разрушенныя деревья. Я видѣлъ, какъ снарядъ попалъ въ рѣку, поднялъ бѣлый столбъ, вода далеко разлилась по плоскому берегу и женщина съ корзиной

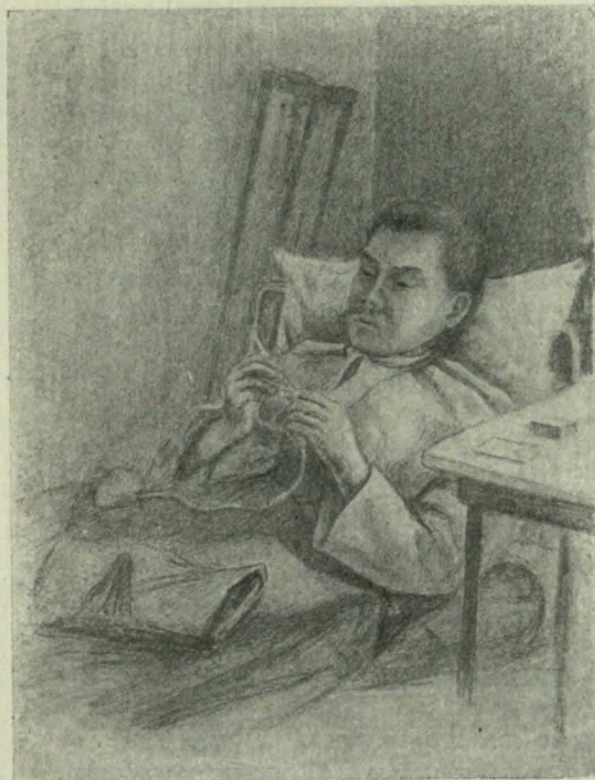
выползла изъ подвала подъ пулями собирать себѣ рыбу. Вокругъ стояли деревца, кустики, какъ далекая воспоминанія о нашей прежней землѣ.

Еще немного впереди мы прошли по дорогѣ и увидѣли длинный, ровный, какъ строчка, послѣдній рядъ людей, лежащихъ въ землѣ съ ружьями въ рукахъ, дальше ужъ работъ никакихъ не было, ни людей, ни животныхъ: мы достигли самой братской линии.

Чье-то строгое лицо посмотрѣло на насъ изъ земли и приковало на мѣстѣ, лицо было и знакомое и новое, такъ же, какъ и у солдатъ въ немъ былъ свѣтъ братской линии.

«Больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положить за други своя».

М. П р и ш в и н ъ.



Э. Н. Шаповаловъ.
«Госарцамъ — яснымъ раненымъ».

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ.

Былъ теплый день, короткий, тихій, ясный,
И ярко разгорѣлась ранняя заря.
Но поздней осени печальны зори:
Недвиженъ темный прудъ; недвиженъ, тонко-иѣженъ
Вѣтвей березовыхъ причудливый узоръ
Съ оставшимся кой-гдѣ оранжевымъ листкомъ.
И все сквозить: за садомъ даль видна,
И алые лучи дрожатъ межъ вѣтокъ темныхъ...
Печаль и красота. Конецъ и дня и лѣта.
А на востокѣ розовый отсвѣтъ
И въ сумракѣ лиловомъ за прудомъ
Встаетъ изъ темныхъ шхтъ безмолвная луна.
Но быстро день угасъ и все перемѣнилось.
Вдругъ стало холодно, туманъ легъ на поля
И снѣгомъ заблестѣлъ на высохшей травѣ.
И поблѣло все. Луна ужъ высоко;
Все свѣтомъ залито—холоднымъ серебромъ...
И торжествуя въ сянни голубомъ
Владычица небесъ всю ночь царитъ одна.
И стало радостно и бодро на душѣ...
Осенній ясный день—конецъ печальный лѣта,
А ночь морозная—начало, первый вѣстникъ
Холодной, свѣтлой сѣверной зимы.

Е. П.



ДОНЪ ЗИМОЮ.

Укрытъ снѣгами Донъ; корою ледяною
Подернулся; не дышитъ; мертвый сонъ
Тебя сковалъ надолго, старій Донъ.
Но ты взыграешься грядущею весною,
Оковы разобьешь и въ красотѣ своей
Стальнойю лентою заблещешь средь степей.
И степь зеленая одѣнется цвѣтами
И съ лаской тихою прильнетъ къ груди твоей.
Но не забыть тебѣ погибшихъ сыновей,
Ушедшихъ осенью съ несчетными полками...

А. Петровскій.

ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ.

Меблированный домъ «Золотой Якорь» былъ большой, сомнительной чистоты, и мимо по улицѣ тоже грязноватой, заставленной нечистыми домами, съ утра до ночи грохотали по выбитой мостовой тяжелыя дроги съ кипами товара, — съ вокзала нескончаемо тянулись въ городъ.

На улицѣ была своя жизнь, въ «Золотомъ Якорѣ» — своя.

На улицѣ, толкаясь, озабоченно шелъ народъ, то и дѣло съ визгомъ отворялись и затворялись двери закусочныхъ, чайныхъ и дешевыхъ ресторановъ, выплывалъ паръ изъ харчевенъ и извозничьихъ трактировъ, бесчисленно пестрѣли вывѣски магазиновъ, лавочекъ, мастерскихъ, и важно дымили въ мутное небо темныя трубы фабрикъ.

Въ «Золотомъ Якорѣ» днемъ и ночью шло одно и то же: прѣзжали, уѣзжали, швейцары вносили и уносили чемоданы и корзины прѣзжихъ, а по номерамъ горничныя, съ потъ сбиваясь, прибирали, вытирали пыль, оправляли постели, таскали кувшинами воду для умывальниковъ.

По коридорамъ, задравъ головы, какъ возбужденные кони, мелкой рысцой бѣгали официанты. Каждый изъ нихъ безстрашно несъ на ладони надъ плечомъ большой подносъ съ кипящимъ самоваромъ, съ посудой. Потомъ бѣгали рысцой, подавали обѣдъ, потомъ чай, потомъ ужины, потомъ на нѣсколько часовъ заведутъ глаза, и опять утро, чай, приборка, обѣды, ужины, такъ безъ перерыва недѣли, мѣсяцы, годы.

Звонки въ комнатѣ для прислуги не прерывались, трепали назойливо, не умолкая, — кто-нибудь зачѣмъ-нибудь да ужъ звалъ.

Иногда въ этотъ однотонный ходъ манины врывались выходящія изъ порядка собыгя.

Однажды въ номерѣ повѣсился прѣзжии кунецъ и внеслъ огромный, высунувъ черный языкъ, выпятивъ глаза, и толстая шея оплыла петлю.

Застрѣлился молодой офицеръ. Въ одномъ номерѣ прѣзжая помѣщица родила тройню, а въ другомъ послѣ безпробуднаго кутежа компанія вмѣсто дверей стала шагать въ окна и вывалилась со второго этажа.

Но события проходили, и снова только чай, обѣды, приборка, прѣзжающіе и уѣзжающіе.

Какъ и все, официантъ, Андрюшкѣ, изъ трегьяго буфета въ четвертомъ этажѣ не зналъ ни покоя, ни отдыха. Съ раннего утра до глубокой ночи онъ рысцой бѣгалъ по коридорамъ съ кипящимъ самоваромъ на ладони надъ

плечомъ, и лицо у него было землисто-блѣдное и матово отсвѣчивало клейкимъ потомъ. Страдалъ несвареніемъ желудка, имѣлъ красныя припухлыя слезящіяся вѣки, подѣдалъ и выпивалъ на ходу остатки отъ обѣдовъ и, казалось ему, жилъ на свѣтѣ лѣтъ семьдесятъ, а ему только на призывъ итти осенью.

Какъ и вся прислуга онъ жильцовъ дѣлилъ на ниже-рублевыхъ и выше-рублевыхъ. Свое человѣческое достоинство, гордость, часто надменность онъ проявлялъ по отношенію тѣхъ, кто платилъ за номеръ меньше рубля. Одинъ такой послѣ мѣсяца квартированія выложилъ тридцать копеекъ на чай. Андроникъ ихъ огодвинулъ и сказалъ:

— За баню больше плачу.

Все же, платившіе больше двухъ рублей за номеръ, казались ему красивыми, солидными, и онъ, не чувствуя униженія, кланялся имъ низко.

Мѣсяца въ два, въ три разъ урывался на полдня изъ гостиницы. Его обдавало уличнымъ просягомъ, движеніемъ, запахами. Заходилъ въ кинематографы, слонялся по улицамъ, подолгу стоялъ передъ витринами и раньше срока возвращался въ гостиницу, какъ заключенный въ неизбѣжную тюрьму.

А въ гостиницѣ въ сутолокѣ, въ бѣготнѣ, между дѣломъ гдѣ-нибудь ловилъ горничную въ пустомъ номерѣ, и они, торопясь, коротко отдавались любви, и опять каждый бѣжалъ по своимъ дѣламъ.

Жизнь была каторжная,—онъ такъ и называлъ ее. Невозможно бы было тянуть ее, если бы впереди гдѣ-то отдаленно, смутно не маячила свѣтлой точечкой надежда. Передъ глазами стояла судьба хозяина гостиницы: былъ онъ тоже офиціантомъ, много лѣтъ тянулъ ляжку. Однажды опился кутившіи молодой кучикъ.—Въ бѣлой горячкѣ повезли въ больницу, а офиціантъ предварительно опорожнилъ его карманы,—съ того и взялся, и теперь тысячами орудуегъ въ «Золотомъ Якорѣ».

И вся, сколько ни было здѣсь прислуги, вся она жила смутной надеждой такъ или сякъ, чистымъ или нечистымъ путемъ, а выбиться, какъ выбился хозяинъ.

Въ номерѣ пятьдесятъ второмъ жила дѣвушка съ миловиднымъ личкомъ, на которомъ странно сочеталась дѣтски-трогательная беззащитность, безпомощность и паглость.

Андроникъ, когда его спрашивали объ этомъ номерѣ, презрительно бросалъ: — Живымъ мясомъ торгуешь.

Глазами, подмигиваніями сзади, улыбочками онъ провожалъ ее и показывалъ другимъ. А она ему и всей прислугѣ платила тѣмъ же—обращалась надменно, капризничала, дожимала звонками, гоняла и, когда говорила, презрительно вздергивала носикъ, щурила глаза и роняла приказанія, не оборачиваясь, черезъ плечо.

Въ бѣломъ дѣвическомъ, нохожемъ на вѣнчалное, платьѣ слонялась она по цѣлымъ днямъ въ коридорѣ, подолгу стояла на верху устланной ковромъ лѣтницы, глядя на входящихъ, либо часами просиживала у окна или бесѣдовала по телефону смѣясь, кокетничая, не договаривая, полусловами, чтобъ не понимали швейцары.

А по вечерамъ изъ-за плотно закрытыхъ дверей ея номера слышался смѣхъ, звонъ рюмокъ, посуды, возня. Андроникъ то и дѣло приносилъ, стукнувъ въ дверь, закуски, вина. На диванѣ либо молоденькій офицеръ съ разгорѣвшимся лицомъ, либо студентъ, либо штатскій, все молодые, красивые, хорошо одѣтые, съ

деньгами—она разборчиво выбирала. У нея лицо все такое же пѣхло-дѣвичье, полудѣткое, и красиво вырѣзанныя поздри нагло раздуваются.

Андроникъ дѣлалъ свое дѣло, скользя мимо, все видѣлъ, точно въ полъ-глаза, не до того,—усталость, бѣготня, недосыпанія, боли въ желудкѣ, заботы, чтобы все было, какъ слѣдуетъ, наполняли все время, вниманіе, напряженіе. Его тоже не замѣчаютъ ни посѣтители, ни она—у нихъ свое.

Разъ ночью Андроникъ проснулся отъ свѣчи, которая ярко и назойливо безпокоила сквозь спяющіяся вѣки. Въ четвертомъ коридорѣ густо басомъ пробило три. Смутно и отдаленно пробило и во второмъ коридорѣ.

Андроникъ сѣлъ на постель, спустивъ мозолистыя пахнущія потомъ ноги.

— Чего такое?—недовольно спросилъ онъ, щурясь на свѣчу, игравшую радужнымъ ореоломъ.

— Слышь, хозяйнѣ велѣлъ... ступай, помоги... въ номеръ пятьдесятъ второй... слышь ты!..

Андроникъ разодралъ вѣки, потеръ кулакомъ. Стоялъ официантъ изъ нижняго этажа, гдѣ жилъ хозяйнѣ, и тѣни плясали по стѣнѣ,—свѣча что ли дрожала въ рукѣ.

— Да ты что же, прохладяться!.. говорю хозяйнѣ велѣлъ... Да не звони завтра объ этомъ, ежели не хочешь вылетѣть...

Поставилъ свѣчу и торопливо ушелъ.

Андроникъ почесалъ поясницу, потеръ еще кулакомъ глаза и сталъ натягивать брюки и штиблеты.

— И чортъ ихъ давить, и ночью покою нѣтъ. Въ первомъ ляжешь, въ шесть вставай, да ночью поднимаютъ—каторга! Гдѣ такіе порядки.

Онъ одѣлся, глянулъ въ огрызокъ зеркальца, пригладилъ ладонью волосы и, взявъ свѣчу, вышелъ изъ-подъ лѣтницы, гдѣ помѣщалась его каморка.

Въ длинномъ коридорѣ, слабо освѣщая, одиноко горѣла дежурная лампочка, и мѣрно чикала маятникъ большихъ отъ пола до потолка часовъ.

Однообразно темнѣли плотно занертыя двери, тая спящихъ, и у каждой двери нѣмыми свидѣтелями проведеннаго дня чернѣли выставленные парами ботинки.

Андроникъ подошелъ къ пятьдесятъ второму, постучалъ—тамъ было молочно тихо, хотѣлъ стукнуть еще разъ, раздумалъ и нажалъ. Дверь отворилась, и разомъ необыкновенное, чего онъ меньше всего ожидалъ, кинулось въ глаза: на полу посреди комнаты стоялъ тазъ съ водой, возлѣ таза—кровать, на кровати, выдѣляясь черными косами на бѣлой подушкѣ, дѣвушка съ страшно осунувшимся горячечнымъ лицомъ, черными кругами вокругъ ввалившихся глазъ. Рослая плечистая пожилая баба возилась возлѣ.

Андроникъ на секунду загнулся въ дверяхъ,—туда-ли попалъ. Баба грубо бросила:

— Ну иди что-ли... затвори... свѣти, держи свѣчку.

Тонкій задвленный стонъ пронесся по комнатѣ.

— Цыцъ!.. али оголтѣла...

Андроникъ брезгливо отвернулся, сталъ лазить глазами по потолку, а со свѣчи стало капать на полъ.

... «Хозяйнѣ велѣлъ... чай и самъ пользовался тутъ... гостиницѣ доходить... скандаловъ не бываетъ... умѣетъ...»

— Держи свѣчу-то, уродина!..

Андроникъ глянулъ на подушку: на провалившемся лицѣ была несказанная, нечеловѣческая мука. Оскаленные зубы судорожно закусили платокъ, а руки царапали простыню. Стонать нельзя было—безпокойство квартирантамъ. Бабка возилась.

Глухой сквозь стиснутые зубы стоить все-таки прорвался.

— Цыцъ, тебѣ говорятъ!.. а то брошу да уйду.

Потная маленькая дѣвчья рука схватила руку Андроника, и глянули съ безумной мольбой глаза.

Андроникъ съ изумленіемъ глядѣлъ въ эти глаза,—только сейчасъ онъ увидѣлъ ихъ, увидѣлъ это незнакомое, такъ непохожее на прежнее лицо.

— Не капай свѣчкой, остолопина!..

Андроникъ, не отрываясь отъ ея молящихъ глазъ, вдругъ почувствовалъ, какъ она притянула его руку и, не отпуская, стала цѣловать сухими потрескавшимися губами.

У него задергало губы; бабка, кровать, черные волосы на бѣлой подушкѣ подернулись туманомъ, а свѣча радужно окрасилась. И, не сдержавшись, вдругъ приналъ къ изголовью и, скрипя зубами, всхлипнулъ, крѣпко держа маленькую потную ручку.

Кто-то билъ его по затылку, таскалъ за волосы.

— Остолопина... собака проклятая! постелю подожжешь... чортъ окаянный навязался на мою душу грѣшную. Прислали сатану оголтѣлую...

Потомъ ему нужно было выносить тазъ, убрать тряпки, притереть полъ, и онъ все дѣлалъ, мало понимая, судорожно всхлипывая, и сквозь радужный ореолъ колебалось пламя забытой на полу свѣчи.

А утромъ то же: звонки, самовары на ладони, завтраки, обѣды, предъявленіе счетовъ, ожиданія на чай. Только прислуга спрашивала:

— Чего-то у тебя глаза пухлые, ажъ выворотило вѣки, красныя, либо нынѣшествовалъ ночьку-то?..

— Такъ чегой-то. Все къ доктору собираюсь... Совсѣмъ миѣ нельзя смотрѣть на свѣтъ, а также и табачный дымъ вредить.

Мѣсяца черезъ полтора стали заходить въ пятьдесятъ второй тѣ же офицеры, студенты, штатскіе. Заглядывалъ и хозяинъ.

Также грохотали по грязной, тѣеной улицѣ мимо гостиницы драгиля съ вокзала, пріѣзжали и отъѣзжали постояльцы, швейцары вносили и выносили багажъ, и, не смолкая, звонили звонки въ комнаты прислуги.

На лѣстницѣ часто бѣлѣла дѣвчья фигура въ бѣломъ платьѣ или переговаривалась, смѣясь, полусловами по телефону. И когда, показывая на нее, спрашивали у Андроника:

— Кто такая?

Онъ, полухмыляясь и дѣлая бровями, говорилъ:

— Такая...

А. С е р а ф и м о в и ч ѣ .

СЦЕНЫ У МИРОВОГО СУДЬИ.

В. А. Слѣпцова¹⁾.

1—Диффамация. 2—Гробовщики. 3—Гусь.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Судья. | 7. Старый гробовщикъ. |
| 2. Письмоводитель. | 8. Генеральскій племянникъ. |
| 3. Кунецъ. | 9. Мужикъ. |
| 4. Кухарка. | 10. Городовой. |
| 5. Писарь. | 11. Дворникъ. |
| 6. Молодой гробовщикъ. | 12. Сторожъ. |

СЦЕНА I.

ДИФФАМАЦІЯ.

Судья (за столомъ письменодителю). Иванъ Петровичъ, дѣло купца Семибратова у васъ?

Письмоводитель (за другимъ столомъ). Нѣтъ-съ, я его къ вамъ на столъ положилъ.

Судья. Здѣсь не видать.

Письмоводитель (подходить къ судѣ). А вотъ-съ.

Судья (громко). Кунецъ Семибратовъ здѣсь? (Въ публикѣ:—«здѣсь»). Пожалуйте сюда (кунецъ выходитъ изъ-за загородки и подходитъ къ столу). Вы кунецъ 1-й гильдіи Егоръ Егоровичъ Семибратовъ?

Кунецъ. Точно такъ-съ.

Судья. Вы получили повѣстку?

Кунецъ. Получилъ-съ.

Судья. Я вызывалъ васъ по дѣлу объ оскорбленіи словами мѣщанки

¹⁾ Предлагаемыя сцены извѣстнаго беллетриста 60-хъ годовъ В. А. Слѣпцова въ собраніе его сочиненій не вошли.

Аксиньи Федоровой Полетаевой. Полетаева, подойдите сюда (кухарка подходит къ столу). Знаете вы эту женщину?

Купецъ. Какъ не знать: она у меня въ кухаркахъ жила.

Судья. Что вы можете о ней сказать?

Купецъ. Могу сказать, что она совсѣмъ не женщина.

Судья. Какъ не женщина?

Купецъ. Когда еще будетъ женщина, а пока дѣвка.

Судья. Это все равно. Такъ что же вы скажете?

Купецъ. На счетъ чего-съ?

Судья. А вотъ на счетъ этого дѣла?

Купецъ. Да я, признаться, не разберу, какое-такое дѣло-съ?

Судья. Я вѣдь ужъ вамъ сказалъ: бывшая кухарка ваша, мѣщанка Полетаева жалуется, что вы оскорбили ее неприличною бранью.

Купецъ. Помилуйте, какое же это дѣло? я думалъ, въ самомъ дѣлѣ какое-нибудь взысканіе...

Судья. Ругали вы эту женщину?

Купецъ. Какъ не ругать, я ихъ всегда ругаю.

Судья. Не имѣете права.

Купецъ. Это прислугъ-то?

Судья. Никого.

Купецъ. Да ежели ихъ не ругать, такъ что жъ это будетъ?

Судья. Никто не имѣетъ права оскорблять другого.

Купецъ. Такъ-съ. Стало быть, тепериче имъ даны такія права, что хозяинъ одно средство—клапаться имъ должепъ въ ноги.

Судья. Никто вамъ кланяться не предлагаетъ, вамъ совѣтуютъ только быть повѣжливѣе.

Купецъ. Повѣжливѣе. Хорошо-съ. Ну позвольте, будемъ такъ говорить. Извините, имя отечество ваше не знаю: вы кухарку нанимаете?

Судья. Это до настоящаго дѣла не касается. Я для васъ судья и больше ничего.

Купецъ. Судья? Хорошо-съ. Положимъ такъ, что судья. Дѣйствительно. Но вы супругу у себя имѣете?

Судья. Это къ дѣлу пойдетъ.

Купецъ. Какъ же нейдетъ, помилуйте? Если вы служащій человѣкъ, обязаны семействомъ, должны вы прислугу держать, или нѣтъ? Ну, не прислугу, скажемъ такъ, что женщину. И неужели жъ вы ей не можете сдѣлать внушеніе? Да вотъ и сейчасъ у меня кучеръ лошадь заковалъ. Что жъ мнѣ благодарить его за это?

Судья. Ругаться нельзя. Попимаете?

Купецъ. Да вѣдь для ихпей же пользы.

Судья. Мнѣ некогда съ вами разсуждать. Вы признаетесь, что ругали Полетаеву?

Купецъ. Ругалъ.

Судья. За что же вы ее ругали?

Купецъ. Ахъ, ты Господи! опять-таки—за что! обругалъ, ну и конечно дѣло. За безпорядокъ.

Судья. За какой безпорядокъ?



С. А. Виноградовъ.
«Играешъ».



Т-во Лт. Ткач. И. КУШНЕРЪ в М. Москв.

Купецъ. Обыкновенно, въ ихнемъ сословии—приучаютъ писарей, полную кухню обожателей паведуть.

Кухарка. Никогда я обожателей не приучала въ кухню ходить, а что ходить ко мнѣ одинъ человѣкъ потому случаю, что я замужъ выхожу. И веѣмъ жильцамъ это извѣстно.

Судья (кухаркѣ): Разскажите, какъ было дѣло.

Кухарка. Я ихня рубашки стирала, только вышла на лѣтницу изъ корыта выливать, они меня тутъ и назвали при всеѣ лѣтницѣ.

Судья. Какъ же онъ васъ назвалъ?

Кухарка. Я не могу этихъ словъ сказать. Вотъ они слышали (показываетъ на писаря).

Купецъ. А можетъ ты врешь.

Кухарка. У меня свидѣтели есть.

Купецъ. Важное кушанье—свидѣтели! Да я тебѣ за 3 рубля сеѣчасъ трехъ свидѣтелей представлю.

Судья. Не говорите пустяковъ. (писарю): Подойдите сюда. Вы кто такой?

Писарь. Я женихъ-съ, желаю сочетаться законнымъ бракомъ.

Судья. Съ кѣмъ сочетаться?

Писарь. Съ ними-съ.

Судья. Вы слышали, какъ купецъ Сембратовъ оскорбилъ вашу невѣсту.

Писарь. Слышалъ-съ.

Судья. Что же вы слышали.

Писарь. Существенную клевету-съ.

Купецъ. Какую клевету?

Писарь. Диффамацию-съ.

Купецъ. Ну, это ты врешь. Сволочью я дѣйствительно ее назвалъ, шлюхой, а этакого слова я и самъ ероду не слышалъ.

Кухарка. Иѣтъ они не такъ меня назвали.

Судья. А какъ же?

Кухарка. Вотъ извольте ихъ спросить (показываетъ на писаря).

Судья (писарю). Вы можете сказать?

Писарь (оглядываясь). Сказать не могу, а написать могу-съ.

Судья. Ну, напишите (писарь пишетъ купцу). Такъ вы ее назвали?

Купецъ. Позвольте, я безъ очковъ не вижу (надѣваетъ очки и читаетъ про себя). А шутъ его знаетъ, можетъ и такъ назвалъ. Развѣ все упоминашь. Есть мнѣ когда думать объ этихъ пустякахъ.

Писарь. Для васъ это можетъ быть пустяки, но для насъ совѣмъ на-противъ.

Купецъ. Да, вы что же это за безчестіе что ли желаете съ меня содрать?

Писарь. Мы съ васъ не возьмемъ чѣмъ вы смотрите, а не то что деньги. Коль скоро они честныя дѣвушки и желаютъ принять законъ.

Купецъ. Да что ты ко мнѣ съ разговоромъ-то съ своимъ. Ты кто та-кой?

Писарь. Я женихъ.

Купецъ. А я тебя знать не хочу.

Судья (писарю и кухаркѣ). Такъ вы не требуете денегъ за безчестіе?

Писарь. Мы такъ желаемъ, чтобы г. купецъ пзвинился передъ нами.

Купецъ. Это передъ тобой-то?
Писарь (показываетъ на кухарку). Нѣтъ, вотъ предъ нами.
Купецъ. Передъ дѣвкой? Да не жирно ли будетъ, неравно облопаечесь.
Судья. Выражайтесь повѣжливѣе.
Купецъ. Помилуйте, что жъ это такое: мнѣ передъ ней извиняться.
Судья. Что жъ дѣлать, оскорбили такъ и извинитесь.
Купецъ. Нѣтъ-съ, ужъ это будетъ слишкомъ низко.
Писарь. А мы иначе не согласны.
Купецъ (писарю). А ты вотъ что, любезный: ты лучше отойди отъ грѣха.
Поди сядь вонъ туда на мѣсто.
Судья (писарю). Уйдите за рѣшетку. (купецъ): Ну, кончайте же скорѣе.
Извинитесь и дѣлу конецъ.
Купецъ. Эхъ, ей Богу! Ну, да... только говорить не хочется. Вотъ что я вамъ скажу, ваше высокородіе. Будемъ такъ говорить: бросимте это дѣло, потому... какъ честный человѣкъ, вся это коммерція гроша мѣднаго не стоитъ.
Судья. Да вѣдь и я то же говорю.
Купецъ. Положите съ меня штрафъ что ли какой ни на есть.
Судья. Штрафа не нужно.
Купецъ. Ну, такъ вотъ что-съ: въ такомъ случаѣ позвольте я сдѣлаю пожертвование въ пользу голодающихъ самарцевъ.
Судья. Это вы можете, а извиниться все-таки нужно.
Купецъ. Ахъ, ты Господи! Это чистая бѣда (кухаркѣ): Слушай ты, Аксинья, что я тебѣ скажу: получай ты съ меня красную бумагу и Богъ съ тобой, съ безчестіемъ съ твоимъ.
Кухарка. Я денегъ вашихъ не желаю.
Купецъ. Три синихъ.
Кухарка. Ничего мнѣ не надо.
Купецъ (вынимаетъ деньги). Говорять тебѣ бери, дура, 15 р. на улицѣ не найдешь. Эй, бери, пока даю. Ну, что съ тобой дѣлать, на четвертную, такъ и быть разживайся съ моей легкой руки. Вотъ тебѣ на свадьбу двадцать пять.
Кухарка. Не надо.
Купецъ (прячетъ деньги). Не надо? Чего жъ тебѣ надо? Какого рожна?
Кухарка. Какъ вы меня передъ людьми осрамили, такъ и теперь передъ людьми должны извиниться. Скажите: виноватьъ.
Купецъ. Сказать виноватьъ? Что жъ тебѣ отъ этого легче что ли будетъ? Ну, виноватьъ, виноватьъ, виноватьъ... Слышь ты, виноватьъ, и еще виноватьъ, ви-но-ватьъ. Извините ради Бога, ви-но-ватьъ.
Кухарка. Да это вы насмѣхъ, а вы хорошенько.
Купецъ. Хорошенько? Извольте: мамзель, пардонъ!

СЦЕНА 2-я.

ГРОБОВЩИКИ.

Судья. Вы кто такой?

1-й Гробовщикъ. Я-съ?

Судья. Чѣмъ вы занимаетесь?

1-й Г р о б о в щ и к ъ . Гробами-съ.
Судья. То-есть вы гробовщикъ.
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Точно такъ-съ.
Судья. А вы кто?
2-й Г р о б о в щ и к ъ . И мы тоже по этой части-съ.
Судья. Также гробовщикъ?
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Также-съ.
Судья (къ 1-ому). Въ чемъ же ваше дѣло?
1-й Г р о б о в щ и к ъ (подастъ бумагу). Вотъ-съ прошение...
Судья. Да вы лучше такъ на словахъ расскажите.
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Я генерала обмываль-съ...
Судья. Что такое?
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Генерала обмываль-съ...
Судья. Ну такъ чтожъ?
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Обмывши генерала все какъ должно, приношу я гробъ на мѣсто и наконецъ того вижу: генераль въ чужомъ гробу лежать.
Судья. Какъ въ чужомъ? Чей же это гробъ?
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Мой-съ. Я для нихъ дѣлалъ гробъ.
Судья. Для кого?
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Для генерала-съ.
Судья. Для какого генерала?
2-й Г р о б о в щ и к ъ . —Для этого самаго-съ.
Судья (указывая на 1-го гробов.). Да вѣдь и онъ тоже?
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Я этого ничего не знаю-съ. Я съ генерала мѣрку снималъ.
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Да вѣдь я ихъ обмывалъ.
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Ну такъ чтожъ? Эка важность! Нешто безъ тебя не сумѣли бы обмыть?
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Нѣтъ, позвольте. Это какъ же теперь: одинъ будетъ обмывать, а другой хоронить? Развѣ это можно? Сейчасъ десять человѣкъ придутъ, всякій по гробу принесетъ. Стало быть, всякій можетъ хоронить? Какой это законъ? Я обмывалъ, я и хороню.
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Да тебя кто звалъ обмывать? Ты самъ прибѣжалъ (судьѣ). Они, Господи благослови, не успѣли скончаться, а онъ съ водой лѣзетъ обмывать. Я пришелъ мѣрку снимать...
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Когда ты мѣрку снималъ? Съ живого что ли?
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Это ты съ живого снималъ. Я пришелъ ужъ они на столѣ лежать.
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Да вѣдь на столѣ-то я ихъ клалъ.
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Ну, и получай за свои хлопоты рубъ серебромъ. Вотъ тебѣ и весь разговоръ.
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Рубъ серебромъ! Нѣтъ, врешь, тутъ не рублемъ пахнетъ. Я съ ними рядился, я брался хоронить, чтобы все какъ должно въ полномъ парадѣ: малиновый гробъ, шесть подушекъ съ орденами, пѣвчие, факелы, однимъ словомъ, со всей церемоніей...
2-й Г р о б о в щ и к ъ . Это кто же? Это ты съ церемоніей?
1-й Г р о б о в щ и к ъ . Точно такъ-съ.

2-й Г р о б о в щ и к ъ. Въ полномъ парадѣ? Ты можешь хоронить?

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Да не беспокойтесь. Что вы объ себѣ такъ мечтаете? Не хуже васъ похоронимъ.

2-й Г р о б о в щ и к ъ. Это на хромыхъ лошадяхъ-то! Хм! (Смѣется.) А ты постыдился бы хоть сколько-нибудь. Что ты народъ-то смѣшишь? Вѣдь все смѣются надъ тобой. Ну, гдѣ тебѣ хоронить? Какой ты гробовщикъ? Развѣ ты можешь за такое дѣло браться? Кабы не холера, такъ вѣдь тебѣ самому бы въ факельщики идти. Вѣдь ты только холерой и живешь. Голь несчастная! Водовозъ! Тебѣ только воду возить, а ты хоронить берешься.

С у д ь я. Однако вы не очень. Выразайтесь повѣжливѣе.

2-й Г р о б о в щ и к ъ. Да помилуйте, вашескородіе, я кладу генерала въ гробъ, а онъ лѣзетъ въ залу, другой тащить. На что это похоже! Его гонять: куда ты лѣзешь? а онъ у меня изъ рукъ покойника вырываетъ, въ свой гробъ хочеть класть.

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Да вѣдь я его обмывалъ.

2-й Г р о б о в щ и к ъ. А мнѣ какое дѣло.

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Какъ какое дѣло? Я брался хоронить.

2-й Г р о б о в щ и к ъ. Опять-таки это меня не касается.

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Какъ не касается? Что жъ ты грабить что ли хочешь?

С у д ь я. Погодите! (къ 1-му гробовщ.) Чего вы желаете?

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Я желаю получить съ него убытки.

С у д ь я. Какіе убытки?

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Да какъ же, помилуйте, я сдѣлалъ гробъ...

С у д ь я. Ну-съ?

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Куда жъ мнѣ теперь его дѣвать?

С у д ь я. Продадите кому-нибудь.

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Кто-жъ его купить? Скоро ли эакого случая дождешься? Я человекъ небогатый. Опять церемонія...

С у д ь я. Да вѣдь вы не дѣлали церемоніи?

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Это все равно-съ.

С у д ь я. Нѣтъ, не все равно.

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Помилуйте, все равно. Я брался хоронить. Мы эакого случая годами ждемъ.

С у д ь я. Однако вы на церемонію никакихъ расходовъ не дѣлали?

1-й Г р о б о в щ и к ъ. Что жъ расходы-съ! Намъ дорогъ случай. Пока я съ генераломъ возился, я можетъ трехъ покойниковъ упустилъ: вонъ въ Подъяческой тоже купецъ умиралъ. я прибѣгаю, а ужъ они его обмыли и мѣрку сняли. Съ Подъяческой, взялъ пзвоцника на Литейную, тамъ у меня тоже барыня умирала—опять не захватилъ.

С у д ь я. Такъ что же вы желаете?

1-й Г р о б о в щ и к ъ. А я такъ желаю, чтобы гробъ ему отдать, а мнѣ съ него получить, т.-е. за безпокойство.

Г о л о с ъ изъ публики.

Господинъ судья, позвольте мнѣ сказать!

С у д ь я. Что вамъ нужно?

Г о л о с ъ. Они оба врутъ.

Судья. Какъ врутъ?

Голосъ. Этотъ генераль—это мой дяденька. Онъ не успѣлъ еще скопчаться, какъ они ворвались въ домъ. Я прихожу, вижу, они его такъ и рвутъ: одинъ съ головы мѣрку спимаесть, другой съ погъ, этотъ ведро воды песеть—обмывать. Я велѣлъ человѣку ихъ выгнать вонъ; теперь прихожу,—въ залѣ два гроба стоять. Что же это такое! Они полощъ домъ гробовъ наставятъ—куда же ихъ дѣвать! Прикажите имъ, господинъ судья, чтобы они взяли свои гроба, памъ ихъ не нужно. Я ужъ заказалъ.

Судья. Гдѣ же эти гроба? У васъ въ домѣ?

Голосъ. Нѣтъ, я велѣлъ вынести, я ихъ въ полицію огправилъ.

Судья. Въ полицію?

Голосъ. Да-съ. Ихъ сейиасъ вотъ повезли на извозчикѣ.

Судья (гробовщикамъ). Можете получить ваши гроба. Ступайте!

1-й Гробоущикъ. Что жъ это такое? Я не возьму-съ.

2-й Гробоущикъ. Мы не можемъ.

Судья. Какъ не можете? Вы должны ихъ взять обратно.

1-й Гробоущикъ. Никакъ невозможно-съ.

Судья. Почему же это?

1-й Гробоущикъ. Да, помилуйте, это нельзя-съ. Конфузите товаръ. У насъ никто покупать не станеть. Кому же охота?

Судья. Да почему же? Почему?

2-й Гробоущикъ. Товаръ конфузите! Помилуйте! Мы будемъ жаловаться!

Судья. Можете!

1-й и 2-й Гробоушки. Мы будемъ жаловаться.

СЦЕНА 3-я.

ГУСЬ.

Мужикъ (съ гусемъ за сценой кричитъ). Васъ, дьяволѣвъ, казнить мало, голову снать! Грабители, душегубы! Нѣтъ, врешь, стой! Живъ не разстанусь... Черти оглашенные! (входя). Это что жъ такое? Нешто такъ можно? Это какіе же такіе порядки? Да! Ишь ты! Грабить на улицѣ! Это какъ же такъ? Нѣтъ, стой!

Судья. Что случилось? Что вамъ нужно?

Мужикъ. Ограбили. Денной разбой. Это что же такое?

Судья. Кто васъ ограбилъ?

Мужикъ. Вотъ онъ разбойникъ! Вотъ! Вяжите его.

Городовой. Стой, мужикъ, не шуми.

Мужикъ. Тоже дворники! Нешто это дозволяется такъ дѣлать, грабить на улицѣ.

Судья (дворнику). Вы дворникъ?

Мужикъ. Извѣстно они первые грабители. Это все одна шайка у нихъ подобрана.

Дворникъ. Поди ты къ чорту! Кто тебя грабилъ?

Мужикъ. Ты, разбойникъ. Извѣстно кто.

Городовой. Позвольте вамъ доложить, вашескродіе.

Судья. Что такое?

Городовой. Это не онъ-съ, это извоцники-съ. Я самъ видѣлъ.

Мужикъ. Чаво ты видѣлъ? Какого ты дьявола видѣлъ? Меня грабили-то, небось, такъ я знаю.

Судья (мужику). Что же онъ сдѣлалъ?

Мужикъ. Бѣду сдѣлалъ.

Судья. Какую бѣду?

Мужикъ. Таковую бѣду, что хуже не надо.

Судья. Что же такое?

Мужикъ. Гуся задавилъ.

Судья. Какимъ же это манеромъ?

Мужикъ. Обнаковенно колесомъ. Ишь ты, вотъ глотку то ему отхватилъ. Это какіе же такіе порядки?

Судья. Городовой, при васъ это было?

Городовой. Точно такъ, при мнѣ-съ.

Судья. Разскажите, въ чемъ тутъ дѣло.

Городовой. Тенериче, гналъ онъ гусей-съ...

Судья. Ну!

Городовой. Извоцники зачали баловаться—кидать овесъ. Этотъ самый гусь...

Мужикъ. Чаво гусь? Что пустое болтать—гусь, гусь. Знамо гусь, какая у него шея? А онъ на што лошадь дергалъ?

Судья. Кто лошадь дергалъ?

Мужикъ. Вотъ парнишка-то этотъ самый, дворникъ, сейчасъ подекочилъ, хватъ ее подъ-уздцы, я только ахнулъ, а ужъ онъ протянулся, только пожками дрыгнулъ.

Судья. Пстойте! Я ничего не понимаю. Говорите по порядку. Что такое: кто пожками дрыгнулъ.

Мужикъ. Да гусь.

Судья. А вы сами кто такой?

Мужикъ. А я евоный хозяинъ.

Судья. Чей хозяинъ?

Мужикъ. Да гусевъ... Вотъ этого гуся я хозяинъ.

Судья. Такъ въ чемъ же дѣло, я все-таки не пойму.

Мужикъ. А больше ничего, что сказнить его за это, разбойника, голову снать, чтобъ онъ впередъ этого не дѣлалъ.

Судья. Ну ужъ это мы безъ васъ разсудимъ. Городовой, объясните, что вы видѣли?

Городовой. Я докладывалъ, вашескродіе, что гналъ онъ гусей-съ, извоцники зачали баловаться, кидать овесъ, этотъ гусь потянулся къ овсу, его извоцникъ и переѣхалъ по этому самому мѣсту.

Мужикъ. Извоцникъ! А онъ нашто отъ меня побегъ? Я за нимъ, а онъ въ кабакъ. На что жъ онъ побегъ корониться?

Дворникъ. Врешь. Я не хоронился.

Судья (городовому). Гдѣ же этотъ извозчикъ?

Городовой. Онъ ускакаль-сь.

Судья. Почему же вы его не задержали?

Городовой. А это не мое дѣло-сь. Тамъ на мосту окоподочныйи стоитъ.

А я, что касается, вижу, напимѣрь, что этотъ мужикъ зашумѣль, публика собирается, я говорю, разойдитесь, господа, потому нехорошо, а онъ тѣмъ временемъ хватаетъ парня за это самое мѣсто, зачалъ его тащить, жилетку ему разорвалъ. Я ему докладываю, вашескродіе: ты, мужикъ, будь поскромнѣе, а онъ кричитъ, подавай деньги. Я вижу, эта ихняя прокламація будетъ слышимъ долго продолжать, а публика столпилась, взялъ обоихъ въ участокъ и отвель-сь.

Судья (мужику). Слышите, что онъ говоритъ?

Мужикъ. Чаво слушать? Слушать-то нечего, потому пустое болтаетъ. Я говорю, онъ задавилъ, самъ видѣль.

Дворникъ. Чудакъ! Да на что мнѣ его давить? Какая мнѣ корысть? Да хоть бы у тебя все стадо передушили. Мнѣ-то что?

Мужикъ. Знамо озорство. Вы дворники—первые озорники. Работы у васъ нѣтъ никакой. Только вамъ и дѣла что...

Дворникъ. Что гусей давить? А ты вотъ что: ты лучше прими присягу, что ты видѣль, какъ я его давилъ, я тебѣ такъ и быть рубль серебромъ заплачу.

Городовой. Вотъ и я то же совѣтовалъ, вашескродіе.

Мужикъ. Да мнѣ что присягать? Мнѣ же убытокъ, да я же и присягай. Нѣтъ, ты присягай, а я буду глядѣть.

Судья (мужику). Если присягать, такъ ужъ вамъ.

Дворникъ. Что жъ ты? Ну, присягай!

Мужикъ. Это за рубль-то?

Городовой. Что-жъ такое? Богъ-то чай все равно, Онъ видитъ.

Мужикъ. Какъ же! Нѣтъ, не все равно. Давай два, такъ и быть, присягну.

Городовой. Это неправильно. Присягать, такъ и за рубль присягай.

Дворникъ. Что жъ ты? Ну, присягай!

Мужикъ (подумавъ). Нѣтъ, я не стану присягать, такъ побожиться пожалуй побожусь. Гдѣ у васъ Богъ отъ?

Дворникъ. Нѣтъ, постой, ты скажи впередъ, какъ ты божиться станешь.

Мужикъ. Какъ? Извѣстно какъ: изъ-за гусей дѣло вышло, гусями и побожусь.

Дворникъ. Нѣтъ, ты вотъ какъ: ты своей шеей побожись, что ежели ты врешь, то чтобы тебя извозчикъ по шеѣ переѣхалъ все равно вотъ какъ этого гуся.

Мужикъ. Это тебя, братъ, по шеѣ-то.

Дворникъ. Нѣтъ, тебя по окаянной шеѣ да свитымъ кулакомъ за то, что не ври.

Судья. Перестаньте шумѣть.

Сяигало солнце, громъ ворчалъ,
 И въ облакахъ таилася угроза.
 Сердилась ты, я—тягостно молчалъ,
 Въ рукѣ твоей изнемогала роза.
 Давно затихъ на рѣчкѣ соловей,
 И вдругъ на воспаленный листъ березы
 Намчался вихремъ шумный лиходѣй
 И пролилъ съ неба радужныя слезы.
 Какъ веселье былъ неожиданный твой испугъ,
 Какъ весело подъ ливнемъ ты бѣжала,
 Склонясь ко мнѣ, переводила духъ,
 И, холодомъ омытая, дрожала.
 Какъ очистительно гроза весны
 Надъ омраченною любовью мчалась,
 Какіе сладостно сбывались сны,
 И какъ легко съ тобою мнѣ молчалось:
 Бѣжалъ потокъ и прыдалъ къ намъ съ горы,
 Лазурное намъ небо разверзлось,
 И солнце—солнце золотой поры
 Твоихъ кудрей разсыпанныхъ касалось.
 И громко пѣлъ на рѣчкѣ соловей,
 И пѣснь его на радугѣ сверкала,
 И роза влажная въ рукѣ твоей
 Цвѣла и миѣ въ лицо благоухала.

И в е л ь С у х о т н и ч ь .



З И М Н Е Е .

Тамъ — далече, въ снѣжномъ полѣ
 Бубенцы звенять.
 А у мѣсяца соколій,
 Ясный взглядъ...

Во серебряномъ бору
 Дрогнетъ Лѣшій на вѣтру,
 Караулитъ бубенцы...
 — Берегитесь, молодцы!

А л е к с а н д р ь Ш и р я е в е ц ь .

ПРИХОЖАНЕ ПРЕЛЕСТНОЙ МАРИЭТТЫ.

У тѣхъ богобоязненныхъ старушекъ, которыя такъ любятъ черныя шали съ длинной бахромой и кружевныя наколки на выцвѣтшихъ волосахъ, у старыхъ дѣвъ, еще тайно вздыхающихъ надъ романами, гдѣ много страницъ посвящено пылкимъ объясненіямъ и совершенно отсутствуютъ назидательныя тенденціи, у расчетливыхъ и благочестивыхъ содержательницъ меблированныхъ комнатъ на Santa Lucia, которыя съ одинаковымъ жаромъ вручаютъ молитвѣ и себя, и свое ремесло, толкающее порой на путь опасной предпріимчивости,—я видѣлъ статуэтки такихъ Мадоннъ.

Это—дешевыя Мадонны,—я хочу сказать: статуэтки ихъ стоятъ недорого,—лиры двѣ, двѣ съ половиной. Вышнюю онѣ съ полъ-аршина и сдѣланы машиннымъ способомъ, одежды ихъ раскрашены подъ шелкъ и бархатъ, грубо и ярко, но для простого, немудрствующаго взора, еще не потерявшаго способности источать слезы въ нехитрой и петребовательной молитвѣ,—привлекательно.

Я люблю такую Мадонну. Она бываетъ божественно-хороша въ тиши итальянскаго, деревенскаго вечера, на перекресткахъ сонныхъ улицъ съ пезакрывающимися калитками. Вмѣстѣ съ Сыномъ, протягивающимъ пухленькую ручонку къ подбородку Матери, освѣщенная снизу огонькомъ лампадки, который долженъ до утра напоминать Ей о немощахъ людей заснувшихъ,—Она охраняетъ благочестивые дома.

Я часто прерывалъ дорогу, завидѣвъ такую фигурку. Стоитъ въ полукруглой нишѣ высокая женщина, закутанная то въ синій, то въ коричневый плащъ. Глаза ея, голубые, опущены долу. Длинными, тонкими пальцами поддерживаетъ Она у груди своего первенца.

Иѣшнво текли думы.

— Въ чемъ твоя прелесть, Мадонна? Въ чемъ твоя прелесть, Мадонна, окруженная тихими неразгорающимися огоньками, которымъ не умереть до утра? Съ восходомъ солнца ихъ потушать и замѣнять молитвами, ибо молитвы стоятъ человѣку дешевле, чѣмъ лампадное масло.

— Въ чемъ твоя прелесть, Мадонна?

И вдругъ, въ двухъ часахъ ѣзды отъ Неаполя и совѣмъ рукой подать отъ Сорренто, на островѣ Капри, въ кафе, стѣны котораго увѣшаны лакированными портретами германскихъ кайзеровъ и прошедшихъ, и настоящихъ, и будущихъ. въ кафе, на столахъ котораго всегда лежитъ въ трехъ экземплярахъ свѣжій,

продѣтый за палку «Berliner Tageblatt»,—я увидѣлъ эту Мадонну, живую, съ человѣческой плотью и кровью,—ту самую, передъ которой дѣвушки, тайно мечтающія о снѣгѣ, заботливо кладутъ весенніе цвѣты.

Эту Мадонну звали Маріэттой. Ей было 17 лѣтъ и ея занятіе состояло въ томъ, что она съ утра и до вечера, довольно поздняго, приносила посѣтителямъ чернѣй кофе, вермутъ и ничѣмъ постороннимъ неразбавленное настоящее пьемонтское вино. Маріэтта только что переросла полосу, отдѣляющую дѣвочку отъ дѣвушки. Еще не сгладилась, но уже сглаживалась угловатость плечъ. Глаза у ней были не итальянскіе, а сѣверные, синіе.

Каждый вечеръ мы—русскіе: молодые художники, поэты, эмигранты, архитекторы приходили къ ней, къ нашей Мадоннѣ, и звались мы такъ:

— Прихожане прелестной Маріэтты.

Какъ было жаль, что я плоховато зналъ итальянскій языкъ! Помилуйте! Легко-ли было разговаривать съ прелестной Маріэттой?

Вотъ она принесла мнѣ то,—о чемъ я ее просилъ. Я спрашиваю.

— Какъ здоровье, Маріэтта?

— Хорошо, синьоръ,—благодарю,—отвѣчаетъ она и ждетъ дальнѣйшихъ вопросовъ.

Я молчу въ теченіе времени, довольно таки продолжительнаго, потомъ опять спрашиваю:

— Твоя хозяйка, Маріэтта,—вѣдьма?

Глаза Маріэтты, большіе—большіе, дѣлаются еще больше.

— Думать такъ,—отвѣчаетъ она,—нѣтъ никакпхъ основаній.

Маріэтта поморщила лобикъ, что-то на мгновенье затемнило спокойную увѣренность и она осторожно спрашиваетъ.

— Можетъ, у синьора есть какія-нибудь данныя?

Я говорю, припимая дѣловитую позу.

— Я бы, конечно, могъ сказать вамъ кое-что на этотъ счетъ, по я, Маріэтта, человѣкъ осторожный и не люблю зря говорить того, чего не провѣрилъ до конца. Въ такихъ же случаяхъ нужно вѣрить только своимъ глазамъ,—неправда ли, Маріэтта?

— Сущая правда, синьоръ,—отвѣчаетъ Маріэтта.

— Я рѣшилъ поступать такъ во всю мою жизнь, Маріэтта, до конца дней моихъ!

Я вижу, что мои слова правятся Маріэттѣ, она слегка краснѣетъ и румянецъ ея растетъ, какъ дыханіе на стали, облачкомъ покрываетъ щеки, округляясь около глазъ, и отгѣняя завитокъ темно-каштановыхъ волосъ,—завитокъ, составленный изъ черныхъ колецъ, одно меньше другого.

Молчимъ. На террасѣ кафе никого пока нѣтъ, часъ жаркій, веѣ съ утра выкупались и спятъ теперь, запершись въ комнатахъ съ кирпичными полами. Тѣни плюща, окутывающія и террасу, и Маріэтту, и дверь, и мою шляпу, прорѣзаны яркими, горячими пятнами,—большей частью продолговатой формы.

— Я люблю тебя, Маріэтта!

Это—шутка, и топъ—шутливъ, но мнѣ кажется, что Маріэтта, подавъ страгу, потому такъ долго стоять у стола, потому такъ долго смотреть черезъ мою голову своими ясными глазами, что чего-то ждетъ и это, кажется, моя обычная шутка о любви.

Маріэтта молчитъ, отрицательно качаетъ головой и я начинаю думать о томъ: кого можетъ полюбить здѣсь, на островѣ, эта дѣвушка? На праздникахъ, которые собираютъ на площадь всю молодежь, я пересматриваю лица, прислушиваюсь къ смѣху и гадаю: кого изъ нихъ полюбитъ Маріэтта? Но вечерамъ иногда захожу въ кабачки, смотрю на пьющихъ вино, на играющихъ въ карты, гляжу то на одного, то на другого и думаю: не этого ли полюбитъ Маріэтта?

— Поѣдемъ въ Россію, Маріэтта?

— In Russia?—переспрашиваетъ Маріэтта и въ голосѣ ея явно дрожитъ страхъ. Смотрю на нее и думаю: а, вѣдь, и правда было бы холодно тамъ у насъ ей,—этой Маріэттѣ?

— Нѣтъ, синьоръ, нѣтъ,—тихо говоритъ она и повторяетъ еще потише.— Нѣтъ, синьоръ, нѣтъ.

— Маріэтта!—опять говорю я,—если бы ты знала, какъ прекрасна Россія!— Я собираюсь скоро уѣзжать, я уже давно началъ скучать по Россіи и мнѣ хочется вслухъ поговорить о томъ, какъ прекрасна моя родина. Днемъ я говорю объ этомъ Маріэттѣ, а вечерами—въ компаніи моихъ поэтовъ.

Маріэтта молчитъ, но поэты подтверждаютъ хоромъ.

— Да! Россія!

Поэты пропускаютъ слово: «прекрасна!» но я знаю, что они его подразумеваютъ.

Задумывается Маріэтта. Подъ копной этихъ щедрыхъ волосъ рождается, видимо, мысль: а, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ прекрасна далекая страна? Кому больше можно вѣрить: учителю или поэтамъ? Нельзя предположить, что вретъ учитель, но какъ можно не вѣрить поэтамъ?

Маріэтта любитъ поэтовъ. Весь островъ любитъ поэтовъ. Вся страна любитъ поэтовъ. Вся Италія твердо знаетъ: умерли короли, умерли завоеватели, умерли богачи, умерли красавцы, умерли мудрые судьи и только дѣла поэтовъ остаются нетлѣнными.

Одинъ изъ насъ, тайно влюбленный въ Маріэтту, часто напивается и надеетъ подъ столъ. Шумитъ, кричитъ, смѣшивается въ одно самыя сильныя и распространенныя проклятія: и русскія, и итальянскія, и французскія.

Глѣбными тогда дѣлаются хозяева кафе,—цѣлая династія туподобродушныхъ, толстыхъ приобрѣтателей. Русскій поэтъ, сонеты котораго еще не извѣстны, слишкомъ нарушаетъ покой заведенія: со стѣнъ смотрятъ портреты кайзеровъ, а изъ-за столовъ—ихъ толстые, преданные вѣрноодданные. Смотрятъ хозяева на пьянаго поэта и думаютъ, вѣроятно, о всѣхъ насъ:

— Врутъ они, что Россія—прекрасна.

И только Маріэтта вмѣстѣ съ нами, заботливо и нѣжно, ведетъ пьянаго къ выходу, и только она одна на прощанье ласково желаетъ ему добраго вечера.

— И эта ласковость, какъ свѣтлый лучъ въ туманѣ нахмурившагося неба. Такъ, однажды, рѣшили поэты, скрывъ, конечно, для своихъ сонетовъ болѣе свѣжія и образныя сравненія.

И отвѣчаетъ ей, пожимая руку, пьяный:

— Вы славный товарищъ, Маріэтта!

Мы—уже на площадкѣ фюникулера. Далеко внизу—темное море. У берега горитъ одинокій огонь невидимаго парохода. Направо—скалистый Сорренто. На горизонтѣ жемчужныя бусы Неаполя.

Взглядываетъ пьяный, влюбленный поэтъ на небо и декламируетъ, поднимая къ звѣздамъ свою худую, оцарапанную руку.

— Ave, Marietta, gratia plena!

И другая тупо добродушная, толстая, уже пожилая, богатая дѣвушка, дочь хозяевъ, вышедшая отъ скуки посмотрѣть на чудачества пьянаго, взглядываетъ на Мариэтту, на подчиненную свою, съ завистью. Хотя мы и русскіе, и пьяницы, и шумные, безтолковые люди, хотя о многихъ изъ насъ было дѣло въ муниципалитетѣ за стрѣльбу изъ револьверовъ около фаральоновъ, хотя и хотѣли сперва и сгоряча выслать насъ за это съ острова безъ права возвращенія, но вѣдь, все-таки, сейчасъ же послѣ засѣданія извѣстно стало всѣмъ, что когда горячность однихъ прошла, тогда другіе, мудрые граждане, все время, строя силлогизмы по разнымъ фигурамъ, не перестававшіе думать,—сказали, поднявъ глаза:

— Хорошо. Пусть такъ. Пусть вышлемъ. Выслать—дѣло не хитрое и правильное, ибо человекъ, зря стрѣляющій изъ заряженнаго пятаю пулями пистолета, по всей справедливости долженъ носить имя: бездѣльникъ. Это такъ. Но здѣсь есть одно привходящее обстоятельство, о которомъ надо подумать. Ибо кто знаетъ? Слухъ потомъ можетъ пойти по всей странѣ и не хорошо будетъ, если другіе муниципалитеты скажутъ о насъ: люди, не имѣющіе въ головѣ мозга. Стрѣляли? Это вѣрно, но нужно подумать еще и о томъ, кто стрѣлялъ? Стрѣляли поэты. Людми же, жившими раньше насъ, сказано: плохъ поэтъ, не нѣвшій въ молодости по цѣлымъ ночамъ серенады.

Стало всѣмъ извѣстно тотчасъ же послѣ засѣданія, что граждане, наставившіе на высылкѣ, послѣ этихъ рѣчей переглянулись между собой и было ясно, что въ головахъ ихъ протекли мысли въ родѣ слѣдующихъ:

— Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, требовать отъ поэтовъ, чтобы они, какъ нѣмцы, прощатавшіеся весь день по Монте-Соляро, ложились спать въ девять часовъ? Если поэты будутъ ложиться спать въ девять часовъ, то передъ кѣмъ же Господь Богъ будетъ хвалиться своимъ лучшимъ, что Онъ сотворилъ, т.-е. звѣзднымъ небомъ?

И вотъ: хоть ухаживаемъ мы за Мариэттой, мы русскіе, бездѣльники, но о насъ хорошо разсудилъ муниципалитетъ и никто изъ умѣющихъ владѣть оружіемъ не пострадалъ. И сладки тѣ слова, которыя мы говоримъ не той богатой, разборчивой невѣстѣ, хозяйской дочери, а ей, этой бѣдной, скромной Мариэттѣ. Мы—бѣдны, но за то мы и прихожане бѣдной, а не богатой. У насъ нѣтъ ни золота, ни ладана, ни смиренны, но мы принесемъ ей свои дары: кто—скромный стихъ, кто—мечтательную музыку, кто—цвѣты, искусно нарисованные.

... Проходило лѣто—и время отъ времени кто-нибудь изъ насъ на раппель дешавомъ пароходѣ уѣзжалъ съ острова: кто—въ Россію, кто въ Парижъ, кто—въ Венецію. И тогда, проспавшіеся на зарѣ, Мариэтта, въ новой кофточкѣ, еще съ неослабѣвшимъ румянцемъ утра на щекѣ, приходила на присталь, приносила цвѣтотъ, подавала ихъ отъѣзжающему и застѣчиво произносила одно только слово:

— Fiori.

А тотъ, отъѣзжающій и радостный и тайно-волнующійся, повгорялъ нашу обычную шутку:

— Partiamo in Russia, Marietta?

И опять въ глазахъ ея, въ двухъ миниатюрахъ: утромъ—моря, въ полдень—

неба, просыпался страхъ передъ огромной, суровой страной, которую мы не разъ, обводя пальцемъ по очертаніямъ границъ, показывали Мариэттѣ на плохомъ, лопнувшемъ на Египтѣ, глобусѣ.

— Marietta!—съ легкой угрозой предупреждалъ ее отъѣзжающій,—Russia—bella!

— O, Russia—bella!—повторяли мы за нимъ согласнымъ хоромъ.

На это Мариэтта отвѣчала такими учтивыми словами:

— Я вѣрю вамъ, что Россія прекрасна. Она прекрасна уже потому, что рождаетъ такихъ веселыхъ и любезныхъ синьоровъ, какъ вы. Но бѣда въ томъ, что у меня здѣсь мать и никуда не хочетъ отпустить меня. Вы понимаете? А я должна быть послушной дочерью. Вы понимаете?

Мы понимали.

Отплывала къ пароходу лодка и Мариэтта просила отъѣзжающаго передать поклонъ Россіи.

— Saluti alla Russia!

Отъѣзжающій, ставъ одной ногой на чемоданъ, прижималъ руки къ сердцу, цѣловалъ цвѣты, уплывалъ отъ берега все дальше и дальше, и повторялъ:

— Непремѣнно, Мариэтточка, непременно.

И непонятно было: радъ ли онъ отъѣзду? Печалится ли о разставаніи?

И вотъ теперь, когда снова, въ тысячный и тысячный разъ рушится башня,— та башня счастья, та башня спасенія, которую люди начали строить еще въ Вавилонѣ и куполомъ которой они хотѣли коснуться небесъ, когда Господь Богъ снова смѣшалъ языки строителей, когда съ покачившихся стѣнъ снова летятъ и давятъ бѣдное человѣчество камни и гремитъ разящее желѣзо, когда снова начался потопъ и нѣтъ Ноя, строящаго ковчегъ, когда мы снова, кажется, обростаемъ шерстью и у нѣкоторыхъ на старомъ мѣстѣ снова начинаетъ прорѣзываться хвостъ,—я иногда, чтобы хоть на минуту затемнить въ сознаниіи страшныя картины, вспоминаю Мариэтту,—далекую Мадонну, за тремя морями—ихъ теперь не переплывешь и—шепчу:

— Ave, Marietta, gratia plena...

П. Сургучевъ.



г.п.

И А В О Й И Т Ъ.

С о н е т ъ.

В. Брюсову.

Мы на войнѣ. Вы слышите ли, люди,
Мы на войнѣ, гдѣ вся земля въ крови,
Гдѣ лязгъ штыковъ, свистъ пуль и ревъ орудій
Рождаетъ гнѣвъ возвышенной любви.

Но, Боже правый, милостивъ намъ буди,
И въ день, когда все говоритъ: живи—
Дай позабыть о Каннѣ, Гудѣ,
И жизнь и смерть равно благослови.

Чтобъ въ свѣтлыхъ зовахъ радостнаго свѣта,
Наномнившихъ зимою про апрѣль,
Земли раскрыла сердцу колыбель,

И два безумца, два твоихъ поэта,
Мы вспомнили, что посланы судьбой
Итъ не войну, а миръ твой голубой.

А. Осеоровъ.

Варшава. 13 янв. 1915.



АРТИЛЛЕРІЙСКІЙ СОНЕТЪ.

Ревутъ у насъ мортиръ стальные рты,
Стремясь нащупать недруга скорѣе.
Снаряды смертью прыщутъ съ высоты,
Въ бѣсовскомъ шабагѣ надъ нами рѣя.

Всѣмъ существомъ мы съ кабелемъ слиты,
Что вдаль бѣжитъ, по лужамъ чуть чернѣя;
Прицѣлы ставимъ слѣбно, какъ кроты;
Глубоко въ землю врылась батарея.

Но вотъ изъ трубки слышимъ наконецъ:
«Противникъ въ вилкѣ, шпарь очередями!»
И встрепенулось сразу сто сердець,

Мортиры, словно, зачастили сами.
Лавиной шлемъ желѣзо и свинець
Туда, гдѣ врагъ хитро укрылся въ ямѣ.

Серг. Мамонтовъ.

1, I. 15. Галицкій фронтъ.

ХРАМЪ ЕДИНСТВА.

Каждый разъ, когда, бывало, пройдя полутемныя, прохладныя «сѣни», пойдешь къ «Императорской двери», отогнешь тяжелую завѣсу и увидишь передъ собою это сіяющее многоцвѣтною тишиною величіе, каждый разъ я вспоминалъ разсказъ о томъ, какъ былъ пораженъ восторгомъ Мохаммедъ Завоеватель, когда вступилъ сюда въ день паденія Византіи.

Уже свирѣпая толпа солдатъ хозяйничала въ храмѣ, воины дрались между собой за золотыя сосуды, сгоняли плѣнныхъ христіанъ, укрывшихся и ожидавшихъ въ церкви чуда, и связывали ихъ веревками въ длинныя вереницы.

Уже мечи сверкали надъ склоненными головами, одинъ изъ спахievъ въ неистовствѣ рубилъ безцѣнные красоты мрамора тяжелымъ топоромъ,—когда вошелъ Мохаммедъ.

Можетъ быть, у этихъ самыхъ дверей сошелъ онъ съ коня, пѣшіи приблизился къ созданію Юстиніана, прошелъ черезъ партексъ. Здѣсь онъ велѣлъ подать себѣ земли и посыпалъ ею голову: земныя битвы теперь кончены. Порывъ разрушенія еще кипѣлъ въ его сердцѣ, но, войдя, онъ сдѣлался тихъ, подобно овцѣ. И сказалъ... что можетъ сказать мусульманинъ? «Единъ Аллахъ»! Остановилъ руку разрушителя и съ негодованіемъ прогналъ насильниковъ.

— «Я купилъ у васъ побѣду обѣщаніемъ богатой добычи, это—правда. Идите, грабьте въ другихъ мѣстахъ, это же мѣсто будетъ неприкосновенно».

Ушли солдаты. Мохаммедъ долго оставался въ задумчивости, потомъ, обратясь къ христіанамъ, которые сбились подъ портиками, сказалъ имъ, что они могутъ спокойно возвращаться домой. Взошелъ на амвонъ и такъ говорилъ, обратясь къ своимъ улемамъ.

— «Домъ этотъ, поистинѣ, долженъ быть домомъ молитвы. Ничто не можетъ быть лучшимъ доказательствомъ могущества Бога: безъ Его чудеснаго вмѣшательства невѣрные при своей слабости не могли бы создать такого дома!

И улемы взошли на амвонъ и раздались звуки стиховъ Корана; Мохаммедъ совершилъ благодарственный намазъ предъ христіанскимъ алтаремъ, который столько вѣковъ былъ «твердынею вѣры», охранявшей Европу отъ Востока. Въ Константинополь были мечети, которыя служили для молитвы магометанамъ-гражданамъ города, иныя изъ нихъ были подземныя, и въ нихъ Исламъ скрывался, какъ нѣкогда христіанство въ катакомбахъ; была одна прекрасная и

просторная,—арабская мечеть, ее и до сихъ поръ проводники показываютъ иностранцамъ. Но Мохаммедъ отвергъ ихъ все. Онъ былъ охваченъ восторгомъ передъ божественнымъ произведеніемъ Антемія изъ Траллеса и говорилъ, что молитва можетъ быть всего скорѣе услышана, если ее произносить въ этомъ «языческомъ» храмѣ.

И въ слѣдующую пятницу церковь была обращена въ мечеть. Роскошная и разнообразная утварь—«орудія суевѣрія», какъ называли ее турки,—была удалена, кресты сняты, стѣпы, покрытыя мозаикой и изображеніями, выбѣлены и возвращены къ ихъ обнаженной простотѣ. И въ этотъ же день или въ слѣдующую пятницу муэдзинъ взошелъ на самое высокое мѣсто на крылѣ храма и произнесъ азамъ—публичное приглашеніе на молитву. Съ гордостью и съ насмѣшкой надъ всемъ христіанскимъ міромъ разсказывалъ объ этомъ когда-то Саадъ-эдъ-Динъ въ своей новѣсти о паденіи Константинополя. «Тамъ, гдѣ слышался скучный голосъ языческаго колокола,—тамъ усердіемъ повелителя зазвучали голоса мусульманъ и четверичный возгласъ вѣры Ахмедовой,—благороднѣйшее среди ибиснопѣній; и ибѣжная гармонія призыва на молитву ласкала слухъ людей» ...

Каждый разъ, когда, бывало, пройдя полутемный нартексъ, войдешь и увидишь передъ собою свѣтлую мистерию Святой Софіи, невольно воспоминаешь это и думаешь, что есть на свѣтѣ силы, которыя побѣждаютъ самихъ побѣдителей: силепъ мечъ, силепъ и огонь, силепъ ужасъ войны, но искусство ихъ сильнѣе! Турки побѣдили Византію, а ея искусство побѣдило турокъ. Геройское и страшное сопротивление, оказанное туркамъ защитниками Константинополя, ихъ не остановило, и въ жаждѣ крови понеслись они бурей по улицамъ Византин, истребляя людей. Но у порога послѣдняго великаго созданія греческаго генія остановился звѣрь, умиротворенный, и сказалъ, что оно божественно,—это «печистое» твореніе невѣрныхъ! И величайшій разгромъ былъ остановленъ, и поднятый мечъ отвлотился.

И сами византійцы смотрѣли на Святую Софію точно такъ же, какъ и Мохаммедъ Завоеватель: какъ на ибѣкоторое чудо. Философъ Прокопій, что далъ въ своей «Aedificia» описаніе великой церкви, говоритъ, что безъ особой помощи Божіей она не могла бы быть выстроена; только вдохновеніе, посланное небомъ императору Юстиніану, создало это строеніе, «куполъ котораго держится въ воздухѣ, можно сказать, противно законамъ природы». И точно также современный равнодушный зритель здѣсь не можетъ не почувствовать очарованія сильнѣйшаго и непреодолимаго; онъ едва ли не готовъ прошептать про себя, подобно Мохаммеду: поистинѣ, одинъ Аллахъ. Должно быть, ничто на землѣ не можетъ служить такимъ яркимъ и безспорнымъ доказательствомъ мысли, что искусство просто и «боговдохновенно», какъ Святая Софія. Довольно войти въ нее, чтобы понять это душой. Это на самомъ дѣлѣ вдохновенное, патетическое строеніе, произведеніе свѣтлаго безумія, совершенно не отъ разума, но полное гармоніи, какъ созданіе самой природы. И здѣсь, когда стоялъ у входа, Мохаммедъ былъ правъ не какъ мусульманинъ, а какъ философъ: эта церковь, соединяющая новый міръ со старымъ и, какъ сказали греки, небо съ землею, она—порывъ къ единству. Она—каменный гимнъ искусству, которое даетъ намъ ощущеніе Единства, и открываетъ небо, одно для всехъ, для людей Аллаха и Христа.

Мохаммедъ испыталъ это, стоя передъ дверью, надъ которой виденъ карнизъ съ пзображеніемъ летящаго голубя надъ кнпгою, раскрытой на словахъ: «Я дверь;



Л. О. Пастернакъ.

кто войдетъ Мною, спасется, и войдетъ и выйдетъ и пажитъ найдеть». Здѣсь символически изображено не только значеніе вѣры, но и значеніе искусства.

Какое вѣяніе гармоніи охватываетъ душу, когда, войдя, окинешь взглядомъ всю тихую и свѣтлую громаду Святой Софіи, и взглядъ утонетъ въ куполѣ, который виситъ надъ вами, точно небо. «Мы почитаемъ Бога въ Троицѣ и троицность въ Единствѣ» сказалъ когда-то св. Аонасін, и эта сказка изъ камня создана словно для того, чтобъ сдѣлать видимой эту метафизическую основу христіанства. Въ ней все подчинено великой мысли о трехъ моментахъ божественнаго творчества. Все исходитъ отъ этого колоссальнаго купола, въ который, возносясь, открываются два полукупола и образуютъ гармоническое единство изъ трехъ, и все къ нему возвращается.

Тихій, тихій свѣтъ струится оттуда, изъ-подъ купола, и, отраженный имъ, надаетъ внизъ, ровный и ясный. Днемъ онъ голубоватый, а на закатѣ розовый. И все цвѣтные мраморы портиковъ и золотящаяся мѣдь колонныхъ подножій, повторяютъ свѣтъ, и не знаешь, что лучше, свѣтъ или отблески его въ мраморѣ и золотѣ. Но свѣтъ не заливаешь храма яркой волной; когда стоишь, не видишь, откуда онъ течетъ, и кажется, что это самыя стѣны и колонны свѣтятся изнутри, сквозятъ многоцвѣтные мраморы.

Свѣжія циновки, мягко подающіяся подъ ногой, устилаютъ полъ, шаговъ не слышно; не слышно громкихъ голосовъ. Подъ портикомъ, между колоннъ, уѣлились кучкой на коврѣ молодые софты; передъ ними, на раскинутыхъ, украшенныхъ перламутромъ шопитрахъ, Юранъ въ зеленомъ сафьянѣ. Заглушенно повторяютъ они слова ученія, раскачиваясь въ тактъ. Голоса ихъ слиты въ размерный гулъ, точно жужжитъ огромный, роящійся улей.

На амвоиѣ, тамъ, гдѣ когда-то былъ ходъ въ алтарь, подъ лѣстницей минбера, старикъ мулла въ свѣтло-зеленомъ одѣяніи, простершись ницъ, вздыхая, что-то шепчетъ. На коврѣ возлѣ него раскрытая книга, и на ней большія круглыя желѣзные очки. Подъ другимъ портикомъ, у самаго подножія колонны, прижавшись, тихо дремлетъ старый, старый турокъ-бѣдпакъ. Голова повязана тряпичей, синій, вылинявшій архалукъ распахнулся, и видна его темная, покрытая волосами грудь, тонкіе штаны изъ синей носкони обтрепались внизу, и худыя, босыя ноги обнажились почти до колѣнъ. Опершись спиною о колонну и поджавъ колѣни, онъ дремлетъ; голова откинута, сѣдая борода свисаетъ на грудь, глаза закрыты, на лицѣ улыбка, добрая и тихая. Этотъ старикъ—нищій; у него пѣтъ дома, ему негдѣ жить и негдѣ умереть, и онъ живетъ здѣсь, у ногъ божества. Его не гонять, не гонять никого, кто пришелъ въ Айя Софію отдохнуть и найти покой души. Старикъ тутъ и умретъ, у ногъ божества. И онъ забылъ теперь о своей нищетѣ и о несчастьяхъ, и подъ музыкальный гулъ голосовъ, отдающихся въ сводахъ, онъ грезитъ о свѣтломъ.

Надъ головами людей, невысоко, сажени па три отъ пола,—тихо поблескиваютъ, чуть колеблясь, круги висящихъ въ воздухѣ лампадъ. Подъ куполомъ, изъ оконъ въ окна, трепеща крыльями, перелетаютъ голуби, освѣщенные солнцемъ. Сердце обнимаетъ глубокий и радостный миръ.

Тихо вступаешь подъ портикъ. Пройдешь его до самаго восточнаго конца, мимо дивныхъ колоннъ, поддерживающихъ боковыя галлерен, снова взглядывая въ средину храма, погружая взглядъ въ море яснаго свѣта, и начинаешь видѣть красоту частей; колоннъ, изъ которыхъ четыре, темпо-темпо зеленого мрамора,

были привезены изъ Эфеса, изъ храма Артемиды, а восемь, темно-темно краснаго порфира,—изъ храма Солнца въ Баальбекѣ; ихъ подарила Юстиніану нѣкая Марція ради спасенія своей души. Пройдешь туда, до конца, до экзедры, гдѣ колонны прерываютъ свою прямую линію и полукружіемъ сходятся къ алтарю, одна за одной, точно движутся, какъ танцующіе въ хорѣ. Идешь, а въ душѣ совершается музыка; смотришь на роскошныя подробности и все время чувствуешь впечатлѣніе цѣлаго, все время оно поетъ въ дугѣ. Мысль возвращается къ куполу и свѣту. Здѣсь нельзя наслаждаться чѣмъ-нибудь однимъ, нельзя остановиться передъ частностью, какъ въ соборѣ Петра, похожемъ на музей; ничто не притягиваетъ и не подавляетъ взгляда; частности говорятъ о цѣломъ, а цѣлое поглощаетъ частности въ себѣ. Общее съ отдѣльнымъ слито въ прекрасномъ единствѣ.

Иногда я приходилъ и подолгу простаивалъ у колоссальныхъ пилястровъ, которые, вздымаясь отъ земли, переходятъ въ арки, поддерживающія куполъ; стоялъ и думалъ: это, дѣйствительно, чудо. Когда Юстиніанъ рѣшилъ въ своемъ строеніи соединить базилику съ круглымъ купольнымъ храмомъ, ни одинъ архитекторъ, ни даже самъ Антемій изъ Траллеса, не думали, что можно такъ повѣсить куполъ въ воздухѣ. Это казалось дерзостью, да и было дерзостью; сама природа чуть не возетала противъ этого. Когда одна изъ двухъ «лорон», изъ арокъ, поддерживающихъ куполъ, не была еще сведена въ срединѣ, пилястры, подъ тяжестью ея, вдругъ дали трещины. Всѣмъ было ясно, что, еще немного, и они рухнутъ, и нужно будетъ отказаться отъ этой дерзкой постройки. Антемій и Исидоръ, испуганные, бросились къ Юстиніану, уже не надѣясь на себя. Юстиніанъ,—такъ говоритъ Прокопій,—«неизвѣстно по какому побужденію, но, вѣроятно, вдохновленный небомъ, такъ какъ онъ, вѣдь, не строитель, приказалъ скорѣй закончить арку. Она,—сказалъ онъ,—опираясь вверху сама на себя, не будетъ болѣе нуждаться въ поддержкѣ пилястровъ. Если бы тому не было свидѣтелей, то я бы и не сталъ рассказывать этой исторіи; всякому она можетъ показаться нелѣпостью, но свидѣтелей много». Каменщики свели арку вверху и все случилось такъ, какъ говорилъ Юстиніанъ; арка торжественно и свободно повисла въ воздухѣ, и съ тѣхъ поръ пилястровъ не могли пошатнуть даже землетрясенія, разрушавшія другія части храма.

Изумительна была и постройка самыхъ пилястровъ. Глыбы камня въ нихъ соединены не титаномъ, цементомъ того времени, не асфальтомъ, гордостью Вавилона и не какимъ-нибудь другимъ связующимъ веществомъ; онѣ спаяны свинцомъ. Его расплавленнымъ вливали между глыбами, и, войдя въ поры камня, онъ навсегда скрѣпилъ ихъ въ одну вѣчную скалу. Все было тутъ чудесно, отъ этихъ глыбъ до капителей, въ которыхъ все лишнее устранено и которымъ придана невыразимо изящная форма.

А матеріаль, изъ котораго создана эта каменная пѣснь, это плѣнительное зрѣлище «мраморныхъ луговъ, распростертыхъ на возвышенностяхъ и въ низинахъ великаго зданія!» Зеленые камни Кариста и многоцвѣтные мраморы фригійскихъ хребтовъ, въ которыхъ розовый румянецъ смѣшивается съ матовой блѣдностью и съ глубоко-красными капельками крови; весь горящій звѣздами порфиръ; изумрудная зелень изъ Спарты и сверкающій мраморъ съ извивами жилы, надъ которымъ работалъ рѣзецъ въ Иессейскихъ долинахъ, извлекая на свѣтъ его кроваво-красныя и бѣлыя сплетенія; и свѣтлый лидійскій камень,

слившій въ себѣ бѣлое и красное, и камень, который ливійское солнце возрастило золотыми лучами въ глубокихъ ущельяхъ, камень, сверкающій зологомъ; и произведеіе кельтскихъ скалъ, горный хрусталь; вкрапленный въ черную тьму каменныхъ плитъ, точно пятна снѣга на базальтѣ; и мраморъ, привезенный изъ «страны Атракса», частью зеленый, какъ изумрудъ, частью синій, цвѣта васильковъ, покрытый свѣтлыми точками. Все возможное и извѣстное людямъ—великолѣпіе природы было здѣсь собрано. Изъ нему прибавили великолѣпіе искусства, роскошь безцѣнныхъ мозаикъ, и все слилось въ гармоническомъ цѣломъ, въ послѣднемъ достиженіи греческаго духа, въ каменной пѣснѣ о мудрости Бога.

И эта пѣснь пережила все: пережила слагателей ея, и народъ, изъ котораго вышли слагатели; ея не уничтожилъ народъ разрушителей, но сохранилъ и изъ нея заимствовалъ все свое зодчество. И она живетъ, побѣдивъ, и торжествуя надъ разрушеніями природы и человѣка. Живетъ и снова покоряетъ человѣчскія души обаяніемъ таинства единенія, проявляемаго во множественности; въ немъ, вѣдь, и есть откровеніе божественной «Софіи» всѣхъ религій и всѣхъ философій, которыя говорятъ, что все произошло отъ «числа единого» и къ нему возвратится.

Смотрѣть на нее не устанешь, думать о ней всегда—наслажденіе. И, кто бы ни былъ вступающій въ ея свѣтлую тишину, всѣ одинаково чувствуютъ здѣсь на себѣ власть искусства, которое также сильно, какъ Богъ.

Константинополь.

В. Т а р д о в ъ.



ПОЛЕ БИТВЫ.

Залито поле, какъ золотомъ,
Щедрымъ посѣвомъ патроновъ.
Вдалекѣ, какъ гигантекимъ молотомъ,
Расколоты гребни склоновъ.

На холмикѣ ждетъ погребенія.
Ницъ повергнуто, тѣло солдата.
Слабый запахъ тлѣнія,
А въ рукѣ письмо зажато.

Рядомъ—тѣла лошадиныя:
Оскалены зубы, изогнуты шеи...
Ахъ, не труды ль муравьиные
Эти валы, окопы, траншеи?

Видѣлъ я: межъ винтовокъ раздробленныхъ
Лежитъ съ дневникомъ тетрадка.
Сколько тайныхъ надеждъ обособленныхъ
Въ нее вписывалъ кто-то украдкой.

Манерки, ранцы, зарядные
Ящики, крыпки прапирелей,
И повсюду воронки громадныя
Отъ зарядовъ, не достигшихъ цѣли.

Брожу межъ обломковъ, гадательно
Переживая былые моменты.
А, вдали, взводъ солдатъ старательно
Убираетъ пулеметныя ленты.

В а л е р і й Б р ю с о в ъ .

Октябрь 1914.
Прушковъ.

КАТЯ-ВОЖАКЪ.

На столѣ были чашки съ чаемъ, молоко, творогъ съ сахаромъ, наръзанный ломтиками чернѣй и ситнѣй хлѣбъ, прозрачная банка съ душистымъ и тоже прозрачнымъ медомъ; все это стояло на скатерти безукоризненной чистоты: безукоризненно чистыя руки, немного полныя, съ атласистой кожей, возможной только у женщинъ, нерѣдко протягивались надъ яствами къ одному или другому изъ сидѣвшихъ за столомъ и слышался грудной красивѣйшій голосъ:

— Пожалуйста, пожалуйста. Будьте какъ дома.

Говорила такъ мать-Анастасія, монахиня, вся въ черномъ, лѣтъ сорока, съ красивыми черными глазами. Въ то время она показалась мнѣ старухой, потому что мнѣ самому было только 23 года. Она была не то игуменія, не то настоятельница—не знаю какъ назвать, во всякомъ случаѣ, въ монастырѣ она была главнымъ лицомъ.

Насъ было человекъ пятнадцать. Въ праздникъ, прекраснымъ весеннимъ утромъ, обѣщавшимъ жаркѣйшій день, мы выѣхали съ дачной платформы на такъ называемыхъ—линейкахъ, на каждой по четыре человека; на послѣдней линейкѣ, весь обложенный кулками и свертками, ѣхалъ Кузьма, денщикъ генерала Клыкова, оставшагося дома изъ-за бѣшенія сердца, а жена его, очень веселая, курчавая, молодая блондинка, сидѣла со мною спина со спиной и рядомъ съ учителемъ географіи, который совершенно серьезно увѣрялъ ее, что въ Африкѣ, на востокѣ, есть мысъ, называемый Гвардафуй, и потому онъ такъ называется, что течение океана возлѣ него опасно и коварно, и что про это мѣсто говорили издревле: «Гардэ-ву»,—что означаетъ: «берегитесь». Молодая генеральша хохотала, ласково била учителя въеромъ по рукамъ и по плечу, а вокругъ насъ все, залитое солнцемъ, безлюдное, зеленое и прекрасное, все стрекотало, звенѣло, пѣло, жужжало, все дышало радостью, жизнью и любовью.

Спиною къ генеральшѣ, я ѣхалъ рядомъ съ барышней Наденькой, про которую злыя старыя женщины всю зиму мнѣ говорили, что Наденька въ меня влюблена и что я поэтому долженъ въ августѣ или сентябрѣ на ней жениться. Вѣроятно, и ей говорили тоже эти глупыя женщины, что я въ нее влюбленъ и что осенью она должна сдѣлаться моею женой. И ухитрились, злодѣи, посадить насъ рядомъ. И такъ мы ѣхали часовъ около двухъ, какъ два колодника на одной цѣпи, и несправедливо мы за это другъ друга, а вокругъ все воображали, что мы—счастли-

вые женхъ и невѣста. Даже генеральша, повернувшись веселымъ лицомъ своимъ ко мнѣ, спросила учителя географіи, кивая на Наденьку.

— Есть, кажется, гдѣ-то мысъ Добрая Надежды?.. Возлѣ него, несомнѣнно, тихая пристань... Не то, что вашъ— «Гардэ-ву»!

Вокругъ была такая простая красота, что не расскажешь о ней. Трудно рассказать о воздухѣ, о весеннемъ небѣ, о свѣжей зелени луговъ, о молодой листьѣ березъ, объ узкой вьющейся мягкой дорогѣ, по которой мы ѣхали другъ за другомъ, поднимая пыль; взбудораженная колесами, эта пыль клубами стремится къ солнцу, сѣрая, золотистая, прозрачная, и сквозь нее, какъ сквозь вуаль, зеленѣютъ луга и пашни—это будущее наступившаго года.

Обѣдня только что кончилась, когда мы пріѣхали. Въ монастырѣ по праздничному звонили, шумно и весело, возвѣщая объ отдыхѣ. Изъ церкви потянулись къ кельямъ черной вереницей монахини. Богомольцы изъ окрестныхъ деревень въ яркихъ цвѣтныхъ одеждахъ выходили уже за ограду, гдѣ на лужайкѣ рѣзвились и бѣгали ребятишки. Вскорѣ все разбрелось во-свояси и все затихло.

Генеральша была хорошо знакома съ матерью-Анастасіей, поэтому ее пригласили къ чаю, да заодно съ нею и веѣхъ насъ. Помню, мы заняли всю гостиную, когда вошли. На мою долю досталось старинное кресло краснаго дерева, въ которомъ, вѣроятно, удобно дремать, но неудобно чай пить.

Монастырь былъ небогатый, далекій отъ желѣзной дороги, малопосѣщаемый, поэтому насъ принимали съ вниманіемъ и въ то же время такъ просто и по-домашнему, какъ-будто мы веѣ были давнишніе знакомые.

— Мы небалованья,—говорила мать-Анастасія,—у насъ все своими руками дѣлается. Я своихъ строго держу. Когда нужно, поблажку даю, волю даю, по головкѣ поглажу, но коль дѣло дѣлать, такъ ужъ тутъ обо всемъ забудь кромѣ дѣла. Безъ поблажки никакъ нельзя. Человѣческая душа ласку любить: приласкаешь—она и опять окрѣпла и возрадовалась, а безъ ласки—хорошо только сухари печь!

Она говорила все это строго, и доброе лицо ея было серьезно, а вокругъ изъ дверей глядѣли на свою «матушку» монахини, старыя, и молодыя, и на веѣхъ лицахъ была улыбка чуть замѣтная. Нельзя было ошибиться, что веѣ онѣ не только слушались и любили Анастасію, но обожали ее.

— Сестра Анна,—сказала Анастасія, постукавъ небрежно по столу два раза согнутымъ пальцемъ и не глядя въ ту сторону, откуда должна была появиться Анна, которая сейчасъ же вошла и молча поклонилась.

— Анна, позови хоръ, чтобъ гости послушали, какъ мы поемъ. Потомъ покажи имъ все... Катя-вожакъ гдѣ? Возьми ее на подмогу. Хоръ, говоришь, уже здѣсь? Вотъ умница, что раньше меня догадалась. Вели сейчасъ спѣть: духовныя двѣ и свѣтскихъ одну—нашу старинную.

Стукнулъ мяготью по столу еще разъ палець матери-Анастасіи—и Анны не стало.

— Прошу, милые гости, послушать. Наши юныя ученицы изъ школы, да мы старухи—вотъ и хоръ.—Катя, гдѣ ты?

Неслышными мягкими шагами сейчасъ же вышла изъ-за двери стройная дѣвушка, вся въ черномъ, съ опущенными рѣсницами, съ опущенными руками.

— А вотъ вамъ Катя-вожакъ. Сестра Анна и Катя все знаютъ здѣсь, все вамъ покажутъ.—Катя, раскрой веѣ окна и двери на балконъ; въ саду пускай

птицы поютъ, а здѣсь—мы; вмѣстѣ будемъ Господа-Бога славить...—Глафира, начинай духовное; задай камертонъ.

Гдѣ-то въ другой комнатѣ слышались тягучіе, мягкіе аккорды фисгармоніи, и сейчасъ же влились въ нихъ живою волной свѣжіе дѣвичьи голоса, смѣшались съ ними и на минуту покрыли и заглушили ихъ.

Я не могъ болѣе сидѣть въ своемъ мягкомъ креслѣ краснаго дерева. Я всгаль, прислонился къ стѣнѣ и глядѣлъ въ ту сосѣднюю комнату, гдѣ пѣли. Я видѣлъ группу дѣвушекъ; одну изъ нихъ, съ блѣднымъ строгимъ лицомъ аскета, съ глазами вдохновенными, зажженными неземнымъ восторгомъ, я особенно замѣтилъ. Это была какъ бы не сама дѣвушка, но душа умершей дѣвы, представшей передъ Господомъ праведной и блаженной.

— «Хвалите Бога во святыхъ Его»,—эти слова не только шли къ пей, но, казалось, что ни-кто иной не сможетъ, не посмѣетъ такъ громко и такъ просто произносить ихъ, потому что ни у кого иного нѣтъ такого благоговѣнія къ нимъ.

Поютъ, растутъ дѣвичьи голоса, восхваляютъ Бога «во святыхъ Его, во утверженіи силы Его, славятъ Его въ струнахъ и органѣ, въ кимвалахъ и гусляхъ»,—и дѣйствительно, въ согласованіе съ произносимыми словами волнуются клавиши фисгармоніи, дышатъ невидимые мѣха, звучатъ рожки, поютъ свирѣли...

Катя-вожакъ—какъ назвала ее Анастасія—стояла въ дверяхъ, скромная, тихая и красивая. Поскольку въ той, поющей, сказывалось «небо», постольку въ Катѣ чувствовалась «земля». Молоденькая, свѣжая, съ ясными голубыми глазами, въ черномъ платьѣ, съ темнымъ платочкомъ на головѣ, изъ-подъ котораго не пробивается ни единый волосъ, Катя среди этой черной армии, ушедшей отъ жизни, казалась здѣсь какъ бы случайпой плѣппицей.

За первой пѣсней послѣдовала вторая, утрюмая, торжественно-грозная, гдѣ пѣлось о душѣ, которую будили отъ сна, напоминая ей, что пора воспрянуть, что скоро будетъ уже поздно, что—«конецъ приближается»...

Не помню, не знаю этихъ прекрасныхъ словъ, поразившихъ тогда меня величіемъ. Помню только, что я былъ увлеченъ и восторженъ. Тотъ хоръ и словоисловіе, тотъ солнечный весенній блескъ съ пѣніемъ птицъ въ саду, съ ароматомъ зелени и цвѣтовъ, и безмолвная Катя-вожакъ съ ясными голубыми глазами—все это стало для меня чѣмъ-то единымъ и нераздѣльнымъ въ своей прелести. И мнѣ стало ясно тогда, что вѣковѣчная борьба между небомъ и землею, между грѣхомъ и подвигомъ, между жаждой счастья и отреченіемъ отъ жизни и радостей—все это и есть сама жизнь, плѣппительная живая жизнь, что именно въ этой борьбѣ и есть настоящая радость и счастье!

А монастырскія дѣвушки, подъ фисгармонію, пѣли уже, такъ называемую, свѣтскую пѣсню:

«Во саду ли нашемъ во садочкѣ
Божьи былинки, травки процвѣтаютъ»...

Пѣли онѣ здѣсь и о птицахъ, по велѣнію Господню возвѣщающихъ зори, и про бабочекъ легкокрылыхъ, и о гремучемъ святомъ ручьѣ въ смолянскомъ бору... Откуда взялась такая пѣсня, такая музыка къ пей—объяснить намъ не могли.

— Еще до насъ ее здѣсь пѣли; и мы поемъ; и послѣ насъ будутъ пѣть.

Несмотря на восхищеніе, совершенно искреннее, я былъ радъ, однако, когда мы ушли, наконецъ, пзъ этой комнаты, пахнущей кипарисомъ, гдѣ остались все эти черныя сестры-клерошанки и ихъ школьныя питомки. Богъ съ ними!.. На зеленой лужайкѣ, обвѣваемый вѣтеркомъ, я почувствовалъ себя опять на волѣ; никто меня не держалъ, не связывалъ, не плѣнялъ—какъ хорошо! Безпричинная радость овладѣла вдругъ мною: я живъ! я молодъ! я свободенъ!

Въ это время генеральша поманила меня къ себѣ вѣеромъ. Я подошелъ.

— Мужчины наши проголодались,—сказала она,—послѣ меда и сливокъ просятъ поскорѣй вина и закуски. Мы съ Наденькой идемъ сейчасъ развязывать наши кульки и корзинки. Идите помогать; живо-живо!

Быть опять съ Наденькой, вмѣстѣ съ нею рѣзать колбасу и откупоривать бутылки, говорить всякую ерунду съ генеральшей и считать такое занятіе веселымъ и милымъ я не былъ сегодня въ расположеніи.

— Не могу!—почти крикнулъ я въ свою защиту.—Я монастырь буду осматривать, я пойду слушать объясненія!—и безъ оглядки побѣжалъ къ группѣ нашихъ спутниковъ, которымъ Анна и Катя что-то рассказывали.

Сестра-Анна была женщина пожилая, съ очень высокимъ и узкимъ лбомъ, похожимъ на столбикъ, и съ круглыми синими очками на носу.

— Здѣсь вотъ у насъ трапеза, кухня, квасная,—говорила она, указывая рукою на строеніе.—А въ этомъ крылѣ у насъ ризница. Есть цѣнное евангеліе, въ листъ московской печати, обложено позлащеннымъ серебромъ 84-й пробы... Докладывай, Катя.

Мы подвигались шагъ за шагомъ куда-то впередъ, а Катя тѣмъ временемъ говорила, словно выученный урокъ:

— Въ ризницѣ хранится плащеница малиноваго бархата, шитая золотомъ по картѣ, аршинъ и три четверти длины и одинъ аршинъ ширины—пожертвованіе купца Гришина; кругомъ всей плащеницы шитый узоръ, украшенный простыми цвѣтными камнями, а также бусами—подъ жемчугъ...

Анна и Катя такъ умѣло водили насъ отъ одного отдѣла къ другому, такъ старались все показать, такъ ловко пополняли онѣ разсказами одна другую, что могло показаться, будто мы осматриваемъ ли-вѣсть какія сокровищницы, тогда какъ на самомъ дѣлѣ все сводилось въ большинствѣ къ «шитю по картѣ», къ цвѣтнымъ камнямъ—изъ стекла, и къ бусамъ—«подъ жемчугъ». Показывали намъ мастерскую обуви, гдѣ работаютъ для себя сами сестры, показывали пекарню, съ чаномъ кнелаго тѣста, которое мѣситъ весломъ послушница; видѣли мы, какъ дѣлаются и просвирки.

— По-вашему, просвирки, а по-настоящему: просфоры!—съ улыбкой поправила меня Анна.

— Ужъ больше никогда не ошибусь!—воскликнулъ я съ удовольствіемъ.—Просфора! просфорня! магы-просфорница!..

— Вѣрно, вѣрно, молодой человекъ!

Какъ ни странно, но съ этого момента между мной и Анной возникла дружба. Не прошло и пяти минутъ, пока мы все переходили дворомъ къ другому корпусу, она успѣла узнать, кто я такое, гдѣ живу, и оказалось, что она знаетъ моихъ родныхъ и даже, когда была еще барышней, бывала въ гостяхъ у моей тетки, да и меня, должно быть, видывала стриженнымъ гимназистикомъ; нашлось пе

мало общих знакомых из города, и когда мы входили в домъ, гдѣ былъ пріютъ и рукодѣльная школа, наша дружба вполне уже укрѣпилась.

Чего здѣсь только не было, въ этомъ маленькомъ монастырѣ! Все въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ, но все есть, что нужно. И всюду чистота, опрятность и ничего лишняго. Есть даже больница на пять кроватей, при ней аптечка и сестра-фельдшерца, а докторъ паѣзжаетъ разъ въ мѣсяць. Есть и пріютъ на пять дѣвочекъ, и школа для пріютокъ и для проходящихъ крестьянскихъ дѣтей.

— На это средства дастъ намъ сосѣдка, Марья Егоровна, помѣщица. Учимъ грамотѣ, закону Божію, пѣнію, рукодѣлью...

Стали показывать намъ разное вязанье, вышитыя полотенца, пришпиленные къ стѣнѣ рсупки; было все интересно.

По случаю жаркаго дня, все мы, пріѣзжіе, были одѣты легко. На мнѣ была полотняная рубашка, съ стоячимъ воротникомъ, вся вышитая цвѣтными узорами: и обшлага, и подоль, и воротъ, и полоса на груди; шелковый синій поясъ, высокіе сапоги и бѣлая фуражка, вродѣ военной, а въ рукахъ легкая трость съ рѣзной собачьей головой—вотъ въ какомъ видѣ явился я тогда въ святую обитель.

Пока не доходило до рукодѣлья, на меня не обращали вниманія, но здѣсь, среди рсупковъ и вышивокъ, моя рубашка—я и самъ это понялъ—ударилась въ глаза. Сердце не камень: мать-Анна попросила меня вытянуть руку и начала трогать пальцемъ рсупокъ обшлага.

— Смотри, Катя, вотъ такъ работа! Гладью, да какъ!

— Ахъ, какъ замѣчательно!—похвалила Катя, пристально вглядываясь въ рукавъ.

И даже наши дамы-снугицы и тѣ стали разглядывать и хвалить работу моей рубашки.

— Кто это вамъ вышивалъ такъ?—спросила Анна.

— Это не домашней работы,—замѣтила Катя.

— Это мнѣ барышня одна нарп проиграла, вотъ и вышивала за это цѣлый годъ!—отвѣтилъ я.

— Неправда. Барышни такъ не вышить.

— Ей-Богу, барышня! Честное слово! А какъ ее зовутъ—не скажу!

Все опѣ засмѣялись и оставили меня въ покоѣ.

— Здѣсь у насъ всего волюю,—хвалилась Анна, когда мы вышли снова на дорогу,—вонъ тамъ подъ горкой у насъ вишневый садъ, а среди него пчельникъ; тамъ и избушка зимняя для пчелъ; тамъ и хижина сестры-пчельницы.

— Веспой тамъ, когда вишни цвѣтутъ—чисто рай!—добавила Катя и вся засіяла улыбкой.—И тишина какая! одни только пчелы жужжать... А потомъ, когда цвѣты ужъ облетать начнутъ, такъ бѣлые лепестки цѣлые дни все летятъ, летятъ на землю... точно душистый снѣгъ идетъ... право!

Въ нашей компаніи были дамы и двое мужчинъ съ сѣдыми бородами; остальные—все мужъ да жена, мужъ да жена, все средняго возраста, кромѣ учителя географіи; тотъ былъ хотя и молодой, но безволосый, въ золотыхъ толстыхъ очкахъ и очень серьезный, такъ что, не считая меня, гости прѣхали солидные, семейные,

хорошіе, тѣмъ болѣе, что съ генеральшей игуменья была знакома, а генерала, отъ котораго мы привезли ей поклопъ, давно уважала, и потому намъ были предоставлены все удобства; даже Аннѣ и Катѣ разрѣшено было съ нами гулять, пить чай и вообще оставаться при насъ вплоть до отъѣзда. Разрѣшеніе это все-таки ходили просить Анна и генеральша вмѣстѣ.

На зеленой лужайкѣ, выйдя изъ-за монастырской стѣны, возлѣ сторожки, накрыли намъ длинный столъ, обставили его скамьями и табуретками, притащили горячій самоваръ, остальное додѣлалъ генеральскій денщикъ, сама генеральша и Надепка. Появилось и вино и закуска, апельсины, конфеты. А я приготовилъ имъ все съ сюрпризомъ. Одинъ только денщикъ зналъ объ этомъ и помогалъ мнѣ еще накапунѣ—нарѣзать кусочками бараншну, натереть эти кусочки лукомъ, перцемъ и лимопомъ и продержатъ все это въ банкѣ цѣлую ночь во льду.

— Ну, что, Кузьма,—шеннулъ я,—какъ нашъ шашлыкъ? настоялся?

— Такъ что, ваше благородіе, лукомъ дюжо натерли: больше душитъ невозможно, а то барыни ѣсть не захочутъ.

Тутъ же, недалеко отъ стола, выкопали мы ямку. Кузьма притащилъ со стройки нѣсколько кирпичей; въ ямку положили «жару»—горячихъ углей; вмѣсто вертела, на студенческую шпагу, которую при всеѣхъ вымыли кипяткомъ и водкой, напизалъ я куски баранины, и, къ общему удовольствію, надъ огненными углями зашипѣлъ и задымился на клипкѣ розовый сочный шашлыкъ.

— Ну, вотъ за это,—воскликнула восхищенная генеральша, воздѣвая надъ моей головой руки,—прощаю я вамъ все ваши безобразія—во вѣки вѣковъ!

— Аминь!—басомъ сказалъ географъ и затѣмъ многозначительно крикнулъ.

Всеѣмъ стало вдругъ почему-то весело. Всеѣ стали смѣяться, разговаривать, стали наливать вино. Смѣялись старики наши и дамы, смѣялись также монахини. Начали вспоминать Кавказъ; вспомнили Лермонтова; прочитали на-память отрывки изъ поэмъ; съѣли весь мой шашлыкъ, съѣли съ чаемъ конфеты, выпили вино и рѣшили итти гулять—на пчельникъ, на прудъ, въ роцъ за ландышами.

Пошли все вмѣстѣ, то гурьбой, то вразбродъ; приходилось разговаривать то съ Анной, то съ стариками, или съ учителемъ, а то съ Катей; но генеральша ко мнѣ болѣе не подходила; должно быть, шашлыкомъ откупился я на сегодня отъ нея и отъ Надепки.

Катя спрашивала меня про Кавказъ; я началъ ей рассказывать, какъ былъ тамъ въ прошедшемъ году; она заинтересовалась горамп; я рассказалъ, какъ вдвоемъ съ татаринкомъ, верхомъ на коняхъ, покрытые бурками, въ бараньихъ шапкахъ, хотя это было лѣтомъ, мы ѣздили почевать въ горы, какъ развели тамъ костеръ, какъ жарили шашлыкъ, пили кумысъ, какъ потомъ встрѣчали восходъ солнца, какъ зардѣлись подъ пимъ золотомъ и румянцемъ спѣговья вершины, какая это была красота... И такъ мы долго съ ней шли и разговаривали; она иногда нагибалась, срывала ландыши и несла въ лѣвой рукѣ небольшой душистый бѣлый букетикъ.

— Какой простой цвѣтокъ, этотъ ландышъ, а какой пѣжвый, и какъ удивительно пахнетъ. Лучше него цвѣтка пѣтъ!—сказала, между прочимъ, Катя.—А, что, на Кавказѣ есть ландыши?

Черезъ минуту она опять спросила:

— А не страшно вамъ было съ татаринѣмъ въ горахъ ночь проводить?

Очевидно, Кавказъ произвелъ на нее большое впечатлѣніе; внимательно и чутко прислушивалась она къ каждому моему слову.

— А гора была высокая, на которой вы почевали? Выше вонъ того храма?.. вонъ, впереди—красный, каменный,—указала она рукой впередъ, гдѣ на песчаномъ пустырьѣ возвышалось большое кирпичное зданіе, еще недостроенное, доведенное лишь до купола, все, съ низа до верха, обнесенное бревнами и досками для прохода рабочихъ.

— Ну, на такую вершину я въ десять минутъ сбѣгаю!—похвалился я.— А тамъ мы долго взбирались; я лошадей замучили, и сами устали.

— Я сюда, на стройку, очень часто хожу,—сказала Катя.—Почти каждый день. Рабочіе рано уходятъ, я и иду. Видъ оттуда очень красивый, когда солнце садится: и прудъ, и корпуса наши, и пчельникъ, и все деревни сосѣднія—все какъ на ладони. На закатѣ тамъ хорошо думать думать...

— Думать думать... О чемъ?—спросилъ я.

— Да такъ...

Она приложила къ лицу свои ландыши и понюхала ихъ. Но я замѣтилъ, что она эгимъ замаскировала вздохъ. Розовое пятно вдругъ заиграло у нея на одной щекѣ.

— У меня дѣтство было очень тяжелое,—сказала неожиданно Катя и такъ довѣрчиво посмотрѣла мнѣ въ глаза, что у меня сердце затрепетало въ отвѣтъ.— Сиротою я ужъ попала сюда; здѣсь, въ пріютѣ, меня и вырастили. Такъ съ тѣхъ поръ и живу здѣсь.

— А въ Бога вы вѣрите?

— Какъ же можно въ Бога не вѣрить!.. Это счастье и спасеніе. Знала я одну невѣрующую... молодая была, мопхъ лѣтъ; немного постарше. Мучилась она ужасно невѣріемъ своимъ. Копчилось тѣмъ, что утопилась...

Послѣ этого мы замолчали и даже разошлись. Къ ней подошли дамы и старикъ, начали спрашивать—скоро ли достроятъ соборъ, кто на него пожертвовать, и мнѣ стало вдругъ скучно; вспомнилась ни съ того ни съ сего Травата; я пошелъ прочь и тихонько запѣлъ, вспоминая несчастную Виолету:

«Прощайте, все мои страданья,
Все мои надежды, все мои мечты» ...

Когда черезъ нѣсколько минутъ я снова подошелъ къ Катѣ (отъ нея отстали, наконецъ, съ разспросами и она шла одна), она осторожно спросила меня: что я запѣлъ давеча, и почему вдругъ ушелъ, точно обидѣлся.

— Я ничѣмъ васъ не огорчила?..

— Мнѣ старикъ надоѣли!—отвѣтилъ я рѣзко.—Вѣчно клиномъ врѣзаются въ чужую жизнь!—И когда уже отвѣтилъ, самъ почувствовалъ, что дѣйствительно разсердился на стариковъ: ну, чего мѣшаютъ въ чужую бесѣду! Можетъ быть, никогда въ жизни я не увижу болѣе эту Катю, никогда не разговорюсь съ нею такъ, какъ въ эти минуты,—а они лѣзутъ съ вопросами, кто пожертвовалъ, да сколько, точно пмъ есть до этого всего дѣло!

— А запѣлъ я случайно. Это изъ оперы. Онъ и она—какъ встрѣтились, съ перваго же взгляда полюбили другъ друга—на всю жизнь. А старики ихъ раз-

лучили. Въ одиночествѣ Вioлетта умираетъ и вогъ поетъ: «Прощайте, все мои страдающа, все мои надежды, все мои мечты!» ...

Катя посмотрѣла на меня долгимъ взглядомъ, но, казалось, не видѣла меня. Она глядѣла какъ будто въ себя самое. Мы шли и оба молчали. Она опустила голову, опустила руку съ цвѣтами и такъ шла... Потомъ вдругъ остановилась и стала оглядываться.

— Гдѣ мать-Анна?—выговорила она неспокойно.

— Вонъ они все: направо; спускаются по дорожкѣ къ пруду. Оставьте ихъ. Пусть спускаются. А мы съ вами поднимемся на стройку. Туда, на верхъ! на самую вершину!

— Идѣть. Надо догнать своихъ.

— Не надо. Они далеко не уйдутъ.

Мы стояли возлѣ стѣнъ будущаго собора. Какъ всегда бываетъ на каменныхъ стройкахъ, изъ отверстій въ этихъ красныхъ сырыхъ стѣнахъ, среди жаркаго лѣтняго дня, вѣяло холодомъ и влагой.

— Миѣ нравится, что васъ зовутъ здѣсь «Вожакъ»,—сказалъ я Катѣ.— Ну, Вожакъ,—ведите на высоту!

Я почувствовалъ, что сердце во миѣ загорается.

— На высоту!—повторилъ я.—Ближе къ небу, ближе къ Богу, который создалъ всю эту жизнь, всю красоту, который даровалъ—биться нашему сердцу, видѣть—нашимъ очамъ, который не отнялъ радость существованія!.. Водите, Вожакъ!..

Она улыбнулась тихой, свѣтлой улыбкой, точно прощала миѣ что-то, точно брала на одну себя весь отвѣтъ за насъ обоихъ.

Рѣшилась она сразу, и первая ступила на доски, отлого протянутыя кверху, съ набитыми на нихъ поперечинами, чтобъ не скользили ноги. По этимъ доскамъ несутъ рабоче кирпичъ, воду, цементъ, поэтому онѣ были сорны и залиты. Катя, видимо, привыкла къ нимъ и шла ровно, четко, скоро, и оглянулась на меня уже съ высоты второго этажа. Поглядѣла,—и улыбнулась. Ничего не сказала и пошла выше.

Я шелъ за нею. Трудно сказать, что я чувствовалъ. Миѣ было легко, от-раддно,—вотъ и все. Что-то ласковое и милое обвѣяло душу. И то, что мы были одни, и то, что мы были выше рощи, надъ садами, надъ домами и надъ полянами, и поднимались все выше и выше—все это отдавало меня во власть минуты. Молодая зелень листвы и травы сливалась въ одну общую блѣдно-зеленую ширь, а надъ нею сіяло голубое солнечное небо.

Мы остановились. Итти выше было некуда. Здѣсь кончалась кирпичная кладка; отсюда начнется потомъ сводъ купола, а пока это было громадное, круглое жерло, каменная пропасть, надъ которой нагнуться и заглянуть внизъ было жутко. Но мы и не глядѣли внизъ.

Надъ головами у насъ съ веселымъ шелестомъ и свистомъ скользили вдругъ стрижи, промчались и потонули въ воздухѣ.

Все было тихо, ласково, лучезарно.

— Господи! какъ хорошо!—проговорила Катя, оглядывая спокойные горизонты.

— Какъ хорошо,—тихо повторилъ я ея слова.

— Хорошо,—повторила и Катя.

Еле замѣтная улыбка радости озаряла ея лицо. Голубое небо и солнце отражались въ ея глазахъ. Легкіи вѣтерокъ чуть шевелилъ концы ея платка на головѣ, и я замѣтилъ тогда на секунду подъ платкомъ прядь свѣтло-каштановыхъ волосъ.

Летѣли минуты; мы молчали. Сердце мое билось восторгомъ, и я понималъ, я чувствовалъ въ эти минуты Катину душу; я угадывалъ ея мысли, ея настроеніе; я зналъ, что нужно молчать, до тѣхъ поръ молчать, пока слово само не скажется, и слово это не можетъ быть простымъ, обыкновеннымъ, оно должно быть значительнымъ, высокимъ,—иначе греза померкнетъ, радость умретъ.

Катя медленно подняла руку съ ландышами, приложила цвѣты къ лицу и стала дышать ихъ ароматомъ, закрывши на секунду глаза. Вѣяло и на меня этой душистой свѣжестью весны, этой тонкой сладостью аромата, а снизу, изъ садовъ и рощи доносилось до насъ радостное щебетаніе птицъ.

Мы глядѣли на лѣса, на поля, въ майскія зеленыя дали, залитыя солнцемъ,—и молчаніе наше длилось.

Подъ влияніемъ окружающаго насъ простора, выси и красоты, намъ хотѣлось сказать другъ другу то, что въ словахъ нельзя выразить. И, независимо отъ нашей воли, наше молчаніе становилось полнымъ содержанія.

Въ это время на старой монастырской башнѣ ударили въ колоколь—къ вечернѣ. Но Катя стояла, какъ раньше, и глядѣла задумчиво-ласково куда-то въ пространство, и держала у лица ландыши, закрывая ими губы и подбородокъ. Она, должно быть, не слыхала благовѣста и вообще—душой и мыслями была гдѣ-то не здѣсь.

Я смотрѣлъ на Катю, на этого Вожака по монастырскимъ ризницамъ и рукодѣльнымъ, знающую здѣсь все сокровища въ сундукахъ и все тропинки въ лѣсу, все входы и выходы, и видѣлъ, что впервые забрела она въ чужу, и потерялась... И мнѣ захотѣлось позвать ее съ собою—въ жизнь, въ ту смутную, плѣнительную даль, которую я и самъ въ то время еще не зналъ, которая была и для меня загадкой и тайной.

И Катя это почувствовала. Она вдругъ выпрямилась и взглянула, точно проснувшись. Потомъ отвела руку съ цвѣтами отъ лица и медленно начала сбрасывать ландыши, цвѣтокъ за цвѣткомъ, внутрь постройки, въ эту холодную каменную бездну, какъ бы отрекаясь отъ чего-то, какъ бы отгоняя отъ себя мысль за мыслью, какъ бы роняя въ эту бездну слезу за слезой. Потомъ она взяла обѣими руками въ горсти оставшіеся цвѣты, приникла къ нимъ всею лицомъ—глазами, губами, точно прощаясь, и вдругъ бросила ихъ все сразу, разсыпавъ далеко отъ себя въ воздухъ; ландыши взлетѣли и посыпались внизъ; только одинъ стебелекъ съ бѣлыми шариками и зеленымъ полуразвернувшимся листомъ зацѣпился въ расщелинѣ доски и повисъ надъ пропастью...

Внизу слышались веселые знакомые голоса. Греза отлетѣла, и скрипучими шагами поднималась къ намъ Проза, со стремянки на стремянку, ближе и ближе...

— Вотъ вы гдѣ!—сказала генеральша, увидѣвъ мою бѣлую расшитую рубашку рядомъ съ чернымъ платьемъ Кати.—Они здѣсь, мать-Анна!—крикнула она внизъ, и сейчасъ же поправились:—Мы все здѣсь! Все здѣсь, не беспокойтесь!

За генеральшей поднимался географъ и велъ за руку Наденьку, а Наденька вела за руку предѣдателя благотворительнаго общества...

Вскорѣ мы все вернулись на лужайку къ сторожкѣ, гдѣ дожидались насъ

отдохпунція лошади. Стали прощаться; погромыхивали на сбруяхъ бубенчики; мать-Анна цѣловалась со всѣми дамами, мужчинамъ же подавала руку, а Катя кланялась молча.

Подошелъ и я къ ней. Хотѣлось сказать многое и хорошее; но я выговорилъ только одно:

— Прощайте.

И она отвѣтила коротко:

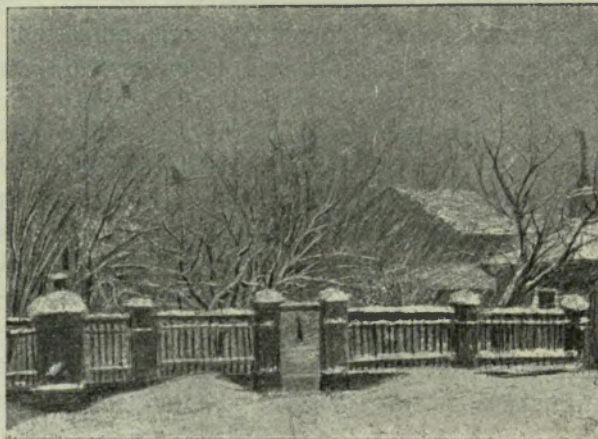
— Прощайте.

Мы поклонились другъ другу по-старинному: низко, въ поясъ, не подавая руки, и разошлись—навсегда.

Покатили одна за одной наши линейки по мягкой дорогѣ, подъ косыми лучами заходящаго солнца, и длинныя, прозрачныя тѣни побѣжали за нами по тихимъ полянамъ. Дамы махали платками, а я фуражкой, въ ту сторону, гдѣ у воротъ остались двѣ черныя одинокія фигуры, и мнѣ было грустно глядѣть на нихъ, такихъ одинокихъ...

Мы были уже далеко, когда я увидѣлъ снова съ холмистаго берега—за рѣкой, въ сѣрой дымкѣ, высокую колокольню и темный силуэтъ недостроеннаго собора. Воображеніе подсказывало мнѣ, что наверху, возлѣ купола, на сырой красной стѣнѣ стоитъ тонкая черная фигура, молчаливая, грустная и глядитъ въ туманную даль, на проѣзжую дорогу... И я глядѣлъ туда, на соборъ, и посыпалъ свой искренни, отъ всего сердца, прощальный привѣтъ.

Н. Т е л е ш о в ъ .



ПРИЗРАКИ.

Печальное, жуткое впечатлѣніе производятъ на войнѣ остатки разрушенныхъ построекъ...

Много я видѣлъ опустѣвшихъ полей сраженій, много брошенныхъ окоповъ, много безвѣстныхъ могилкокъ, еле-еле отмѣченныхъ простенькими деревянными крестиками, по ничто не заставляло меня такъ глубоко и грустно задумываться, какъ одиноко торчавшія среди грудъ мусора и пепла голыя дымовыя трубы, обгорѣлыя, почернѣвшія закидки и жалкіе, кое-гдѣ валяющіеся остатки домашняго скарба. Разбитое ведро, сломанное колесо безъ втулки, переплетъ изорванной книги, обломки дѣтской кровати...

Жутко подумать, что здѣсь когда-то жила цѣлая семья, спокойная, быть можетъ, даже счастливая...

Чего, чего только не видѣли эти разрушенныя стѣны!

Мнѣ всегда кажется, что мѣсто навсегда сохраняетъ память о томъ, что на немъ когда-либо происходило. Въ моихъ воспоминаніяхъ нѣтъ ни одного крупнаго момента, который бы у меня не связывался съ какимъ-нибудь мѣстомъ. И, наоборотъ: если я попадалъ на мѣста, на которыхъ происходили какія-нибудь памятные мнѣ событія, я не могу объ этихъ событіяхъ не думать и не представлять себѣ всей картины когда-то здѣсь происшедшаго. И чѣмъ недавнѣе произошли эти событія, тѣмъ ярче рисуются передъ глазами ихъ картины.

Сколько такнхъ впечатлѣній разбросала вокругъ себя война.

Живая лента безкопечваго синемотографа.

Мнѣ памятна одна груда развалинъ, которую я видѣлъ, недалеко отъ дороги по пути къ Ярославу. Я запомнилъ ее потому, что про это мѣсто мнѣ рассказывали ужасную вещь.

Когда-то здѣсь жилъ довольно состоятельный галичанинъ-огородникъ. Когда началась война, его взяли въ ряды войскъ, а дома осталась его жена и трое маленькихъ дѣтей. Скоро въ окрестностяхъ фольварка начали появляться войска. Сначала разъѣзды, австрійскіе и русскіе, а потомъ уже по обѣимъ его сторонамъ выросли окопы и пошла настоящая перестрѣлка.

Семья пряталась по угламъ хаты и въ подвалѣ, на грудахъ бураковъ и картошекъ, но скоро дѣти свыклись со свистомъ пуль и перестали ихъ бояться.

Часто пзъ окоповъ къ хутору сползались раненые солдаты, ббльшей частью австрійцы, и перевязывали тамъ свои раны. Дбти смотрбли и иногда своими маленькими рученками придерживали намокающую кровью вату и обматывали длинными прозрачными бинтами. Они свыклись и съ видомъ страданій и съ тяжелыми стонами умирающихъ и чисто по-дбтски, наивно и просто помогали тбмъ, чбмъ могли.

Ночью, когда дблалось совсбмъ темно, и когда пальба съ оббихъ сторонъ смолкала, украдкой приходили австрійскіе санитары и на длинныхъ зыбкихъ носилкахъ уносили больныхъ.

Разъ какъ-то раненые послали старшую дбвочку къ рбчкб за водой и она долго, долго не возвращалась. Ее нашли на тропинкб съ пролитыми ведрами и прострбленнымъ плечикомъ...

Ночью ее тоже положили на носилки и куда-то унесли. Съ ней ушла и ее мать и остальные дбти. Съ тбхъ поръ фольваркъ остался безъ хозяевъ. А раненые продолжали все приползать и съ каждымъ днемъ ихъ собиралось все больше и больше. Иногда санитары не успбвали каждый день заходить па хуторъ и больные лежали въ немъ безъ помощи и безъ пищи по суткамъ и больше.

Въ концб октября въ австрійскихъ войскахъ разыгралась довольно сильная эпидемія холеры, и съ тбхъ поръ, все чаще и чаще, вмбстб съ ранеными, къ одинокому хуторку стали приползать полуживые, исхудалые и посинбвшіе люди—тбни людей,—которые тутъ же валились на солому, крбчились, стонали и ббльшей частью больше уже не вставали.

Убирать эти трупы было некому, и они начали разлагаться.

А па нихъ падали все новые и новые. Жить въ этомъ аду стало невозможно, и если иногда въ него и забирались несчастные раненые, они ббльшей частью выползали изъ домика и шли куда-нибудь дальше, хотя бы подъ новый обстрблъ, лишь бы только не задыхаться въ этой ужасной атмосферб смерти и смрада.

Затянувшись па нбсколько педблъ боп разгорались все больше и больше. Окопы, какъ живые щупальцы, подползали другъ къ другу все ближе и ближе, и, наконецъ, одна изъ австрійскихъ траншей настолько пододвинулась къ хутору, что опъ сталъ мбшать ее обстрблу и приказано было его сжечь.

Порученіе это было довольно опасное: веб уже по опыту зналъ, что рускіе бдительно слбдятъ за тбмъ, что дблается во вражескомъ расположеніи и не пропускаютъ безнаказанно ни одного, даже самого незначительнаго движенія.

Ночью люди закуривали, прячась на дно окопа, потому что довольно было зажечь спичку, чтобы сейчасъ же засветбли пули. Часто изъ-за какого-нибудь шума, или движенія, вспыхивали сильнбйшія перестрблки и солдаты вмбсто отдыха, цблыя ночи проводили на ногахъ, утомляясь безсонницей и нервнымъ возбужденіемъ.

На поджогъ хутора добровольно вызвался молодой, только что произведенный, безусый корнетикъ, недавно начавшій свою боевую карьеру, человекъ честолюбивый, но въ то же время очень ограниченный и трусливый.

Какъ человекъ маленькій, онъ старался свою трусость скрывать подъ



А. В. Лысенко.

Въ блиндажѣ.

Рисунокъ цвѣтными карандашами съ натурѣ.



личной бравады и потому лѣзъ всюду, гдѣ только можно было крикливо отличиться и заставить о себѣ говорить.

Взявъ съ собой одного изъ солдатъ, и для храбрости, вынивъ большой стаканъ спирту, корнетъ осторожно вылѣзъ изъ своего уютнаго, крытаго окопа и поползъ по полю.

Было темно, какъ въ могилѣ, и на низинѣ по вскопанному огороду, стоялъ густой молочный туманъ. Ноги глубоко вязли въ засасывающей, липкой грязи и люди шли медленно, согнувшись почти до земли, и тяжело дыша.

Шли они, ничего передъ собой не видя, цѣликомъ, по направленію, и хотя имъ всего приходилось пройти не болѣе 200 шаговъ, нѣсколько разъ имъ казалось, что они сбиваются съ пути и идутъ не туда, куда надо.

Вскорѣ на нихъ откуда-то поянуло тяжелымъ, удушливымъ запахомъ и почти сейчасъ же послѣ этого передъ глазами началъ показываться и расти мрачный, весь окутанный почнымъ туманомъ, силуэтъ постройки.

Подойдя къ одному изъ угловъ дома, корнетъ остановился, на всякій случай вынулъ изъ кобуры своей боевой, десятизарядный револьверъ, и шопотомъ подозвалъ къ себѣ рядового.

Главная его забота заключалась не въ томъ, чтобы получше исполнить взятое на себя порученіе, это могъ сдѣлать и рядовой, а въ томъ, чтобы самому удобнѣе спрятаться отъ обстрѣла русскихъ и во время пожара незамѣтно ускользнуть къ своимъ.

Онъ разсчиталъ такъ: пока огонь будетъ разгораться и пока онъ не дойдетъ до послѣдней стѣны, онъ можетъ совершенно свободно и безопасно оставаться за ея прикрытіемъ. А пока пожаръ охватитъ всю постройку, онъ успѣетъ, пока еще не рухнули стѣны, отбѣжать на такое разстояніе, чтобы не быть освѣщеннымъ заревомъ.

Для этого онъ приказалъ своему помощнику натаскать соломы и начать поджогъ со стороны вражескихъ окоповъ, а самъ онъ укрылся за противоположную стѣнку и пользуясь ея защитой, закурилъ сигару.

Прошло нѣсколько долгихъ, мучительныхъ минутъ ожиданія. Несчастный корнетикъ волновался ужасно. И не одна только личная опасность пугала его. Его мучилъ мистическій страхъ передъ тѣмъ дѣломъ, которое ему предстояло совершить, и онъ еще въ темнотѣ представлялъ себѣ жуткую картину того, что скрывала за собой эта стѣна и что онъ неминуемо долженъ будетъ сейчасъ предъ собою увидѣть.

Сколько ихъ? Въ какомъ періодѣ разложенія находятся эти тѣла? Какъ они лежатъ?

Онъ вспомнилъ, что кто-то разсказывалъ ему, что когда въ крематоріи огонь впервые охватываетъ покойника, онъ начинаетъ извиваться, какъ живой, и онъ представилъ себѣ, какъ сейчасъ, за этой стѣной начнется эта дикая пляска труповъ.

А когда они успокоятся, обгорятъ и когда отъ нихъ запахнетъ жаренымъ мясомъ, я убѣгу, и пусть въ нихъ тогда стрѣляютъ русскіе,—подумалъ онъ,—только бы успѣть во-время добѣжать... Поскорѣе бы, поскорѣе!

Въ это время до его носа долетѣлъ пріятный запахъ соломеннаго дыма и, почти сейчасъ же вслѣдъ за этимъ, ярко вспыхнулъ противоположный уголъ постройки.

Почти одновременно со вспышкой огня, изъ русскихъ окоповъ затрещали отдѣльные выстрѣлы и корнету даже показалось, что мимо него просвистѣло нѣсколько пуль.

Благодаря керосину, которымъ солдатъ успѣлъ облить всю внутренность дома, пожаръ разгорался съ необыкновенной быстротой. Не прошло двухъ минутъ, какъ уже вся постройка горѣла почти кругомъ.

Офицеръ стоялъ противъ открытой двери и сквозь языки огня пытливо всматривался во внутренность главной комнаты, гдѣ, на полу, въ безпорядкѣ лежали какія-то неправильныя груды, перепутанныя, страшныя и непонятныя.

Откуда-то торчали чьи-то длинныя голыя ноги, около стѣнки одиноко маячила приподнятая кверху и застывшая въ угрожающей позѣ опухшая, вздутая рука, тутъ же изъ-подъ рваной солдатской шинели чернѣла густая щетка чьихъ-то синевато-черныхъ волосъ, и только въ сторонѣ, прислонясь къ печкѣ, полусидѣла могучая фигура величественнаго мертвеца, мрачно пагнувшагося къ своимъ согнутымъ колѣнкамъ и широко разставившаго огромныя грубыя и мозолистыя руки...

Вдругъ корнету показалось, что около него кто-то застоналъ.

Сначала тихо, потомъ громче, яспѣе, все ближе, ближе, одинъ голосъ, другой, кто-то зоветъ, наконецъ, раздрающіе крики, и около него, къ самымъ его ногамъ начинаютъ падать какіе-то люди.

Одни летятъ прямо съ потолка на земляной полъ, другіе карабкаются внизъ по лѣстницѣ, срываются прямо въ огонь и тамъ задыхаются и корчатся въ предсмертныхъ судорогахъ.

Офицеръ замеръ въ ужасѣ, приподнялъ револьверъ и началъ тупо и методично стрѣлять.

Онъ остановился только тогда, когда у него не осталось больше ни одной пули. Тогда онъ бросилъ оружіе и кинулся куда-то бѣжать.

Сколько несчастныхъ онъ застрѣлилъ—никто никогда не узнаетъ. Я знаю только, что изъ всѣхъ живыхъ людей, прятавшихся на чердакѣ этого хутора, спасся лишь одинъ. Онъ же и рассказалъ мнѣ про эту ужасную исторію, когда онъ лежалъ послѣ въ одномъ изъ нашихъ лазаретовъ. По его словамъ на чердакѣ было много раненыхъ, которые заползли туда во время послѣдняго боя. Когда подожгли домъ, они полѣзли внизъ. И всѣ погибли, кто отъ огня, кто отъ пуль своего же офицера. Погибъ и солдатъ, пришедшій сюда съ своимъ начальникомъ. Его нашли на другой день лежащаго тутъ же, около пожарища съ прострѣленной грудью. А храбрый офицеръ пропалъ безслѣдно.

Вотъ тѣ страшные призраки, которые рисовались передъ моими глазами всякій разъ, какъ я проѣзжалъ мимо этого загубленного и запустѣвшаго мѣста. Жутко подумать—сколько оно видѣло людскихъ страданій, сколько силы, и сколько слабости и немощи духовной!

Меня интересуетъ судьба несчастнаго, тщедушнаго корнетика. Я даже не хочу винить его за его трусость. За это можно только пожалѣть человѣка. Жаль и тѣхъ, которыхъ онъ убилъ.

Но почему-то больше всѣхъ вспоминается мнѣ раненая маленькая дѣвочка.

Она лежала, истекая кровью, вонъ тамъ, на поворотѣ тропинки, около тѣхъ двухъ березокъ...

И л ь я Т о л с т о й .

П И С Ь М А

I.

«Пущено письмо отъ любезнаго брата вашего рядового Юхима Хванасовича. Любезная сестра Настасья Хванасовна, посылаемъ вамъ низькой поклонъ отъ бѣлаго лыця до сырой земли, и еще кланяемся законному супругу вашему Мыкытѣ Ларивоновичу отъ бѣлаго лыця до сырой земли, и еще кланяемся дочкѣ вашей Кульнѣ Мыкытишнѣ и еще кланяемся своему хрещенику Охрему Мыкытовичу и съ любовію низькой поклонъ отъ бѣлаго лыця до сырой земли и пропишитъ намъ на счетъ его: чи они уже ходять, чи ще только лазять? И желаемъ вамъ всего хорошаго въ дѣлахъ рукъ вашихъ навсегда. И посылку вашу, которую вы намъ прислали, то мы сполна получили и благодаримъ вамъ за посылку премного разъ, что вы меня не забыли на чужій сторонѣ».

Измятый, кое-гдѣ испачкаанный въ грязь листокъ дрожитъ въ бѣлыхъ топкихъ пальцахъ Вали, и дрожитъ ея слабый печальный голосъ. Передъ ней на стулѣ сидитъ, согнувъ спину, вытирая концомъ платка носъ и вспухшіе отъ слезъ глаза, Настасья «Хванасовна». Лицо у нея наполовину спрятано подъ низко надвипутымъ на лобъ платкомъ, какъ у старухи, и только по мужу-дворнику, щеголю и хвастуну, можно догадываться, что она еще молода.

«И еще пропишитъ, какая у васъ есть новость. У насъ новостей никакихъ не слыхать. И какая у васъ погода? У насъ погода очень холодная, такъ что при шипели никогда не согрѣешься. На счетъ харчей, тоже бываетъ невыдержка, потому что мы якъ дечь, якъ почъ, безперечь въ огню и кровь льется. Ну, благодаря Бога, что иногда картохи невыкопанныя. И прошу васъ пропишите вы мнѣ про мою балабайку. Чи она цѣлая пли нѣтъ? И я сейчасъ нахожусь на астрицкой границѣ и извиняюсь, что плохо написано. Повсегда идетъ страженіе, и некогда у гору глянуть. А тутъ пули зудять усе равно, какъ мухи надъ головою. А когда, Богъ дастъ пріѣду, то привезу усѣмъ гостипца и своему хрещенику хорошии гостипецъ. Ну, прошу васъ не журиться. И съ тѣмъ до свиданія. Рядовой — скаго полка, 9-й роты Юхпмъ Хванасовичъ Закутний».

Настя слушаетъ въ суровомъ молчаніи, только слышно, какъ иногда сдерживая всхлипываясь, потяпеть носомъ. Потомъ она уходитъ къ себѣ въ дворничью. А Валя остается одна въ компатѣ и снова много разъ перечитываетъ кривыя, грязныя строки. Два-три раза въ мѣсяць получаютъ эти неуклюжія

письма рядового, и шипеть она для Насти лаконическіе отвѣты на ихъ. И было по началу странно и досадно читать эти письма: такъ они похожи одно на другое своей бѣдностью и несуразностью.

Было непонятно и даже обидно, что человекъ, которому смерть неотступно и жадно смотритъ въ глаза, не находитъ сказать близкимъ ничего, кромѣ этихъ смѣшныхъ поклоновъ и нелѣпыхъ разговоровъ о погодѣ и новостяхъ. Какъ будто не па его глазахъ, не при его участіи творятся еще невиданныя землею титаническія дѣла... Сама Валя вотъ уже полгода, какъ живетъ новой большой жизнью. Собственная жизнь, маленькая до микроскопичности, осталась нетронутой. Но хлынула затопившая весь міръ волна, и личную жизнь Вали, какъ маленькій челнокъ, дремавшій до сихъ поръ гдѣ-то въ тинистой запрудѣ, вдругъ подняло на огромную высоту, съ которой видны все залитые кроваво-слезнымъ потокомъ концы міра. И облилось кровью сердце Вали, и потянуло отдать свою маленькую жизнь па великое дѣло.

Но ее, большую, единственную въ семьѣ, не пустили на подвигъ милосердія. И Валя осталась дома съ маленькими дѣлами, въ родѣ изготовленія бѣлья и подарковъ, придавленная большой невысказавшейся печалью и тревогой. Рядомъ съ печалью и тѣмъ, что рисовало воображеніе Вали, эти письма были такъ буднично жалки и неинтересны. Но съ каждымъ письмомъ все глубже вникала она въ эти неуклюжія строки и училась читать то большое, что онѣ скрывали. И скоро поняла, что въ нихъ, какъ въ засоренномъ землей родникѣ, скрыто начало той волны, что подняла на себѣ все, а ея маленькую жизнь сдѣлала такой большой. Поняла Валя и величавое его спокойствіе передъ лицомъ смерти и великія его страданія, о которыхъ онъ находитъ лишнимъ говорить. И разгадала великую грусть и любовь, что невыраженная застыла въ шаблонѣ солдатскихъ поклоновъ и въ безграмотныхъ оборотахъ.

II.

Вечеромъ Валя сидитъ въ дворницкой за столомъ, передъ закопченной лампочкой и пишетъ письмо. На столѣ приготовленная ею посылка для солдата. Настя стоитъ передъ столомъ хмурая, замкнутая въ себѣ.

— Еще что написать?

А Настя не знаетъ что и только вытираетъ слезы на щекахъ и вокругъ рта. Никита, на минуту забѣжавшій въ дворницкую, поправляетъ передъ зеркаломъ гладкій проборъ посрединѣ головы и франтовскіе усы.

— Ну, что ты, деревня, рюмы распустила!—роняетъ онъ.—Ну, къ чему это! Безъ всякаго попятія!

— Пропишите, что была на праздникахъ тетка Стеха...—угрюмо говорить Настя.—Всехъ овецъ распродала...

— Ну, вотъ!—презрительно смѣется Никита,—ты еще объ свиньяхъ продикуй! Русскій солдатъ считается защитникъ всей Россіи, такъ она ему про овецъ!

Слышенъ звонокъ у воротъ, и Никита уходитъ.

— Что еще?

— Больше ничего,—всхлипывает Настя.

А впалая неразвившаяся еще грудь Вали волнуется такой нѣжной лаской и острой скорбью. Низко, низко наклонилась надъ письмомъ, касаясь его прядью каштановыхъ волосъ, и стала писать безъ диктовки:

«Мой славный, мой родной! День и ночь моя душа тамъ съ тобою, на страшныхъ чужихъ поляхъ, во рвахъ, въ холодѣ и голодѣ, передъ лицомъ смерти. День и ночь я смотрю на тебя, какъ понесъ ты свою жизнь за другихъ и не знаешь, какъ ты силенъ и великъ. А я маленькая, больная, какъ все въ домѣ уснуть, на колѣняхъ стою. Все молюсь: пусть не тронетъ тебя вражья пуля. Пусть ангелъ-хранитель защититъ тебя бѣлыми крыльями. Полетѣла бы сама къ тебѣ, мой братецъ чистый, цѣловала бы несогрѣвающую шинель твою. Встала бы между смертью и тобой!!..»

Пылаютъ тонкимъ румянцемъ прозрачныя щеки Вали, слезы застилаютъ глаза. А Настя тоскуя слѣдитъ, какъ темными шнурками ложатся на бумагу узенькія строчки.

III.

Мелькаютъ пестрые буднично-торжественные дни, и отъ движенія ихъ и отъ каждаго звука тревожной радостью и тихой грустью дрожитъ расцвѣтшая душа Вали. А сквозь ихъ пеструю сѣть видитъ Валя, какъ на западѣ дни перепутались съ ночами, и время пылаетъ однимъ багровымъ заревомъ, озаряя никогда невиданное дорогое лицо. Пытается Валя представить себѣ его черты и не можетъ. Лелѣетъ въ душѣ его безхитростныя благородныя фразы, и онѣ, святые, растутъ тамъ, наполняя душу, и свѣтятъ и грѣютъ. Иногда зайдетъ въ дворницкую. Хочется поговорить о немъ съ Настей, разспросить. А Настя ничего не умѣетъ рассказать. А Валя не умѣетъ разспросить.

— Онъ... похожъ на тебя?

— Ни... Я въ покойнаго батька, а онъ—въ покойную мать.

На полу, пытаюсь подняться на ноги, ползетъ тотъ самый крестникъ, о которомъ спрашивается въ каждомъ письмѣ съ войны. Видно, тамъ часто думаютъ о немъ... Валя взяла его на руки и стала ласкать. На стѣнѣ виситъ балалайка, по которой онъ тоже скучаетъ. Валя дотронулась пальцами до струнъ—прозвенѣли слабо, будто издалика долетѣли грустные, робко спрашивающіе звуки... Уходитъ Валя къ себѣ и, унеся съ собой письма, снова перечитываетъ ихъ. Пове, что за шестнадцать лѣтъ своей жизни узнала она о красотѣ души человѣческой и ея великихъ подвигахъ, встало передъ ней въ этомъ неизвѣстномъ ей авторѣ.

«...И еще увѣдомляю васъ, не вѣрьте, что я убитой, потому что я слава Богу, до которой минуты живъ-здоровъ, чего и вамъ желаю отъ Господа...

...И еще увѣдомляемъ васъ, что астрійцы народъ голой и худой до того, что слеза беретъ. Хуже насъ...

...А въ случаѣ Богъ меня не вернетъ, то кожухъ и шапка пуцай Охриму до выросту, а балабайку сватови Ехвану. А струны новыя въ ей въ середкѣ...

...И еще когда читали мы послѣдній листъ отъ васъ, то даже трохи не плакали, съ товаришомъ, до чего все достовѣрно списано, неначе въ книжкѣ напечатано. Должно быть составила вамъ какая-нибудь горячая душа и высокой науки.

И покорнѣйше благодаримъ за ихъ многоувеселительную ласку, перелятыца до насъ, и за ихъ гостиницею. И если воны мужескаго пола, то пуцай будутъ мопмъ роднымъ отцемъ и брагнкомъ, а если женскаго рода, то пуцай будутъ моими сестрой и мамой. Что мы считали, что насъ никто не знае, что мы есть въ свѣтѣ, а вдругъ есть людина, которая нашла меня своимъ дорогимъ подаркомъ и ласковымъ словомъ на бѣломъ свѣтѣ. И еще мы ихъ благодаримо отъ своего лица и желаемо отъ Бога хорошаго благополучія и провести ваши дни въ веселыхъ лицахъ и съ веселыми людьми» .

Никогда еще не знала Валя такой большой, негмѣщаемой душою радости.

— Господи! Какъ прекрасенъ миръ... Буду, буду твоей сестрой!—обѣщала Валя, глотая слезы счастья.—Рыцарь мой благородный...

И смѣясь, цѣловала письмо. Стала писать каждый вечеръ и отдавала ему отчетъ во всемъ, что случалось и что пережито за день. И стала ждать отвѣта.

А отвѣта не было. Шли дни, недѣли. Молчала Настя и молчала Валя, и, не сознавая того, обѣ избѣгали встрѣчъ... Однажды сѣрымъ туманнымъ утромъ, когда на мокрыхъ вѣтвяхъ повисли и не могли упасть холодныя капли, принесла Настя письмо съ завѣтной печатью и чужимъ почеркомъ на конвертѣ. Валя разорвала конвертъ и, закрывъ глаза, стала опускаться мимо стула на полъ. Настя посмотрѣла въ ея восковое лицо и, понявъ все, заголосила на весь дворъ. Почеркъ письма былъ не такой, какъ у Юхима: мельче и кудрявѣй.

«Пишу вамъ неприятный привѣтъ. Вашему любезному брату царство небесное славному и храброму вонну Юхвиму Закупному, павшии въ бою подъ N 24 ноября. Попала пуля-злодѣйка, и похоронили подъ тополей возлѣ экономіи, и я поставилъ крестъ надъ нимъ. Когда я ворочался въ траншею по порученію харчей, то меня сострѣваютъ солдаты и говорятъ, что твой товарищъ убитой. Я не вѣрилъ. Когда прихожу, онъ лежитъ мертвой. И я горько заплакалъ надъ своимъ смиреннымъ товарищемъ! И похоронили, и былъ при томъ священникъ, и отпѣли вѣчную память. И еще я вамъ передаю по пнзкому поклону.

Съ тѣмъ прощайте. Трохимъ Кривородкѣ.

И еще прошу не сумуйте.

А молитесь Богу. Така его смерть. Царство небесное братику Юхвиму Хванасовичу, потому что мы были повсегда вкупѣ, какъ близнята. А теперь его нѣту» .

Вяло, нехотя рѣютъ и падаютъ за окномъ хлопья осенняго снѣга, падаютъ и тотчасъ умираютъ на грязной мостовой. И дни рѣютъ блѣдныя полнилые,—не отличишь одинъ отъ другого. Смѣшались въ одну муть съ сезонными ночами. И время, должно быть, остановилось и потухло, какъ потухли свѣтъ и радость въ душѣ Вали.

Слышны мѣрные шаги за окномъ—проходятъ стройные сѣрые ряды. Можеть-быть, среди этихъ сотенъ лицъ есть и его невѣдомыя черты. Но, прильнувъ къ окну, некала и не находила ихъ: неуловимо текутъ человѣческия лица, какъ дождевыя капли. Но гдѣ-то сливаются капли въ могучій потокъ, отражающій небо и обновляющіи землю кровью...

Долгими часами стоитъ Валя у окна на улицу. Не смотрѣтъ бы только въ противоположное окно дома, что выходитъ во дворъ, глазъ на глазъ съ приплюснутымъ косымъ окномъ дворницкой! Тянетъ изъ того окна въ это переносимымъ холодомъ могилы, стынетъ отъ него голова и грудь, тушитъ ея сознание, и сдуваетъ ее, какъ желтый отмороженный лепестокъ.

IV.

Широко раскрытыми глазами смотрит Валя передь собой и сквозь знакомую съ дѣтства обстановку,—стоитъ ли у окна, идетъ ли по улицѣ—ясно видитъ одну новую картину: широкое поле съ убѣгающей за пригорокъ буро-грязной дорогой, справа до синяго лѣса—рвы съ валами желтой глины, а за ними обнаженный садъ и чей-то старый опустѣвшій домъ и одинокій тополь въ сторонѣ; кружатся надъ нимъ галки; холмикъ чернѣетъ у корня... По желанію Валя можетъ удалять и приближать картину, можетъ сдѣлать поле безъ конца широкимъ и можетъ раз-смотрѣть на немъ каждый темный холмикъ до жуткихъ подробностей...

Стали морозы, засветѣла вьюга за окномъ. Коротая въ креслѣ долгую зимнюю ночь, сдвигаетъ и раздвигаетъ Валя жуткую картину. И вдругъ—раздвинулась она до края земли, тьмы народа покрыли ее и всѣ съ ужасомъ и надеждой смотрятъ туда, гдѣ, касаясь неба, идетъ кто-то огромный, неся на согбенныхъ плечахъ что-то свѣтлое, какъ умершее Валло счастье. А подъ нимъ земля изрыгаетъ огонь и смерть и съ трескомъ рвется небо въ клочки... сгибаюсь, мечутся по небу синія и багровыя полосы. Такъ именно представлялся Валѣ Страшный судъ.

— Донесетъ-ли?...—спрашиваетъ Валя цѣпѣя.

Но ближе, ближе онъ и все меньше. Уже различаетъ Валя сѣрую шинель и безкозырную фуражку съ краснымъ околышемъ. И сразу все стихло; вошелъ въ комнату, небольшого роста, конфузливо обходя коверъ, подошелъ къ креслу; просторная шинель плохо прилегаетъ къ щуплому тѣлу,—горбится сзади, воротникъ отсталъ. И безкозырная фуражка—уже обгаренный вѣнокъ. Тонкая темнокрасная струйка протянулась пзъ-подъ него по смуглой щекѣ, оросила выбѣлпный солнцемъ и вѣтромъ пухъ ея и задержалась на шеѣ смѣшаннымъ съ землей сгусткомъ. Вотъ онъ поднялъ глаза и, робко улыбувшпсь, сталъ оправдываться:

— Извиняйте, что долго не писалъ... Такъ что некогда было въ гору гля-путь... Пули, какъ мухи зудятъ...

Валя открыла глаза и не сразу повѣрила, что его нѣтъ уже здѣсь рядомъ, между кресломъ и этажеркой. А потомъ припала безкровнымъ лицомъ къ полу, къ тому святому мѣсту, гдѣ минуту тому назадъ стояли корявые мерзлые сапоги.

Сѣрѣло утро за окномъ, мѣрно и долго, какъ прибой рѣки, били мостовую солдатскіе шаги. Валя подошла къ окну и сквозь замороженное стекло снова стала вематриваться въ тусклый потокъ лицъ. Вдругъ ударили по глазамъ знакомыя черты: и впалая смуглая щека, и шинель горбомъ... Прогянувъ руки, закричала Валя:

— Братецъ мой единый, родной мой... живъ!.. Тебя не тронетъ смерть!.. Не можетъ быть...

Рыдая билась о подоконникъ.

А за окномъ живой волной все билась о мерзлую мостовую мѣрные густые шаги. Высоко поднялся въ морозномъ воздухѣ молодой теноръ запѣвалы. И день разгорался медленно, да робко.

К. Т р е н е в ѣ .

Росла, росла волна прилива,
То бурно мчалась, то ползла
Туда, гдѣ, высясь горделиво,
Дремала вѣчная скала.
Волна несла въ чужую сушу,
Забывъ родимый океанъ,
Свою измѣнчивую душу,
Свой обольстительный обманъ.

Ф е д о р ь С о л о г у б ь .



* * *

Настали бѣдственные дни,
Пришла и стала смерть на стражѣ.
Шипятъ зловѣщіе огни,
Поля, дома—въ дыму и въ сажѣ.

Протяжнымъ плачемъ робкихъ женъ
Звенятъ улылыя селенья.
Никто не будетъ пощаженъ.
Напрасны слезы и моленья.

Но къ церкви Божьей всѣ троны
Въ смятеньи гулкомъ и великомъ.
Одинъ идетъ среди толпы
Съ холоднымъ и спокойнымъ ликомъ.

Безстрашный отрокъ, онъ глядитъ
На всѣхъ печально, но безстрастно,
И равнодушно говоритъ:
— Пускай умру,—мольба напрасна.

Ф е д о р ь С о л о г у б ь .

П О П У Т Ч И К И.

Съ утра до полудня гулялъ по пустымъ и безпѣжнымъ просторамъ холодный сѣверо-западный вѣтеръ, шурша бурою травою и подымая на косогорахъ столбы желтой пыли, смѣшанной со снѣгомъ, кое-гдѣ уцѣлѣвшимъ отъ ноябрьской оттепели. Стоялъ конецъ ноябрю, но снѣгопада не было и только озера блестѣли холодной синью льдовъ и по закрайкамъ ихъ бѣлѣла жесткая крупа, нанесенная бурей. Съ утра до полудня по всему небу бѣжали на востокъ мутныя сизыя тучи, пропадая за исчерна-мглистою полосою далекихъ лѣсовъ.

Къ полудню низко надъ горизонтомъ глянуло желтое солнце, вѣтеръ упалъ и въ пустыхъ поляхъ стало по осеннему тихо. Замерли, застыли въ ледяной корѣ придорожныя травы и одинокия березы съ топкими клястями вѣтвей, печально склоненными надъ промерзлой колеей проселка. Кое-гдѣ на буграхъ ледяные верхи заблестѣли острымъ, рѣжущимъ глазъ блескомъ. Лимонно-желтыми прямоугольниками выступили на поляхъ новыя соломенныя крыши разбросанныхъ тамъ и сямъ хуторовъ. И еще безотрадиѣ вырисовались голыя сквозныя березовыя рощи въ сторонѣ отъ пустынной дороги.

Въ первомъ часу дня по проселочной дорогѣ рысью бѣжала низкорослая буланая лошадка, таща за собою линейку, въ которой сидѣло двое, учитель Максимъ Ивановичъ Трошинъ и мужикъ его деревни Пвпъ Савельевъ. Путь ихъ лежалъ на ближнюю станцію, откуда до уѣзднаго города было тридцать верстъ. Учитель Трошинъ ѣхалъ въ городъ за жалованьемъ и отчасти для того, чтобы повидать знакомыхъ.

Учитель былъ молодой, лѣтъ 27-ми, сухощавый, чернявый, съ острымъ клинушкомъ рѣдкой бородки и рѣдкими усами, съ небольшимъ приятнымъ лпцомъ и вѣчно сощуренными глазами, отчего казалось иногда, что учитель усмѣхается, когда онъ былъ серьезенъ. На немъ было теплое ватное пальто и черная папаха, надвинутая на брови. Умѣстивъ въ лплейкѣ ноги въ теплыхъ резиновыхъ калошахъ, онъ сидѣлъ согнувшись, какъ всегда сидятъ въ экипажѣ слабогрудые люди, привычныя къ пшечной работѣ и не знающіе физическаго труда. Кисти рукъ онъ засунулъ въ рукава пальто и, хотя холодъ былъ невеликъ, чувствовалъ ознобъ въ спинѣ и старался поглубже уйтн головою въ воротникъ пальто.

Пвпъ Савельевъ былъ пожилой, лѣтъ подъ пятьдесятъ, мужикъ, рыжий и широколицый, съ толстымъ носомъ-дулей и совершенно пропадающими въ морщинахъ вѣкъ голубыми глазами. Онъ сидѣлъ, выставивъ правую ногу въ вале-

номъ сапогѣ изъ линейки, и заскорузлыми негнуцимися пальцами перебиралъ веревочныя вожжи, поминутно причмокивая губами. Совеѣмъ новый овчинный тулупъ его приятно бросался въ глаза своею желтизною. На короткой шеѣ былъ новязанъ грязный платокъ, концы котораго трепались по вѣтру.

— Къ Миколѣ дѣло идетъ, а снѣгу нѣту. Впцать, и не будетъ до самыхъ до Святокъ...—говорилъ онъ, не поворачивая головы къ учителю, а лишь слегка качая ею въ его сторону, точно давая понять, что именно къ нему, а не къ кому другому онъ обращалъ свои слова.

— Да, нѣту,—безразлично отвѣчалъ учитель.

— То-то, нѣту. Не настоящая это зима. Еще слава Богу, земля застыла, озерá уснули, оттепелей этихъ не стало, дорога-то вотъ, укатали колесомъ. А то какъ грудой послѣ тепла замерзнетъ,—чисто наказанье, тряпесь тутъ, чего и терпѣть не могу. А что въ Брюсовомъ календарѣ про эту зиму обозначено, читаль ты, Максимъ Ивапычъ?

— Нѣтъ, не читаль. Да, вѣдь, это вздоръ,—Брюсовъ календарь,—отозвался Трошинъ, шевеля плечами, чтобы прогнать ощущение холода въ лопаткахъ.

— Какъ же вздоръ. Нѣтъ, это паука. Вотъ говорилъ мнѣ нашъ одинъ, онъ тамъ подъ Питеромъ жилъ, такъ видалъ, какъ они, эти самые, въ небо глядятъ. Трубы, говорилъ, наводятъ, чисто пушки какія. И всякую погоду указываютъ, когда снѣгъ, когда дождь.

— Такъ это обсерваторія.

— Ну, вотъ.

— Только зимы тамъ не предсказываютъ. То-есть, они могутъ, какъ бы тебѣ сказать...

Учителю хотѣлось объяснить своему собесѣднику, что такое обсерваторія, но онъ подумалъ, что Иванъ Савельевъ все равно не пойметъ его да и по тону его видѣлъ онъ, что разговоръ затѣянъ такъ, ради скуки, и не представляетъ для спутника большого интереса.

Проѣхали узкій мостикъ черезъ застывшій ручей и стали медленно подыматься въ гору по песчаной колеѣ. Сухо шуршали колеса, не увязая въ промерзломъ пескѣ.

— Но-о, ты, барыня! Страсть не любить, когда гдѣ круто,—усмѣхнулся мужикъ, кивая на кобылку, которая, напрягшись и далеко отставляя заднія ноги, тащила въ гору:—Иѣнитея, чего я терпѣть не могу.

За горой пошла ровная укатанная дорога, желтѣвшая среди поля. У перелѣска встрѣтилось село съ деревянной церковкою и недлиннымъ рядомъ избъ, въ стекла которыхъ нестерпимо ярко било солнце. Иванъ Савельевъ указалъ на второй съ краю домъ, выдѣлявшійся своими размѣрами и навѣсомъ изъ новаго теса.

— Гляди, Максимъ Ивапычъ, вывѣску-то сняли. Пропала матушка-водочка. Каюкъ.

Трошинъ вспомнилъ, что домъ былъ раньше казенкой.

— Жалѣешь?—насмѣшливо спросилъ онъ.

Иванъ Савельевъ глядѣлъ прямо передъ собою и перебиралъ вожжи.

— Жалѣть печего, а, конечно, веселья безъ ней меньше.

— Безобразія, скажи, меньше,—отвѣтилъ учитель. Онъ вспомнилъ, какъ прошедшій годъ почти объ эту пору повстрѣчался онъ за деревней въ сумеркахъ

съ пьяпой ватагой парней и какъ одинъ пзъ ихъ пп съ того ни съ сего двинуль его въ спину кулакомъ и, можетъ быть, повторилъ бы ударъ, если бы другіе не признали въ пемъ учптеля. Парни отошли, но ударившій все грозилъ кулакомъ и хрипло оралъ, удерживаемый за плечи товарищами.

— Эй, ты, читатель-писатель, подь сюды, я тебѣ пропишу.

— Да, вѣдь, это ужъ одно къ одному,—говорилъ Иванъ Савельевъ, сворачивая кобылу съ выбитой колеи на ровное мѣсто.—Говорилъ ли одинъ такой: гдѣ пьютъ, тутъ и бьютъ. А конечно, теперь драки этой не стало. Бывало, на Покрова у насъ рѣдко когда не побьются. Иной разъ и до смерти затюкаютъ... Пьяному-то оно просто. Я съ вѣку не дирался, а бываетъ, идешь да глядишь, чѣмъ бы оборониться... Такъ-то иду я на Егорья съ Иванъ Васильевымъ, съ Зуенкомъ, съ праздничной, вотъ и началъ онъ ко мнѣ приставать. Извѣстно, накачавшись. Я его и такъ и сякъ,—отвяжись только. А онъ, того не слухая, какъ развернется да ке-экъ цопнетъ меня по уху,—чего я терпѣть не могу... Вотъ оно какъ бывало... Ну, а опять же, спрошу я тебя, чѣмъ теперича мужику заняться? Съ чаю, братка, не разыграешься. Вотъ оно и выходитъ, что веселья безъ ней меньше.

Учитель молчалъ. Издалека, пзъ-за лѣса, куда убѣгала дорога, въ мертвомъ воздухѣ донесся едва слышный гудокъ паровоза. Мужикъ встревоженно дернулъ вожжами и поглядѣлъ на солнце.

— Товарный пошелъ. Только это онъ съ опоздаьемъ.

Сзади, быстро падвигаясь на нихъ, послышался возрастающій шумъ экипажа, звяканье бубенчиковъ и дробный топотъ лошадей по застывшей дорогѣ. Они обернулись и свернули съ пути. По проселку крупной рысью бѣжала тройка вороныхъ. Рослый, широко грудый коренникъ мѣрно и сильно билъ копытами землю. По лошадямъ и по рыжей бородѣ кучера учитель узналъ тройку бывшего предѣдателя уѣздной управы Калитина. И точно, это былъ онъ. Калитинъ сидѣлъ, поднявъ воротникъ мѣхового пальто, и разбѣянно глядя по сторонамъ. Учитель снялъ папаху и поклонился. Калитинъ мелькомъ, пасколько позволялъ ему бѣгъ лошадей, глянулъ на учителя и приложилъ по военному руку въ лайковой перчаткѣ къ высокой каракулевой шапкѣ. Тройка пронеслась и стала удаляться, сливаясь съ бурными полями.

— Ерой нашъ поѣхалъ, Алексѣй Андреевичъ. А за что высадили-то его, не слыхалъ ты?

— Да, вѣдь, срокъ ему кончился. А на новый не выбралъ.

— Все-таки общдо. Онъ человекъ не худой. Банки эти завелъ, кредитные. Намъ они, банки, очень на пользу. Теперь дали тебѣ денегъ, проценты отсчитали, какой тамъ приходится,—и дѣлай свое дѣло, только сроки помни. Черезъ годъ пришелъ, отдалъ долгъ, а черезъ двѣ педѣли, ежели хошь, опять бери. Съ насъ вотъ Богатыревъ сколько дралъ этихъ процентовъ, не сосчитать. Къ Егорью берешь ты двадцатьянку, а къ Покрову песп ему все тридцать пять. А не слыхалъ ты, Максимъ Ивапычъ, что его, Богатыря, сына начисто скалѣчили?

— Убили его сына, слыхалъ я давно.

— Такъ то Степапа. Того еще въ августѣ. А я про Егорку. Безъ рукъ въ Москвѣ лежатъ.

— Врешь, пемось.

— Честно говорю. Бздилъ Новиковъ, такъ впдалъ. Обѣ руки отрѣзано.

Учитель пробурчалъ что-то, кутаясь въ пальто и морщась отъ понадавшихъ ему въ лицо комковъ мерзлой земли, летѣвшихъ изъ-подъ копытъ лошади.

Быль второй часъ дня, а уже чувствовалось приближеніе сумерекъ. Ниже опустилось застилаемое тучами желтое солнце и отъ березъ по землѣ протянулись длинныя тѣни. Холодный вѣтеръ пронесся по полю, закачалъ можжевельникъ и ольшаникъ и побѣжалъ на востокъ, срывая кое-гдѣ съ земли сваявшуюся траву и крутя ее въ воздухѣ. И что-то неуловимое, предвечернее уже разстиралось въ просторѣ полей и луговъ, лилось въ обнаженные чащи и растекалось по дорогамъ.

На самомъ переѣздѣ желѣзной дороги, въ полуверстѣ отъ станціи, которая уже видѣлась на невысокомъ пологомъ холмѣ за рощей, путники догнали маленькую линейчку въ одну лошадь. Еще издали Иванъ сказалъ учителю:

— Отецъ Андрей, Завыдрицкіи батюшка, на станцію ѣдетъ.

Трошникъ былъ знакомъ съ отцомъ Андреемъ и, поравнявшись, поздоровался. Маленькій, сухопькій батюшка попридержалъ вожжи и улыбнулся привѣтливо, кивнувъ головою въ теплой шапкѣ.

— На станцію?—крикнулъ учитель.

— Грѣшенъ Господу Богу,—слабымъ говоркомъ и улыбаясь отвѣтилъ батюшка.—За газеткой ѣду. Обмануль попадю, сказалъ, что на потребу, запретъ лошадку и ѣду. Очень ужъ хочется почитать. Про войну что слышно, читали?

— Да все хорошо. Опять наши восемь тысячъ въ плѣнъ забрали.

— Австріяковъ?

— Да.

— Австріяковъ это ничего. Вотъ пруссаковъ бы побольше.

Иванъ тропуль вожжи.

— Увидимся!—прокричалъ учитель, оборачиваясь.

— Хорошій попъ, тихой!—отозвался Иванъ, ухмыляясь въ бороду.—Понадья евоная—ядъ-баба, здоровенная и люта́я, а онъ тихой. Бонтея ее. Дива, право. А попъ хорошій.

Дорога вблизи станціи была вся выбита ухабами и линейка ныряла изъ ямы въ яму, скрипя и поминутно черкая крыломъ мерзлую землю.

— Что пѣмцы снарядами расколотили!—говорилъ Иванъ, причмокивая и вмѣстѣ съ тѣмъ натягивая вожжи.

На деревянномъ крыльцѣ станціи учитель увидалъ рослую фигуру урядника Ильи Судукова. Судуковъ, рыжій, краснолицый мужчина среднихъ лѣтъ, съ великолѣпными рыжими усами, стоялъ, широко разставивъ ноги, вематриваясь въ подѣзжавшихъ, и небрежно козырнулъ, узнавъ учителя.

— Скоро поѣздъ, Илья Ильичъ?

Урядникъ затянулся папирской и отвѣчалъ рокочущимъ басомъ, которымъ онъ славился въ уѣздѣ.

— Моментально. Три часа подождете, онъ тутъ и будетъ. А ежели пожелаете по шпаламъ пѣшедраломъ, то раньше его въ городъ поспѣете.

— Шутите вы. Опоздалъ?

— Не то, чтобы. Расписание перемѣнили.

— Вотъ ужъ... чего я терпѣть не могу—сочувственно отозвался Иванъ Савельевъ, сокрушенно качая головой, хотя ему не было никакого дѣла до поѣзда.

— У насъ и Калигинъ тутъ сидитъ, дожидается!—указалъ Судуковъ на

знакомую учителю тройку вороныхъ, медленнымъ шагомъ огибавшую вдаль станционную площадь.

Въ тѣсныхъ и темныхъ сѣняхъ висѣлъ густой чадъ махорки и кислый запахъ овчины. Нѣсколько мужиковъ стояли у окна, курили цыгарки и поминутно сплевывали на асфальтовый полъ. Хриплый голосъ говорилъ, смакуя слова и придавая особую интонацію ругательствамъ:

— Тады потребовалъ онъ его къ себѣ... Потребовалъ,—да какъ дастъ ему въ мор-рду. «Ахъ ты, е-сукинъ, говоритъ, е-сынъ! Все мои генералы теперича, говоритъ, кровь свою проливаютъ, а ты, мазурá несчастная, какъ себя воображаешь? Ты гдѣ долженъ, подлецъ, находиться? У дѣвкахъ твое мѣсто?.. Да опять его въ морду. Тотъ отъ его, а онъ за имъ, какъ былъ, при всей регалин. Держите, кричишь, меня, а не то убью подлеца!

— Да-да, этотъ тебѣ... сурьезный!—отозвался другой голосъ.

— При емъ подъ котель не залѣзешь, хошь ты и генераль,—снова заговорилъ хриплый голосъ:—Онъ, братъ...

Голосъ оборвался. Мужики внезапно обратили вниманіе на вошедшаго и примолкли. Учитель поглядѣлъ въ ихъ лица и, не найдя ни одного знакомаго, прошелъ дальше въ общую комнату и, пріотворивъ дверь въ другую, гдѣ обыкновенно дожидалась поѣзда «чистая» публика, столкнулся лицомъ къ лицу съ Калитинымъ, быстро шагавшимъ по небольшой пустой комнатѣ. Калитинъ прищурился на него и, узнавъ, кивнулъ головой.

— Здравствуйте, педагогъ. Входите, не стужите миѣ помѣщенія!—шутливо пригласилъ онъ Трошина.—Да входите же скорѣе. Ужъ не боитесь ли вы меня, а? Не бойтесь, я вамъ теперь не начальство!—смѣялся онъ, подавая учителю небольшую бѣлую и нервную руку съ бирюзою на мизинцѣ.

Калитинъ былъ на видѣ лѣтъ 35-ти, брюнетъ, съ подстриженными усами и красивыми сухими чертами лица. У него была привычка морщить брови, отчего лицо его казалось строгимъ и мрачнымъ. Одѣтый въ элегантный сѣрый дорожный костюмъ, онъ производилъ впечатлѣніе не помѣщика, а, скорѣе, крупнаго коммерсанта, бѣдущаго по своему торговому дѣлу.

Калитинъ всего нять лѣтъ какъ поселился въ уѣздѣ, принявъ въ наслѣдство отъ отца крупнѣйшее въ округѣ имѣніе и временно, для устройства дѣлъ, какъ онъ говорилъ, оставивъ службу и Петербургъ. Но, проживъ два года въ деревнѣ, онъ, къ удивленію многихъ, ноставилъ свою кандидатуру въ предсѣдателя управы и былъ выбранъ почти единогласно голосами помѣщиковъ и крестьянъ, изъ которыхъ мало кто зналъ его въ лицо, никто не зналъ о его способностяхъ, но все знали, что у него богатѣйшее имѣніе въ уѣздѣ. Три года Калитинъ «оживлялъ» уѣздъ, внося въ собраніе самые разнообразныя проекты, разбѣзжая по столицамъ, требуя и выпрашивая десятки тысячъ рублей на меліорацию и кооперативы, привлекая къ дѣлу земскихъ работниковъ изъ другихъ губерній, вѣчно засѣдая, споря, критикуя и ожесточенно отражая нападки другихъ. Три года онъ раздражалъ и раздражался, восхищалъ однихъ и доводилъ другихъ до бѣшенства своими рѣчами и планами. А когда наступили новые выборы, онъ былъ закиданъ черняками такъ же единодушно, какъ раньше былъ выбранъ предсѣдателемъ. И, какъ это всегда и вездѣ бываетъ, сразу все заговорили о томъ, что Калитинъ велъ уѣздъ къ разоренію, истратилъ массу денегъ на ненужныя затѣи и тѣ люди, которые ранѣе восхищались имъ, первые и громче другихъ

кричали теперь о его непригодности и радовались его поражению. Властный и самолюбивый, он страдал от того, что у него вырвали из рук дѣло, которое он успѣлъ полюбить и еще болѣе оттого, что самолюбие его было уязвлено, по ему казалось, что страдает онъ за самое дѣло. И оттого все, что теперь дѣлалось въ земствѣ, казалось ему рядомъ грубыхъ непростительныхъ ошибокъ, или скрытыхъ злоупотребленій.

— Вы, вѣдь, изъ Ерзовки, неправда ли? Иванъ Ивановичъ, такъ васъ зовутъ?—мягкимъ дворянскимъ баритономъ и слегка грассируя, говорилъ онъ, пожимая руку Троншна.

— Максимъ Ивановичъ,—поправилъ тотъ.

— Ахъ, да, Максимъ Ивановичъ. Простите великодушно! чуть-чуть смутился Калитинъ и сразу заговорилъ, чтобы заглушить неловкость:—Въ городъ? Къ инспектору? Шутъ гороховый этотъ вашъ инспекторъ. Три года выражалъ управѣ свою благодарность и солидарность, а теперь кричитъ, что мы наводнили школы революціонной беллетристикой. Ре-во-люціонной!.. Какъ вамъ это покажется! У насъ на каждой книжкѣ имѣется помѣтка, одобрено и допущено... Даже «совѣмъ одобрено», даже «весьма допущено»,—а онъ—революціонная!

— Онъ новѣйшей только не любитъ, а то ничего,—замѣтилъ Троншнъ:—Успенскаго не любитъ. У меня увидалъ, приложенія къ Нивѣ, и говоритъ: «зачѣмъ вы этого пьяницу держите».

Калитинъ сочно и громко засмѣялся, показывая ровные, крупные зубы и лицо его сразу помолодѣло.

— Такъ, такъ... Успенскій—пьяница и, кажется, неимѣющій чина?.. Пушкинъ—игрокъ и мотъ, Достоевскій—каторжникъ, Лермонтовъ—дуэлистъ, Тенгинскаго пѣхотнаго полка подпоручикъ, Тургеневъ—губернскій секретарь... а онъ—надворный совѣтникъ и—болванъ!—круто закончилъ онъ, усмѣхаясь, и снова фыркнулъ.—Что жъ, выпишете себѣ сочиненія Крапоткина, князь, и флигель-адъютантомъ былъ. Или Лаврова—артиллерійскій полковникъ. Эгихъ, думается, можно, а?

Онъ глубоко вдохнулъ, повернулся на каблукахъ, прошелся по комнатѣ, вынулъ изъ бокового кармана портсигаръ съ толстымъ золотымъ вензелемъ ногъ коронкой и, щелкнувъ крышкой, протянулъ учителю.

Вошелъ отецъ Андрей, держа въ рукѣ газеты. Онъ, конфузливо улыбаясь, поздоровался съ Калитинымъ, который обратился къ нему шумно и весело.

— А-а, вотъ это прямо сюрпризъ. Отче Андрею! «Аще кто отъ іереевъ, имѣяй косматы усы»... Какъ это у васъ тамъ, ха-ха-ха... Ну, дорогой мой, вы насъ совѣмъ забыли. Даже за книжками не заглянете, а какія я книжицы получилъ. Вѣдь, онъ у меня,—обратился Калитинъ къ учителю,—всю библиотеку перечиталъ. Черно книжникъ онъ у насъ, отецъ Андрей!—смѣялся Калитинъ, говоря объ отцѣ Андрѣ съ тѣмъ ласковымъ и немножко паемѣшливымъ участіемъ, съ какимъ говорятъ обыкновенно о безобидныхъ и пріятныхъ чудакахъ.

Священникъ, и точно, казался чудаковатымъ, маленькій, утопающій въ широкой хламидѣ съ откиднымъ капюшономъ, съ лицомъ, сплошь заросшимъ густыми колючими волосами и длинной каштановой бородой, въ которой запутались клочки сѣна, съ свѣтлыми, почти безцвѣтными глазами подъ навѣсомъ выпуклаго лба и густыхъ сросшихся бровей.

— Все читаетъ, все читаетъ,—весело говорилъ Калитинъ, держа батюшку

за пуговицу его хламиды.—И не подумайте, что одно научное, пѣтъ, и р-романы... Только Мопасана не беретъ, Мопасанъ ему не по сану. Однако, милый вы мой, скажите мнѣ, пожалуйста, что же вы памѣрены дѣлать въ дальнѣйшемъ, а?— съ притворной строгостью обратился онъ къ священнику.

— Я... то-есть, какъ это?

— Да такъ. Карьеру какую избрать себѣ думаете?

Отецъ Андрей смущенно улыбнулся и махнулъ широкимъ рукавомъ.

— Все шутите.

— Нѣ-ѣтъ-съ, не шучу. Да развѣ вы не слышали? Въ отставку васъ веѣхъ, или за штатъ, такъ у васъ, кажется, выражаются... За... ненадобностью! Христѣанство упраздняется за ненадобностью. Рушится вся ваша постройка-съ.

— Все шутите, все шутите,—заулыбался снова маленькии батюшка.

— Шучу?—вопросительно прищурился Калитинъ.—Ну, пожалуй, шучу. Не знаю только, какъ у васъ языкъ повернется проповѣдывать веѣ ваши догмы, когда опытъ войны доказалъ, что въ Европѣ живетъ сто миллионъ двуногихъ звѣрей и гадовъ.

— Вы о пѣмцахъ?—спросилъ учитель, хотя понималъ, что вопросъ лишній. Ему хотѣлось вставить свое слово.

Калитинъ не отвѣчалъ. Улыбка сбѣжала съ его лица и оно стало жесткимъ и сухимъ. Онъ укоризненно покачалъ головою.

— Эхъ, батюшка, батюшка. Съ газетами вы носитесь, какъ, извините, съ писаной торбой, а... вы о Геккелѣ слышали?

Священникъ вопросительно поднялъ брови и молчалъ.

— Гегель—философъ...—сказалъ Трошинъ, вѣномнивъ что-то читанное.

— Э, не туда хватили!—улыбнулся Калитинъ.—Геккель, а не Гегель. Ну, а вы, батюшка, тоже сего мужа не знаете? Такъ я вамъ скажу...

— Нѣтъ, отчего же,—тихимъ и робкимъ голосомъ, потирая руки улыбаясь, отозвался отецъ Андрей.—Читать не приходилось, а такъ... Геккель Ернестъ, авторъ лжеученія, именуемаго монизмомъ, совершенно противнаго духу Христовой церкви. Кромѣ того, ученый и...

Калитинъ звонко расхохотался и потрепалъ отца Андрея по плечу.

— Сокровище вы, отецъ Андрей. Именно, лжеучитель и еретикъ и, кромѣ того, ученый. Но надо вамъ сказать,—продолжалъ онъ, становясь серьезнымъ и сдвигая брови,—надо сказать, что такого ученаго, какъ этотъ еретикъ, не было, пожалуй, со времепъ Бэкона и... пу, да что говорить. Вы почитайте, что пишутъ о немъ въ мировой литературѣ. Философъ, естествовѣдъ, путешественникъ, членъ веѣхъ академій и самъ—академия,—говорилъ Калитинъ, воодушевляясь: Старикъ лѣтъ подъ девяносто... Этакіи Моисей науки, понимаете. Стоитъ опъ на учепомъ Спнаѣ, «насыщенный днями» ... Великолѣпная фигура, мой милый. И вотъ къ этому самому Моисею подходятъ съ вопросами о войнѣ и о непріятелѣ. А опъ, мировой-то гений...

Глаза Калитина блеснули настоящей злобой и ротъ задрожалъ.

— А опъ, старая с-собака, и говоритъ:

Калитинъ поджалъ нижнюю губу и, стараясь шамкать по-стариковски, зашнѣлъ.

— Вш-шѣхъ передуш-шить, вш-шѣхъ переш-штрѣлять!.. Ахъ, ты с...

Онъ круто повернулся на каблукахъ, прошелся и остановился передъ внимательно слушающимъ учителемъ.

— Геккель, Гауптманъ, Зудерманъ, Думмерманъ, вся Германія, весь ихъ Пантеонъ кричитъ о необходимости истребленія всѣхъ народовъ. А они—ткнулъ онъ пальцемъ въ сторону священника—будутъ учить насъ милосердію. Человѣколюбіе къ звѣрямъ проповѣдывать. Ахъ, вы, чернокнижники и фарисеи! Нѣтъ, настоящая война начнется тогда, когда будетъ заключенъ миръ. Вѣдь, не могу же я повѣрить, что Германія могла стать такою только потому, что во главѣ ея двадцать пять лѣтъ стояло это воплощенное ничтожество, выродокъ этотъ, Глицеринеръ. Ужъ если Геккель, то что ужъ говорить о Глицеринерѣ! — воскликнулъ Калитинъ, съ видимымъ удовольствіемъ озлобленія, некая слово Гогенцоллернъ. И съ непослѣдовательностью возбужденнаго человѣка прибавилъ:—Вы только обратите вниманіе, какое гнусное сочетаніе звуковъ: Виль-гельмъ... Виль-гельмъ...—повторилъ онъ.—Ужасно противно звучитъ, ужасно! Да и наше народное названіе, оно тоже мистически-жутко и противно: нѣмцы... Нѣмые люди... Нѣмцы. Напоминаетъ марсіанъ Уэльса, право.

— У насъ и чухонъ пѣмцами зовутъ,—сказалъ Трошинъ. Онъ снова сказалъ это для того, чтобы вставить свое слово и сразу смутился, подумавъ, что сказалъ глупость. Калитинъ поглядѣлъ на него разсѣянно и вздохнулъ. Видно было, что онъ всецѣло занятъ тѣмъ, что онъ переживаетъ, и все, что бы ни сказали ему случайные собесѣдники, все это, будь оно умно, или глупо, значительно, или ничтожно,—не могло быть для него ничѣмъ инымъ, какъ только поводомъ для попой вспышки раздраженія.

— Да, милый мой... И этихъ марсіанъ мы же и воспитали... родителямъ на утѣшеніе. И, вѣдь, какъ воспитали! — воскликнулъ онъ съ злобною грустью и вновь оживился такимъ же злобнымъ оживленіемъ.—У меня дядя губернаторомъ былъ тамъ, на Югѣ... Такъ вотъ, понимаете, ѣхалъ онъ по ревизіи осенью, степью, въ невылазную грязь. Въ шестидесяти верстахъ отъ города увязъ его автомобиль и сидитъ его превосходительство ракомъ на мели. Исправникъ съ нимъ былъ, растерялся сперва, а потомъ проситъ позволить ему съѣздить на хуторъ—тамъ одинъ, Фридрихсталь, или Вильгельмгофъ, что ли, попросить у помѣщика его машины. Дядюшка въ удивленіи: какой на хуторѣ автомобиль, однако, дѣлать нечего, разрѣшилъ. И что бы вы думали,—строго обвелъ глазами собесѣдниковъ Калитинъ,—черезъ полтора часа подкагываетъ къ нему по трясицѣ этотъ восьмидесяти-сильный пѣмецкій Пиппъ и шофферъ, этакій, знаете, нагло-любезный пруссакъ, приглашаетъ дядюшку на самомъ чистокровномъ русскомъ языкѣ.—Пощаливайте, герръ-губернаторъ, на наша машинка! Нѣтъ, каково!.. Дядюшка мой на что ужъ жеманфишистъ петербургскій, а и его покорило... Однако, поѣхалъ-таки на нѣмецкой машинкѣ... Ха-ха-ха...

— Культурные люди,—вздохнулъ отецъ Андрей, улыбаясь своей робкой и пріятной улыбкой.

— Ку-ультурные... Денежные мѣшки, скажите. Обобрали, обокрали Россію, вотъ и завели культуру. Нѣтъ, чортъ побери, нѣтъ! Я себѣ такъ представляю нашу границу послѣ войны: столбъ съ орломъ и надпись въ германскую сторону: «Heraus» ... Heraus! Heraus!—прокричалъ онъ, шагая по комнатѣ и потрясая простертыми вверхъ руками, отчего защелкали крахмальные манжеты:—туть-то вы, сударики, увидите, какъ это будетъ юберъ-аллесъ безъ русскаго

хлѣбца. Какъ подведетъ вамъ вашъ пивныя брюхи, вотъ вы и узнаете это «юберъ аллесъ». Предупредительная война!.. Нѣтъ, какой цинизмъ, какой звѣрскій цинизмъ въ этомъ понятіи! До чего дошли мерзавцы, выкормыши наши, содержанцы негодные, дважды спасенные... О, гады!—захлебнулея Калитинъ и судорожно схватился обѣими руками за отвороты дорожной куртки аглицкаго фасона, точно ему мѣшало дышать.

Учитель молча смогрѣлъ на движенія его маленькихъ холеныхъ рукъ. Гипно-истерическіе выкрики Калитина очень нравились ему и онъ внутренне стыдился, что до сей поры мало пепавидѣлъ нѣмцевъ. Отецъ Андрей, укоризненно покачивая лохматой головой, блестящими добрыми глазами слѣдилъ за помѣщикомъ. Какъ все очень доброе и слабые люди, онъ искренно преклонялся передъ силой, энергіей и рѣзкостью другихъ. И Калитинъ, безъ словъ понимая тѣ чувства, которыя онъ возбуждалъ въ собесѣдникахъ, довольный собою, искренно негодуя, говорилъ рѣзкимъ, не допускающимъ возраженій, тономъ.

— Да, война впереди. Вотъ вы—учитель,—обратился онъ къ Трошину.— Ваше дѣло великое, милый мой. Балалаечку-то прочь и всякія эти фигли-мигли изъ хрестоматіи насчетъ братства народовъ, всю эту вредную галиматью—тоже прочь. Учите будущія поколѣнія ненавидѣть, понимаете, ненавидѣть смертельной ненавистью. Такъ и начинайте урокъ.—Гришка, кто тятку убилъ? «Нѣмцы».— Гришка, что надо дѣлать съ нѣмцами? «Бить». Всегда, нынѣ и присно—бить, бить и бить!

— Ну, ужъ это, право, даже и... какъ это можно такъ говорить!—укоризненно пробормоталъ батюшка, взмахнувъ руками въ широкихъ рукахъ хламиды и одновременно бросивъ тоскующій взглядъ на кипу грязно-сѣрыхъ листовъ, лежавшую у него на колѣняхъ. Ему правилось послушать Алексѣя Андреевича, но еще больше хотѣлось почитать. Отецъ Андрей былъ изъ тѣхъ несчастныхъ русскихъ людей, для которыхъ чтеніе давно стало страстью, неодолимой потребностью, замѣняющею все радости жизни.

— А какъ наши дѣла, Алексѣй Андреевичъ?—почтительно обратился учитель.

— Дѣла? Ничего, хороши. Побьемъ ихъ, разумѣется. Не сегодня, и даже не сего мѣсяца и года, но побьемъ на-смерть, это вѣрно. Нѣтъ, что меня радуетъ, это—армія!—оживился онъ снова.—Вѣдь, ничего подобнаго не было тамъ на Дальнемъ... Какая доблесть! И какая тайна, какъ все это по-настоящему, именно, по-настоящему. Вотъ у меня beau-frère,—полковникъ генеральнаго штаба. Такъ мы съ женой только и знаемъ отъ него, что пріѣхалъ въ Варшаву да уѣхалъ изъ Варшавы да пришлите шелковаго бѣлья, потому что въ полотняномъ пасѣкомыя донимаютъ. Вотъ вамъ и все новости,—засмѣялся Калитинъ, засовывая руки въ карманы куртки и прохаживаясь по комнатѣ.

— Однако, чортъ знаетъ, когда же поѣздъ!—воскликнулъ онъ и, набросивъ на плечи пальто, надѣвъ шапку, вышелъ.

— Хорошій бояринъ,—сказалъ священникъ, глядя вслѣдъ ушедшему.

— А вы съ нимъ согласны?—неодобрительно спросилъ учитель.

Отецъ Андрей вздохнулъ и махнулъ рукой.

— Какое же согласіе. Распаленъ человекъ, вотъ и негодуетъ. Конечно, всякому обидно. Однако, замѣшкался я. Грѣшенъ Господу Богу, ничего не дѣлаю какъ слѣдуетъ. Попадья-то одна... Поѣду ужъ,—заторопился онъ, собирая газеты и запахиваясь.—Прощайте, Максимъ Иванычъ.

И священникъ вышелъ. Слышно было за непритворенной дверью, какъ прощался онъ съ Калитинымъ, и кто-то чему-то смѣялся раскатистымъ здоровымъ смѣхомъ.

Учитель, повременивъ, тоже вышелъ. Священника уже не было, а рядомъ съ Калитинымъ у кассы, облокотившись на деревянный выступъ, стоялъ земскій пачальникъ Поповъ, коротконогій приземистый пучеглазый здоровякъ съ круглымъ лицомъ и закрученными усами. Учитель поклонился ему, подходя къ кассѣ. Земскій, всмотрѣвшись, кивнулъ головой, но руки не подалъ. Учитель взялъ билетъ и направился къ выходу.

— Вы куда?—разсѣянно-любезно спросилъ Калитинъ.—Поѣздъ скоро.

— Да у меня... вещи тутъ.

— А-а... Ну, до свиданья. Такъ ты говоришь о пособіяхъ,—перешелъ онъ къ Попову.—Но, вѣдь, и это у насъ поставлено чортъ знаетъ какъ...

Учитель вышелъ на перронъ. Было уже совсѣмъ темно, и во мглѣ пепастаго ноябрьскаго вечера тускло мигали подслѣповатые стаціонные фонари, освѣщая кирпичную водокачку и рельсы и оставляя въ темнотѣ рядъ призраковъ-вагоновъ на запасномъ пути. Небо было низкое, черное, безъ звѣздъ. Съ сѣвера, съ невидимыхъ полей тянулъ рѣзкій холодный вѣтеръ. Кучками стояли мужики, терпѣливо дожидаясь поѣзда.

Трошинъ прошелся по площадкѣ передъ станціей и, замѣтивъ лавочку въ концѣ ея, возлѣ деревянной рѣшетки, отдѣляющей жиденькій садикъ начальника станціи, направился туда. Одному, безъ священника, ему не хотѣлось возвращаться въ комнату да къ тому же съ Калитинымъ былъ Поповъ. И онъ рѣшилъ подождать поѣзда здѣсь.

Онъ приблизился къ лавочкѣ, на которой уже сидѣлъ кто-то темный, большой, одѣтый въ длинную дорожную шубу. Этотъ пошевелился, повернулъ голову къ Трошину и учитель услышалъ старческій голосъ.

— Максимъ, что ль? Ивана Ерзовскаго сынъ?

Вглядѣвшись, учитель увидѣлъ впалые глаза подъ кустистыми бровями, опавшія морщины щекъ, густую путаную бороду, и узналъ того самаго Тимофея Васильевича Богатырева, про котораго говорилъ ему въ дорогѣ Иванъ Савельевъ. Богатыревъ медленно прогянулъ ему руку въ вязаной рукавицѣ.

— Максимъ и есть. Въ городъ ѣдешь?

— Въ городъ. И вы?

— И я въ городъ, только въ другой. Въ Москву ѣду. Ну, садись, что стоишь. Не выростешь, небось.

Богатыревъ говорилъ тѣмъ особеннымъ голосомъ, какимъ говорятъ только люди, знающіе настоящую власть и силу, спокойнымъ, ровнымъ, договаривая каждый слогъ, очевидно, будучи увѣренъ, что собесѣдникъ долженъ слушать его внимательно. И услышавъ этотъ ровный голосъ, становилось ясно и понятно для всякаго, что именно этотъ старикъ и есть настоящій хозяинъ и владыка пяти волостей, слово котораго было закономъ на сорокъ верстъ въ округности.

Учитель Максимъ Ивановичъ, подобно тысячамъ сверстниковъ, узналъ о Богатыревѣ рано, еще босопогимъ Максимкой, и въ его понятіи имя невиданнаго никогда человѣка стало символомъ высшаго, всевластнаго, повелѣвающаго. И это было такъ потому, что каждый годъ, передъ большимъ праздникомъ, отецъ его начиналъ безтолково суетиться и твердить женѣ:

— Лепокъ-то, Анисья, продать надо. И цѣны нѣту, а надо продать. Богатырь ждать не станетъ.

«Богатырь требуетъ», «Богатырь дастъ», «Богатырь не помируетъ» — слышалъ онъ съ дѣтства, и ему представлялось что-то огромное, облеченное мощью и властью, злое и доброе, то, что зовется богатыремъ. И былъ онъ изумленъ и даже разочарованъ, когда, увязавшись за отцомъ въ Савкино, увидѣлъ подъ рѣзнымъ павѣсомъ деревяннаго дома за столомъ, крытымъ домотканной скатертью, румянаго красиваго старика съ густыми кудрями и веселымъ лицомъ, въ ситцевой разстегнутой на груди рубахѣ, шумно прихлебывающаго съ блюдечка чай, который наливала ему толстая низенькая женщина въ повойникѣ на плотно приглаженныхъ волосахъ. Отецъ стоялъ у крыльца, склонивъ передъ краевымъ румянымъ старикомъ преждевременно облысѣвшую голову, а старикъ хлебалъ чай, чавкалъ губами и говорилъ ровнымъ, негромкимъ голосомъ.

— Это ужъ ты напрасно. Да. Проценту твоего мнѣ не падобе, а ты умѣй брать, умѣй и отдать. Да.

Позднѣе узналъ Трошинъ, что Богатыревъ—мироѣдъ и кулакъ, нажившій «по кусочкамъ» и въ разное время двѣ тысячи десятинъ земли и большой капиталъ, что есть у него два сына, Степанъ и Егоръ, что жена его умерла въ холеру... Но никогда не могло изгладиться у него то чувство невольнаго преклоненія передъ высшимъ и властнымъ, которое питала къ Тимофею Васильевичу вся округа. И встрѣчая иной разъ Богатырева, то въ ковровыхъ сапяхъ на пути въ село Шетровское, то на ярмаркѣ, въ линейкѣ, запряженной кровнымъ жеребцомъ, учитель вспоминалъ, какимъ казался ему этотъ человѣкъ въ прежніе годы.

А Богатыревъ, и точно, былъ не совсѣмъ обыкновеннымъ человѣкомъ: прославленный на весь уѣздъ, окруженный атмосферой человѣческой злобы, зависти и почтенія, встрѣчаемый низкими поклонами и провожаемый колючими ненавидящими взглядами трусливыхъ и метительныхъ людей, былъ онъ незаурядно уменъ, холоденъ и расчетливъ, и умѣлъ съ достоинствомъ пести ту особенную, ни съ чѣмъ несравнимую, власть, которую давали ему его деньги. Ни передъ кѣмъ не терялся и совсѣмъ не зналъ страха.

Разъ въ году, на Петра и Павла, въ большомъ селѣ Петровскомъ бывала ярмарка, куда изъ трехъ городовъ съѣзжались сотни торговцевъ и со всего уѣзда сходились несмѣтныя толпы народа, купить и продать, погулять и поглядѣть на гульбу, попить и подраться. Къ двумъ часамъ дня на огромной площади бушевала шеститысячная толпа, гикающая, ревущая, пьяная, буйная. На околицѣ въ сторонѣ жались къ дорогѣ шесть конныхъ стражниковъ и урядникъ съ приставомъ, беспомощно глядя на расходившееся человѣческое море. Задами, пахлобучивъ шапку и вобравъ голову въ плечи, торопя кучера, объѣзжалъ село грозный въ обычное время земскій начальникъ Вереницынъ. Задами пробирались случайно попавшіе по пути въ городъ землемѣры и агрономы. А на площади гуломъ-гудѣла, ревѣла, выла и грохотала толпа, грозно и дико неся откуда-то свпеть, сухо трещали выламываемые пзъ плетня колья и уже раздавались кое-гдѣ отчаянные, рѣжущіе ухо крики, пррчитанія бабъ и визгъ испуганныхъ дракою дѣвокъ, по-овечьи, яркой пестрой толпой мечущихся въ стороны отъ надвигавшихся стѣною на стѣну парней. И среди этой толпы, шагомъ, сдерживая рысака, проѣзжалъ Тимофей Богатыревъ, въ сипей чуйкѣ поверхъ сатинетовой рубахи, зорко и прямо глядя ястребиными глазами подъ павѣсомъ густыхъ кустп-

стыхъ бровей, чуть кивая головой на поклоны стариковъ и презрительно щурясь въ лицо наглой и пьяной деревенской молодежи. Наѣзжалъ грудью коня на столпившихся въ спорѣ людей и кричалъ властнымъ, повелительнымъ крикомъ.

— Эй, разступись! Глазь нѣту, что ли.

Теперь Богатыревъ сидѣлъ, по-стариковски, согнувшись и положивъ большія руки на палку-костыль. Вѣтеръ косилъ его густую боярскую бороду и вздымалъ ворсъ на воротникѣ лисей шубы. Старикъ пошевелился и спросилъ учителя:

— А ты все еще бѣса тѣшишь?

— Какъ это?

— Да такъ. Не женатъ?

— Нѣтъ еще.

— Напрасно,—насмѣшливо, нервно зѣвая, сказалъ Богатыревъ,—умные люди такъ говаривали; какая ни жонка, а все лучше поросенка: сама дверь отчпнить и зачинить.

Онъ засмѣялся своей шуткѣ, но смѣхъ сразу погасъ и лицо его окаменѣло.

— Вы по дѣлу въ Москву?

Богатыревъ повернулъ голову и учитель яснѣе увидѣлъ его лицо. Оно было совсѣмъ старое, увядшее, и въ холодныхъ глазахъ лежала та бездонная тоска, которая видна у отжившихъ людей и вѣриѣ физической немощи говорить о близкой могилѣ.

— По дѣ-ѣлу... А ты не слыхалъ? Радуются, собаки, бѣдѣ моей... тихо, точно про себя, молвилъ онъ. Въ голосѣ его не было злобы.

Учитель вспыхнулъ отъ обиды.

— Это вы ерунду сказали!—воскликнулъ онъ съ сердцемъ.

Старикъ пристально и точно недоумѣвающе поглядѣлъ ему въ лицо, пожевалъ губами и, внезапно протянувъ руку, тронулъ его за рукавъ.

— Ерунду, говоришь? Ну, ладно, ладно. Ты не серчай, малецъ, я такъ...

— Я не сержусь, а только зачѣмъ же... У всякаго горе свое...

— Да, да. Горе. Горе, что море: конца не видать и дна не достать. А ты не сердись. Сиди, сиди,—сказалъ Богатыревъ, когда учитель пошевелилъ озябшими ногами:—не обидѣлъ я тебя. Меня Богъ обидѣлъ, вотъ это вѣрно. О-охъ, Господи Сусе Христе!..—стономъ вырвалось у него и учитель замѣгилъ, какъ затряслась подъ мѣховой шапкой его кудрявая голова и дрогнули руки, налегавшія на костыль.

— Про Степку мнѣ часто думалось, что ему не воротиться,—началъ Богатыревъ, глядя въ землю свинцовыми немигающими глазами:—еще какъ прощался онъ... Все мнѣ это самое думалось, что убьютъ. Шель въ куражѣ, хватался... веселыя письма нисалъ. «Любезный нашъ тятенька, Тимофей Васильичъ, обѣ насъ не безпокойтеся, живы и здоровы, чего и вамъ желаемъ, непріятели не пу-жаемся и дѣла наши, слава Богу, успѣшны, были въ трехъ сраженьяхъ, но Господь насъ помиловалъ»,—любовно, нараспѣвъ говорилъ онъ, повторяя видимо наизусть вытверженные строки.—А опослѣ того пишетъ ужъ Егоръ. «Любезный нашъ тятенька, Тимофей Васильевичъ, низко я вамъ кланяюся и прошу вашего родительскаго благословенія, живъ и здоровъ, чего и вамъ желаю... и еще отписываю я вамъ наше горе... что любезный сынъ вашъ и мой братецъ, дорогой Степанъ Тимофеевичъ, раненъ былъ въ голову шрапнелей... и скончался того жъ

числа въ полевомъ госпиталѣ». Вотъ оно какъ... А ужъ теперь... Какъ про Егора-то я...

— Да, вѣдь, живъ Егоръ Тимофеевичъ? говорили мужики, что онъ въ Москвѣ лежитъ.

— Въ Москвѣ, это вѣрно. Живъ... Обѣ руки отняты, а живъ. Обѣи руки... обѣи...—бормоталъ старикъ, качая головой, какъ фарфоровый китаецъ:—живъ, это вѣрно. Обѣихъ рукъ нѣту, а живъ... Н-ну, вотъ я и ѣду... Вотъ и ѣду.

Раздражающе-громко ударилъ станціонный колоколъ, извѣщая, что поѣздъ отошелъ съ послѣдней станціи. Старикъ поглядѣлъ на часы, пошевелился и снова замеръ, не запахивая шубы и, видимо, не чувствуя холода и вѣтра.

— Ванька Повиковъ видалъ его, Егорушку. Да. Лежитъ. Обѣи руки отняты, а по какое мѣсто?—не присмотрѣлся, а тотъ не сказалъ. Одно только просилъ, чтобъ не сказывать миѣ ни въ какомъ разѣ, что онъ его видалъ... Потому, говорилъ, что домой онъ не поѣдетъ... Думаетъ въ госпиталѣ помереть, а ежели вылечать, то... самъ себѣ конецъ сдѣлаетъ...—тупо бормоталъ старикъ, все качая головою и упорно глядя въ мерзлую землю:—такъ онъ полагаетъ, Егорка-то. Ну, я на это не согласенъ... Нѣтъ, не согласенъ.

Яростно, взвихривая песокъ, пронесился ледяной вѣтеръ, шумѣла за станціонными домами березовая роща, гулко и сухо стучали сапоги по скованной морозомъ землѣ и далеко на запасномъ пути тонко и пискливо нѣлъ паровозъ, уводя куда-то призраки-вагоны.

— Вы бы запахнулись. Вотъ грудь у васъ открыта,—сказалъ учитель. Старикъ машинально поправилъ полы своей шубы.

— Ты... Егора давно видалъ?

Учитель вспомнилъ высокаго илечислаго Егора Богагыренка, розоваго и такого же кудряваго, какъ его отецъ, но съ мелкими чертами лица и не столь краснаго. Онъ у нихъ по сосѣдству соблазнилъ пригожую дѣвку и та родила отъ него мертваго ребенка. Потомъ онъ бросилъ ее, и она ушла въ Питеръ, откуда прѣѣзжала домой наглая и нарядная, съ шелковымъ зонтикомъ въ рукахъ и въ шелковомъ платьѣ съ разрѣзомъ. А Егоръ гулялъ уже съ женой мясника Антина.

— Женить я его хотѣлъ, Егора. Давно хотѣлъ, да... спутался онъ тутъ со шлюхами, вотъ и остался такъ. Такъ и остался.

Богатыревъ помолчалъ, тяжело вздохнулъ и поднялъ голову.

— Объ чемъ ты съ Калитинымъ да съ пономъ спорилъ-то? Чего онъ тамъ кричалъ.

— Пѣмцевъ ругалъ.

— Ну?

— Больше ничего.

— Да кричать-то пошто?—настойчиво спрашивалъ старикъ, видимо, цѣпляясь за разговоръ, чтобъ отойти отъ своихъ страшныхъ мыслей.

— Ну, какъ же... Враги, вѣдь.

— Отъ этого и кричить? Похоже!—покачалъ головой Богатыревъ.—Они, дворяннички, все съ крикомъ да съ гакомъ. Этого пріятель евоный, Поповъ, какъ ратниковъ провожали, тоже горлачилъ, не хуже Степушки-покойника. Какъ горло не насадилъ, кричаши. Ты какъ объ этомъ полагаешь?

— Конечно, враговъ надо бить.

— Не про то я тебѣ говорю, малецъ. «Бить». Не чай съ ними пить, это

всякому понятно. Ты то подумай, такое-ль теперича время, чтобы глотку драть? Война... сурово и неспѣшно говорилъ Богатыревъ.—Могутъ они попятъ, какая это война? «Нѣмцы» ... Вонъ, нишуть, цѣльную Москву народу навалили, нѣмецевъ-то... Это что-жъ, по твоему, удовольствіе имъ?

— Сами они войну объявили...

— Пустое городишь!—рѣзко перебилъ старикъ.—Сами... То-то, не сами. Ослѣпилъ Господь. Царя имъ наслалъ—Велхема. Може, про эту войну пророки пророчили... Кого святой Іоаннъ Богословъ видалъ, стоя на песцѣ морскомъ? «Кто подобенъ звѣрю сему и кто можетъ сразиться съ нимъ» ... Власть его надъ всякимъ родомъ и племенемъ. Вонъ, нишуть, двадцать пять лѣтъ онъ пушки лилъ, Велхемъ-то тототъ. Тамъ народъ работаетъ, кто къ какому дѣлу прпставленъ, а онъ, злодѣй, свою линію гнетъ: пушки льетъ, крѣпостя строитъ да ядра готовитъ. И, небось, веѣ видали, какъ онъ это самое... А съ престола не ссадили, въ заточенье не сослали. Ослѣпилъ Господь. Черезъ это и пропадаютъ.

Трошкинъ вспомнилъ, что Богатыревъ—старовѣръ.

Старикъ замолкъ и понурился. Молчали долго. Учитель ежилея въ пальто, стараясь спрятать подъ папаху озябшія уши. Ненеходною казалась надвигающаяся отъ полей студеная почъ и злобой одушевленнаго существа дышали порывы все крѣпчавшаго вѣтра. Отчаянно метались языки пламени въ керосиновыхъ фонаряхъ. Наконецъ, откуда-то изъ тьмы, едва достигая слуха, донесся гудокъ приближающагося поѣзда. Торопливѣе застучали шаги и торопливѣе, перебывая и сливаясь, зазвучали голоса. Учитель поднялся съ лавки, немедлилъ, глядя на старика и пошелъ по ступенькамъ внизъ, къ полотну. Старикъ не шевельнулся, и, казалось, не замѣтилъ его ухода.

Поѣздъ былъ мѣстный, товаро-пассажи́рскій и шелъ до узловой станціи, до пересадки на Москву. Въ вагонъ третьяго класса почти никого не было. Тускло мерцали свѣчи въ неуклюжихъ фонаряхъ, было неуютно, грязно, но все же было тепло и оттого пріятно. Учитель примостился вблизи отъ выхода. Нѣсколько минутъ въ вагонъ не входилъ никто, нотомъ шумно ввалилась ватага мужиковъ и прошла дальше, хлопая дверьми. За ними медленной походкой, держа въ лѣвой рукѣ дорожный мѣшокъ, вошелъ Богатыревъ въ сопровожденіи знакомаго учителю лавочника Михайлы Сниткина, круглаго жирнаго парня съ толстымъ бабьимъ лицомъ и свиными глазами. Сниткинъ замѣтно стремился услужить Тимофею Васильевичу, придерживая дверь, пока старикъ входилъ въ вагонъ. Богатыревъ увидалъ учителя и сѣлъ напротивъ. Сниткинъ, нотоптавшнсь на мѣстѣ, почтительно помѣстился наискось отъ него, сунулъ учителю влажную руку съ короткими пальцами и заплаканными глазами уставился на старика.

— А я, Тимофей Васильичъ, до губерни... слащаво и почтительно заговорилъ онъ, видя, что старикъ не собирается начинать разговора.—Въ субботу первый гуртъ надо предоставить. Очень много хлопотъ, Тимофей Васильичъ.

— Это у тебя?—безразлично спросилъ Богатыревъ.

— У меня, Тимофей Васильичъ. Какъ я вамъ говорилъ, цѣны очень подходящія, но хлопотно. Къ веснѣ оборотъ закончится...

— Такъ, такъ. А твоему векселю у меня когда срокъ?—съ еле замѣтной уемѣшкой спросилъ Богатыревъ.

Сниткинъ сразу увялъ и на его лоснящемся лицѣ явилось огорченное выраженіе.

— Въ мартѣ мѣсяцѣ, Тимофѣй Васильевичъ. Да ужъ я, какъ сказано...

— Ну, то-то. Ты—торговецъ неплохой. Вотъ до марта и оборотись.

— Да я не къ тому, Тимофѣй Васильичъ... Я касательно цѣнъ. Цѣны очень подходящія. Ежели-бы по вашему капиталу...

— Это, чтобы я съ вами въ дѣло, что-ль, вошелъ?—сурово спросилъ старикъ, сдвигая густыя брови.

— Какъ угодно, Тимофѣй Васильичъ. Дѣло, сами видите, чистое, казенное...

— Жирно кушать будешь, купецъ!—уже съ откровенной насмѣшкой отрѣзалъ Богатыревъ.—Ты вотъ уплату припасай. Ишь,—дерзить!—качнулъ онъ головою на Сниткина.

— Съ нимъ въ компанію. Да ты, рыло, съ какого конца меня глядѣлъ-то? Сзади, что-ль? Такъ ты спереди погляди, кто я таковъ. Торговецъ! Въ Баулино въ лавку садился, у меня деньги бралъ!—обратился старикъ къ учителю, указывая на Сниткина.—Я его, дурака, училъ... Такъ куды. Я, говоритъ, не то что самъ капиталы наживу, а я и родителю своему путь просвѣщу. Вотъ и—просвисталъ. Второй годъ сидитъ, третій вексель пишетъ.

— Конфузить-то можно, что-жъ!—смущенно пробормоталъ лавочникъ.

— Конфузить... Бить тебя надо, лодыря, а не конфузить. На пятнадцатый продать,—это онъ и въ лавку нейдетъ. Ишь, морду паѣлъ. Носъ караулъ кричитъ, что щеки задавили. Ты вотъ скажи мнѣ, почему ты овесъ продавалъ?

— Извѣстно, по рупь десять.

— Врешь, скотина. По рупь-тридцать ты дралъ. Знаю, небось. Въ тюрьму тебя за это слѣдуетъ. Извѣстно, платятъ, куда саннаго путя нѣту и въ городъ не добратся, да, вѣдь, какъ теперича брать-то. Подумаль-бы ты, морда салыная, съ кого берешь?—гнѣвно, но мѣрно говорилъ старикъ, пристукивая палкой и покачивая красивой кудрявой головою.

Поѣздъ уже тронулся и шелъ медленнымъ ходомъ, поминутно давая свѣтки.

— Пристановка, сами знаете, какая. Тоже, вѣдь, платимъ, Тимофѣй Васильичъ!—оправдывался лавочникъ, ежась подъ тяжелыми, точно налитыми свинцомъ старческими глазами.

— Пристановка... Нѣтъ, ты подумай, съ кого дерешь, вотъ что я тебя спрашиваю. Легко-ли дѣло... Народъ... Народъ въ хорошую пору не такихъ живодеровъ кормить, а тебя ему накормить—тьфу, что вошь, одно слово... Да, вѣдь сказывается, пѣшаго сокола и галки деруть. Ну, да будетъ—круто оборвалъ старикъ и, обведя холодными тусклыми глазами жирную коротенькую фигуру лавочника, сказалъ своимъ обычнымъ голосомъ:

— Мѣстовъ-то много. Ступай-ка ты. Ужо тамъ потолкуемъ... въ мартѣ мѣсяцѣ. А теперь ступай, мнѣ и безъ тебя нудно.

— Что-жъ, я... Прощенья просимъ!—заторопился Сниткинъ, обиженно вздергивая плечами. Онъ поднялъ картузь, всталъ съ лавки и ушелъ, поблескивая лакированными голенищами. Старикъ пренебрежительно усмѣхнулся.

— Гипда-человѣкъ.

— Обидѣли вы его!—вступился учитель.

— Ничего, ничего. Его дѣло такое. Жулику безъ обиды не прожить.

Въ темные прямоугольники вагонныхъ оконъ глядѣла беззвѣздная ночь. Глухо и слитно рокотали колеса, проносаясь надъ мостами, и снова начинали отечивать мѣрныя тяжелые удары, когда поѣздъ сходилъ съ мостовъ. Тряслись де-

ревяшныя перегородки и гдѣ-то въ сосѣдномъ отдѣленіи громко стучала непритворенная дверь.

Трошкинъ нескоса взглядывалъ на попутчика. Старикъ маялся въ нескходной темной тоскѣ, откинувшись назадъ широкими плечами и крѣпко стиснувъ палку жилистыми костлявыми руками.

— Максимъ, а Максимъ!—началъ онъ вдругъ разбитымъ, не своимъ голосомъ.—Бду я теперича... а! Какъ я его увижу-то? Что-жъ я ему скажу-то, а?

И, внезапно вздрогнувъ, онъ палегъ грудью на костыль; щеки его запрыгали, глаза стали круглыми и незрячими, какъ у совы. И точно видя передъ собою вмѣсто учителя изуродованнаго сына, заговорилъ онъ хрипло и умоляюще:

— Любезный сыночекъ мой... Егоръ Тимофеевичъ... Что же ты это задумалъ... И... и не грѣ-ѣхъ тебѣ!.. А ме... а ме-ся... мме... я... старика... уже плача, черезъ силу выговаривая слова, мотая изъ стороны въ сторону кудрявой головою причитающимъ воплемъ заголосилъ старикъ.

Учителю хотѣлось его утѣшить, но слова не шли и онъ не зналъ, что сказать, или понималъ, что все, что ни скажетъ онъ, будетъ лишнимъ и ненужнымъ передъ огромной человѣческой скорбью. Жуткое молчаніе казалось безконечнымъ. Старикъ медленно, неловко, рукавомъ шубы вытиралъ дряблыя трясушіяся щеки.

— Господи Сусе Христе!—воскликнулъ онъ потомъ измѣнившимся, тихимъ и умилненнымъ голосомъ, точно чему-то внезапно обрадовавшись, или найдя рѣшеніе мучившаго его вопроса.—Да развѣ калѣченые-то не живутъ? Вѣдь, живутъ-же—и какъ еще... Вонъ въ Любовѣ баринъ Журавлевъ сколько годовъ жилъ... Руками-ногами не владалъ, а жилъ и дѣвку имѣлъ при себѣ... Да я-то пешто не найду ему невѣсты! Да я такую найду... И дѣтей народитъ, и... може, пошлетъ Господь мнѣ милости впуковъ поднять. Вотъ тогда и помирай ты съ Господомъ...

Вошелъ контролъ—и кондукторъ, сонный, сердитый, склонивъ къ фонарю обвѣтренное покрасѣвшее лицо, медленно прощелкивалъ билеты, читая названія станцій.

— На Москву пересадка въ часъ ночи!—пробурчалъ онъ подъ носъ и прошелъ дальше, шлепая валеными сапогами по загаженному полу.

— Еванделье... точно въ бреду промолвилъ старикъ и смолкъ. Трошкинъ вопросительно посмотрѣлъ на него.

— Еванделье, говорю. Сколько разовъ читалъ, а все безъ понятія. «Скорбитъ душа Моя даже до смерти»... Вѣдь, какія слова-то, а! Слова-то какія, Господи! Даже до смерти... Не понимаешь ты, нѣтъ!

— Отчего-же. Я понимаю... началъ было учитель, но старикъ затрясъ головою.

— Нѣтъ, какъ можно... Жалѣть—это такъ, а понять... Ни одна душа меня теперича не пойметъ... Иное дѣло, кабы... покойница жива была... ротъ... вотъ ужъ это она могла бы... да! Ухватилась-бы мы другъ за дружку и... з-завыли бы вмѣстѣхъ!—звенящимъ голосомъ воскликнулъ онъ, раскачиваясь на мѣстѣ, какъ отъ нестерпимой боли.

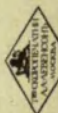
Потомъ снова утеръ намокшія щеки и выморкался.

— Думается мнѣ... Бьютъ теперича народъ. Нашихъ бьютъ и ихнихъ бьютъ... И вотъ, може, тамъ тоже кому-нибудь этакъ-то руки... и тоже отецъ убивается, и ѣмецъ-то... И вотъ, ежели-бы я... ежели-бы мнѣ нѣмца этого... Вотъ ужъ тутъ мы поняли-бы, да. Онъ меня, и я его...



В. В. Переплетчиковъ

В. В. Переплетчиковъ.



— Да почему-же...

— А ты молчи, молчи!—торопливо, махая слабой рукой заговорилъ старикъ.—Молчи, Максимъ. Я про нѣмца этого самъ надумалъ и то мнѣ какъ-бы полегше... Не то что полегше, гдѣ ужъ... а словно-бы утѣшенъе...

Протяжно и заунывно зазвучалъ свистокъ паровоза. Учитель глянулъ въ окно. Была тьма. Далеко-далеко впереди справа на черномъ небѣ стояло мутное еле видное пятно свѣта. Приближался городъ. Учитель досталъ съ сѣтки свою корзиночку и началъ застегиваться. Хотѣлось скорѣе уйти отсюда, отъ этой полутьмы, отъ раздражающаго лязга колесъ и скрипѣнья перегородокъ, отъ бездонной тоски маявшагося здѣсь старика. Хотѣлось думать о новыхъ встрѣчахъ, о своихъ маленькихъ радостяхъ. И въ этомъ желаніи было что-то стыдное, неловкое, похожее на то чувство, какое должешь испытывать человѣкъ, проходящій мимо нищаго, когда печѣмъ сотворить милостыню. Скорѣе, скорѣе за поворотъ, чтобы не чувствовать на спинѣ молящаго ожидающаго взгляда!

Дрогнувъ и затрясая вагономъ, переходя стрѣлку. Учитель заторопился, натягивая перчатки.

— Уходишь!—поднялъ на него тяжелые глаза Богатыревъ.—Ну, ступай съ Богомъ. Егору-то поклониться? Поклонюсь!—сказалъ онъ, не дожидаясь отвѣта.—Онъ тебя помпнть.

Пожавъ костлявую старческую руку, учитель вышелъ. Поѣздъ уже убавлялъ ходъ. Проплылъ семафоръ, мигая зеленымъ глазомъ. Показалась станція. Колоколь, гудя и завывая, зазвучалъ оттуда сквозь порывы вѣтра мѣрными ударами.

Морщась отъ налетавшаго вѣтра, съ раздраженіемъ думая о томъ, что до города надо тащиться двѣ версты пустыми полями, учитель вышелъ на вокзалъ, прошелъ скупо освѣщенное станціонное помѣщеніе и, разглядѣвъ въ темнотѣ силуэты извоничьихъ лошадей, подошелъ къ первому попавшемуся извоннику. Онъ порядился и сѣлъ въ разбитую пролетку, стараясь поглубже уйти въ нее веѣмъ тѣломъ. Стуча копытами по булыжнику, разбитой рысью пошла еле видная въ темнотѣ кляча. На переѣздѣ у полотна долго пришлось стоять передъ опущеннымъ шлагбаумомъ. Наконецъ, медленно ворочая колеса, прошелъ отъ станціи поѣздъ и невидимый сторожъ отцѣпилъ шлагбаумъ. Слова задребезжала пролетка.

Поѣздъ уходилъ и огонь на концѣ его медленно погружался во тьму ненастной ночи. Помимо воли думалось о старикѣ, который тамъ, въ вагонѣ, мается теперь въ жуткомъ ожиданіи своей ужасной встрѣчи. Какова она будетъ, эта встрѣча? И что будетъ потомъ, когда пройдутъ первыя мгновения? Кто знаетъ?.. Свалится-ли, какъ волъ подъ ножомъ мясника, убитый горемъ человѣкъ и покорно, безгласно, безучастно будетъ ожидать кончины сына и своей близкой смерти? Или взметнется онъ бѣшенымъ волкомъ, топя свое горе въ винѣ, плача и проклиная, молясь и богохульствуя, какъ умѣютъ это сочетать русскіе люди? Или, собравъ послѣднія силы, чуткимъ воропомъ сядетъ онъ падъ калѣжкой, бережно охраняя его отъ людей, умолая и уговаривая, ища невѣсту и дожидаясь внуковъ, покорный неодолимому желанію человѣка видѣть входы сѣмени своего на землѣ?

Бѣжали поля, невидныя въ темнотѣ, и ясныѣ выплывали изъ мрака цѣпи приближающихся городскихъ огней.

6 Января 1915 г.
Им. Кіевка.

А. Черемновъ.

А. П. ЧЕХОВЪ.

ПИСЬМО КЪ СЕСТРЪ

М. П. Чеховой.

8 Июнь. Берлинъ. (1904 г.).

Милая Маша, сегодня мы ¹⁾ уѣзжаемъ изъ Берлина на свое длительное мѣстопробываніе, на границу Швейцаріи, гдѣ вѣроятно будетъ и очень скучно и очень жарко. Мой адресъ: Германія, Badenweiler Hergg Аптоп Tschechow.

Такъ мою фамилію печатаютъ здѣсь на мопхъ книжкахъ, стало быть, и я такъ долженъ писать ее. Въ Берлинѣ немножко холодно, но хорошо. Самое нехорошее здѣсь, рѣзко бросающееся въ глаза—это костюмы мѣстныхъ дамъ. Страшная безвкусица, пугдѣ не одѣваются такъ мерзко, съ совершеннымъ отсутствіемъ вкуса. Не видѣлъ ни одной красивой и ни одной, которая не была бы обшита какой-нибудь нелѣпой тесьмой. Теперь я понимаю, почему московскимъ пѣмцамъ такъ туго прививается вкусъ. За то здѣсь, въ Берлинѣ, живутъ очень удобно, ѣдятъ вкусно, берутъ за все не дорого, лошади сытыя, собаки, которыя здѣсь запрягаются въ телѣжки, тоже сытыя, на улицахъ чистота, порядокъ.

Здѣсь проѣздомъ Екатерина Павловна ²⁾, у нея дѣти заболѣли корью, она въ отчаяніи. Вчера я видѣлся съ ней.

Ноги у меня уже не болятъ, ѣмъ превосходно, сплю хорошо, катаюсь по Берлину; только вотъ бѣда: одышка. Сегодня купилъ себѣ лѣтній костюмъ, егерскихъ фуфаекъ и проч. и проч. Гораздо дешевле, чѣмъ въ Москвѣ.

Адресъ мой теперь есть у тебя, пиши же и присылай письма; нѣсколько нисемъ въ одинъ конвертъ, посылай заказнымъ. Посылай только тѣ, которыя не покажутся тебѣ пустяковыми.

Привѣтъ Мамашѣ и Ванѣ. Живите и, если можно, не хандрите. Крѣико жму руку и цѣлую.

Твой А.

¹⁾ Съ женой.

²⁾ Пѣшкова (жена М. Горькаго).

ВЪ ГОРАХЪ.

Спутники мои ушли на ледникъ часа три тому назадъ. Хаджи-Мурза, аульскій судья, нашъ проводникъ, спитъ въ тѣни подъ деревомъ. Сейчасъ «ураза́» — постъ, до захода солнца ѣсть нельзя. Выѣхали изъ дому на зарѣ, и усталость и голодъ сморили его.

И сижу на камнѣ въ горной долигѣ у берега рѣки, которая шумитъ внизу, въ ущельѣ.

И будто нѣтъ меня, а вмѣсто меня синее съ чернью небо, зелень лѣсовъ, мягкихъ въ долигѣ, щетинистыхъ вверху на горахъ, и несмолкаемый шумъ кипящаго внизу Аманау́са.

Прямо передо мною, по ту сторону рѣки, между двумя горами бѣлый сверкающій треугольникъ ледника съ грязновато-зеленымъ сръзомъ. Жаркое солнце не прогрѣваетъ легкаго горнаго воздуха, и я чувствую отдѣльно и солнечное тепло и тонкую прохладу воздуха и острый пахучій холодъ, которымъ тянетъ отъ ледника.

Въ горахъ гремятъ обвалы. Сначала, какъ ворчанье огромнаго звѣря, потомъ, будто раскаты грома и пушечная пальба. Сейчасъ грохотъ такъ близокъ, будто весь бѣлый треугольникъ съ грязновато-зеленымъ сръзомъ движется внизъ, на долину. И встаю, озираюсь кругомъ, вглядываюсь въ бѣлый треугольникъ. Ворчанье затихаетъ, я сажусь и снова жду.

Солнце опускается направо. Когда оно коснется горы, я разбужу Хаджи-Мурзу и мы поѣдемъ навстрѣчу нашимъ спутникамъ. Снова далекій громъ и вдругъ сразу пушечный выстрѣлъ. Еще и еще, будто все кругомъ рушится. И встаю и отступаю назадъ.

Солнце ударилося о вершину горы, разбилося и лететь черезъ зубчатый край золотымъ и пыльно-багровымъ потокомъ.

Тѣнь быстро бѣжитъ по зеленой долигѣ. Щетинистые лѣса становятся еще чернѣе. Треугольникъ ледника порозовѣлъ и отдѣлился отъ зеленой горы. Горы сблизились, долина ушла въ глубь. Шумъ Аманау́са ближе. Около меня уже свѣжій сумракъ.

Изъ-за камня на поворотѣ выросъ человекъ въ черномъ бешметѣ и широкополой шляпѣ, съ ружьемъ за плечами. Согнувшись, быстро и мягко онъ приближается ко мнѣ, и на меня смотритъ и улыбается заросшее до глазъ, смуглое его лицо. Онъ протягиваетъ мнѣ руку и садится около меня на корточки.

— Сидишь?

— Сижу.

— А товарищ ушел?

— На ледник ушел.

— На Дамбай пошел. Я видѣлъ.

Онъ мягко трогаетъ меня за руку.

— Иди ко мнѣ въ кошъ почевать.

— Почевать рано.

— Солица нѣтъ, медвѣдь придетъ.

— Медвѣдь человѣка не тронетъ.

— Два человѣка—не тронетъ, одинъ человѣкъ—тронетъ. Солице есть—человѣку надо ходить, солица нѣтъ—медвѣдю надо ходить.

Онъ легко подымается, идетъ къ ручью, садится на корточки и смотритъ въ землю. Я иду къ нему, наклоняюсь и на черной, влажной землѣ у ручья вижу четкіе слѣды когтистыхъ лапъ.

— Какъ тебя зовутъ?

— Саидъ.

— Ты охотникъ?

— Сынъ —Мусá, знаешь?—охотникъ.

Онъ обнимаетъ меня и, прислонившись къ моему лицу, показываетъ на розоватую вершину надъ чернымъ щетинистымъ лѣсомъ.

— Кошъ—видишь? Скотина—видишь? Тамъ Мусá.

Я вглядываюсь, но не могу ничего разглядѣть на далекомъ, словно осыпанномъ розовой пылью горномъ склонѣ.

Снова гремитъ обвалъ. Рядомъ съ Сеидомъ я продолжаю сидѣть. Мы молчимъ.

— Скажи,—спрашиваетъ Сеидъ,—зачѣмъ война?.. Хлѣбъ есть, айранъ есть. Зачѣмъ война?

Я говорю ему, кто и зачѣмъ началъ войну, говорю, что весь мiръ такъ же, какъ и онъ, хочетъ спокойно ѣсть свой хлѣбъ, дѣлать свое дѣло. Онъ внимательно слушаетъ.

— Такой человѣкъ убить надо.

Пытаюсь разъяснить ему, что дѣло тутъ не въ одномъ человѣкѣ. Онъ понимаетъ плохо и повторяетъ рѣшительно:

— Такой человѣкъ убить надо!

— Сепдъ, а Карачайскій народъ воевалъ?

Онъ опять мягко трогаетъ меня рукой и спрашиваетъ:

— Хаджи-Мурза Биджіевъ—знаешь?

Я улыбаюсь и показываю ему на спящаго подъ деревомъ Хаджи-Мурзу. Онъ тоже улыбается и говоритъ:

— Хаджи-Мурза Биджіевъ, судья,—справедливый человѣкъ. Слушай. Былъ такой человѣкъ—Карчá—большой человѣкъ, а кто былъ отецъ, кто мать—ни одинъ человѣкъ не знаетъ. Жилъ Карчá въ мѣстѣ Архызъ, на рѣчкѣ большой Зеленчукъ. Ауль былъ Карчайскій—десять дворовъ. Абреки пришли: лошадь брали, скотъ брали, дѣвку брали. Карчá взялъ да пошелъ на Басхánъ. Тринадцать дворовъ пришло на Басхánъ. Августъ мѣсяць пришелъ, кабардинскій князь на Басхánъ пришелъ. Карчá былъ на Эбээ. Кабардинскій князь дѣвку взялъ, черезъ рѣку поѣхалъ...

Я вынимаю книжку и карандашъ и начинаю записывать. Опъ молчитъ и ждетъ.

— Пиши: Ак-Мурза Биджіевъ... Написалъ?

— Написалъ.

— Читай.

Я читаю записанное имя, стараясь сохрaпить акцентъ. Сеидъ качаетъ головой—не такъ.

— Ак-Мурза Биджіевъ,—говоритъ опъ очень громко.

Я понимаю въ чемъ дѣло. Это имя должно быть произнесимо громко, и я повторяю его очень громко. Сеидъ улыбается, очень довольный.

— Хорошо написалъ... Ак-Мурза Биджіевъ,—продолжаетъ онъ, Хаджи Мурза Биджіева дѣдъ—справедливый человѣкъ. Ружье взялъ да стрѣлялъ. Кабардинскій князь уналъ. Дѣвка назадъ пришла, лошадь въ кабардинскій аулъ пошла.

Кабардинскій народъ пришелъ, весь карачайскій аулъ, двѣнадцать дворовъ взялъ, къ себѣ повелъ. Карчâ пришелъ отъ Эбзэ—народу пѣтъ, аула нѣтъ. Карчâ сѣлъ да думалъ. Ночью взялъ да пошелъ въ кабардинскій кошъ. Скотъ взялъ, пастуховъ взялъ, пошелъ на Эбзэ. Эбзэ—переваль—знаешь? На Эбзэ бѣлаго барана рѣзалъ, пастуховъ кормилъ. Пастухи стали ѣсть, смѣются.

— Зачѣмъ смѣетесь?

— Мы слыхали—Кабарда твой аулъ взяла.

Карчâ барашка ѣлъ, да послалъ своего человѣка на кабардинскій аулъ. Человѣкъ пришелъ, сказалъ:

— Карчâ вашъ скотъ взялъ.

Кабардинцы пришли, сказали:

— Давай нашъ скотъ!

Карчâ желѣзную палку взялъ, ударилъ въ камень на аршинъ, можетъ—больше. Кабардинцы думали: Карчâ—не простой человѣкъ.

Карчâ взялъ да сѣлъ на камень—курдюкомъ камень пополамъ сломалъ. Кабардинцы сказали:

— Карчâ, ты—не простой человѣкъ. Аулъ бери, двѣнадцать дворовъ бери, «худббу» бери.

Карчâ аулъ взялъ, да «худббу» взялъ, скотъ отдалъ, да пошелъ на Большой Карачай.

Апрѣль мѣсяцъ былъ. Карчâ пошелъ, да положилъ въ одно мѣсто ячмень: два-три зерна, въ другое мѣсто ишеницу: два-три зерна. Самъ назадъ пошелъ. Пришелъ въ покосное время, смотрѣлъ—хорошо выросло. Тогда взялъ, да народъ привелъ.

На трехъ рѣчкахъ три аула стало.

Потомъ ходилъ народъ на Дуутъ, потомъ на Язлыкъ, потомъ на Каменный мостъ. Потомъ на Марьинскій аулъ, на Тибердинскій, на Синтинскій, на Джугнтейскій. Потомъ на Бараповское селенье...

— Карчâ—большой человѣкъ былъ, а кто былъ отецъ, кто мать—ни одинъ человѣкъ не знаетъ...

Эбзэ—переваль—знаешь? Камень лежитъ большой—Карчâ сломалъ, дырка на аршинъ, можетъ—больше...

Такъ была война...

Совеѣмъ стемнѣло. Я слышу, какъ ржутъ лошади. Въ сумракѣ я не замѣтилъ, какъ Хаджи-Мурза всталъ, розыскалъ ихъ въ долиниѣ и теперь ведетъ ихъ сюда.

Хаджи-Мурза подходитъ, лошади идутъ за нимъ. Въ одной рукѣ у него кусокъ сыра, въ другой хлѣбъ. Онъ здороваеся съ Сеидомъ, ломаетъ сыръ и хлѣбъ и даетъ Сеиду. Они ѣдятъ молча. Лошади тутъ же щиплютъ траву. Сѣрый подымаетъ голову, раздуваетъ ноздри и словно пьетъ холодный воздухъ, потомъ съ шумомъ выдыхаетъ его.

Окончивъ ѣду, Хаджи-Мурза подтягиваетъ подпруги и мы садимся на лошадей. Сеидъ тоже садится на одну изъ нашихъ лошадей, а другую ведетъ въ поводу.

Я оглядываюсь и не могу узнать знакомой долины. На небѣ уже горятъ звѣзды и на зубчатой вершинѣ, гдѣ садилось солнце, теперь, какъ зеленая корона, дрожитъ и поворачивается огромная звѣзда.

Мы не успѣваемъ пересѣчь долину и встрѣчаемъ нашихъ спутниковъ. Они идутъ быстрымъ шагомъ, разогнавшись отъ долгой ходьбы, молчаливые. Впереди, раскачиваясь, идетъ высокии учитель.

— Почему такъ опоздали?—кричу я.

Они продолжаютъ идти быстро и молча, будто кто-то настигаетъ ихъ. Поравнявшись со мною учитель на ходу спрашиваетъ:

— Большой обвалъ слышали?

— Слышалъ.

— Дорогу завалило, шли въ обходъ.

По голосу я слышу, что онъ взволнованъ. Онъ торопливо снимаетъ привязанную за сѣдломъ бурку. Мнѣ не хочется разспрашивать. Имъ не хочется говорить. Они садятся на лошадей. Сеидъ исчезаетъ куда-то въ темноту.

Мы ѣдемъ по травянистой, усеянной камнями долиниѣ. Я отстаю. Хаджи-Мурза ѣдетъ передо мною. Скоро мы выбираемся на каменистую тропинку и ѣдемъ по темному ущелью.

Лошади идутъ осторожно, выбирая черныя мѣста между бѣлыми камнями и только иногда ступаютъ на камень. Тогда четкій звукъ разбиваетъ тишину ночи.

Хаджи-Мурза думаетъ какую-то свою длинную думу.

Ко мнѣ поворачиваетея его черная, сухая, сутулая въ сѣдлѣ фигура и онъ говоритъ:

— Богъ не хочетъ войны.

Я смотрю на синюю звѣздную дорогу надъ темнымъ ущельемъ, слышу дыханье моей лошади и стукъ копытъ по камню и мнѣ кажется, что сейчасъ, ночью, въ этой долиниѣ я понимаю Хаджи-Мурзу, аульского судью, справедливаго человѣка, больше и глубже, чѣмъ пойму гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ.

Я тихо говорю:—Богъ... И кажется, что это говоритъ сама ночь.

II. Шкляръ.

Л Е Б Е Д И.

То были два мирных Иксельских пруда
Въ счастливомъ, цвѣтущемъ Брюсселѣ.
Въ нихъ тихо блестѣла на солнцѣ вода,
Кругомъ берега зеленѣли.

Жизнь города шумно кипѣла вдали,
Они жъ, какъ два ясныя ока,
Смотрѣли на синее небо съ земли
Далеко, далеко.

Въ нихъ лебеди жили подъ сѣнью вѣтвей,
Ихъ крылья въ водѣ трепетали...
И были тамъ бѣлые—снѣга бѣлѣй,—
И черные—точно изъ стали.

Они поднимали ударами крыль
Фонтаны серебряной пыли,
И каждый ихъ гордую прелесть любилъ,
А дѣти ихъ хлѣбомъ кормили.

И лебеди были ручными совѣмъ,
И къ людямъ не вѣдали страха...
И плавали бѣлыя птицы поэмъ,
Прекрасныхъ поэмъ Роденбаха.

* * *

Но ужасъ свершился. Громовый раскатъ
Потрясъ беззащитныя стѣны,
Ворвался предатель—и городъ быть взятъ,
Несчастная жертва измѣны.

Кто могъ—тотъ бѣжалъ, и съ оружіемъ въ рукахъ
Съ Альбертомъ за родину бился...

А въ городѣ—ужасъ, пустыня и страхъ,

И врагъ съ торжествомъ воцарился.

Разъ—женщина тихо къ прудамъ подошла
Осеннею лунною ночью,
На мѣсто, гдѣ счастье когда-то нашла,
Взглянуть еще разъ ей воочью.

Одна... Въ этомъ городѣ, ставшемъ чужимъ,
Гдѣ свѣтлый сонъ счастья былъ прожить...
А онъ—тотъ кто былъ такъ безбрежно любимъ—
Далеко... Убить ужь, быть можетъ!

И утро лазурное вспомнилось ей,
Когда, въ ликованьи апрѣля,
Какъ дѣти, кормили они лебедей
Въ прудахъ безмятежныхъ Икселя.
«Вотъ—лѣто пройдетъ—и тогда наконецъ
Дождемся желаннаго срока...»
О, горе казалось для юныхъ сердець
Далеко, далеко!..

* * *

И вдругъ ей почудилось бѣшеніе крыль
И брызги серебряной пыли,
И жалобный плачь все кругомъ оглаенль:
То—черные лебеди были!
То плакали птицы... И горькій ихъ стонъ
Страшнѣе былъ плача людскаго,
И былъ ея сердцу понятнѣе онъ,
Чѣмъ самое внятное слово.
«Голодные... Брошены въ водахъ пруда,
Безъ корма, одни, безъ защиты...
Ужъ больше никто не придетъ къ нимъ туда—
Забыты, забыты, забыты!..»
Внимала... И жалобный плачь лебедей
Звучалъ ей какъ слезы упрека;
Для нихъ... И для нихъ—счастье радостныхъ дней
Далеко, далеко!

* * *

На утро пришли—тѣ, кто нынѣ въ странѣ
Гордился кровавой удачей:
Узнали, что граждае скрыли на днѣ
Оружье свое передъ сдачей.
Чтобъ въ руки оно не попало врагамъ—
Довѣрили водамъ въ Икселѣ...
Но кто-то донесъ имъ, что спрятано тамъ—
И воды—спустить повелѣли.
И смотрятъ—(и страшенъ безгласный ихъ зовъ)—
Тѣ два ослѣпленные ока...
Гдѣ жъ лебеди бѣдныхъ Иксельскихъ прудовъ?..
Далеко... Далеко!

Т. Щенкина-Куперникъ.

ВЪ ЛУЙСКОМЪ УБЪДѢ.

(Вступленіе къ роману—«Наслѣдники»).

I.

Луйскій уѣздъ былъ обязанъ расцвѣтомъ Прохору Никоничу Балдягину. По крайней мѣрѣ, совѣтшикъ губернскаго правленія Боскодумовъ, пытавшійся въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ доказать, что Балдягинъ въ дѣлѣ расцвѣта занимаетъ лишь второстепенное мѣсто, а первое принадлежитъ попеченію послѣднихъ четырехъ губернаторовъ,—спасоваль: точными выкладками доказалъ приглашенный на юбилей балдягинской фирмы приватъ-доцентъ Обѣруковъ, что уѣздъ пропизанъ балдягинской созидающей силой, какъ тѣло кровью. Способный приватъ-доцентъ изобразилъ это въ огромныхъ таблицахъ на стѣнахъ кабинета Балдягина, и все воочію убѣдились, что отъ правды не отмахнешься. Недаромъ получилъ Обѣруковъ пять тысячъ за эту правду.

Балдягинскія фабрики и лѣса, балдягинская желѣзная дорога во весь уѣздъ, балдягинскія усадьбы... И еще многое-многое.

Тамъ и сямъ, по проселкамъ, стояли столбы съ указующими перстами и говорили: «дорога въ Зеленый Дворъ, хуторъ Балдягина!» «Поворотъ на копскихъ заводъ—Балдягинку!» «Заповѣдная дача—Дочерино!» ... И еще многое-многое.

Новый губернаторъ, неколесившій уѣздъ по проселкамъ,—онъ хотѣлъ зпать губернію досконально и потому колесилъ по проселкамъ,—досыта наглядѣвшись на столбы съ указующими перстами, раздраженно сказалъ непремѣнному члену.

— Какое-то... обалдѣніе!..

Острое словцо губернатора въ тотъ же день докатилось до Луйска съ нарочнымъ конторщикомъ, который загналъ пару балдягинскихъ жеребцовъ (приказано было сообщать все, что будетъ говорить губернаторъ), чтобы доложить Прохору Никоничу пріятное.

И случилось такъ, что словцо себя оправдало. Показавъ губернатору фабрики и поразивъ бумажными «штуками», что все въ кабинетахъ,—профессоръ-чудакъ одппъ пзобрѣлъ!—Прохоръ Никоничъ устронлъ такой хлѣбо-

сольный приемъ, что наступило какъ бы общее обалдѣнiе. Непремѣнный членъ по ѣхалъ на балдягинскихъ рысакахъ въ состоянii полнаго опѣмѣнiя, чиновникъ для порученiй путалъ лица и называлъ Прохора Никоныча вапимъ превосходительствомъ, а самъ губернаторъ всю дорогу твердилъ широкой спиной балдягинскаго личнаго кучера.

— Да, я все-о пони-маю... все!

Былъ слухъ, будто предпринимались шаги,—нельзя ли переименовать уѣздъ, приводились всякiя справки, назывались очень крупныя суммы, даже были тронуты силы науки, но губернаторъ твердо сказалъ новѣренному Балдягину, Кнопкину:

— Не въ нашей власти передѣлать исторiю. Мы можемъ дѣлать, но передѣлывать...

И съ милой улыбкой добавилъ:

— Да и зачѣмъ? Уѣздъ все равно—балдягинскiй, хоть и безъ прописной буквы. А замѣнить благороднаго льва въ гербу прозаической кипой хлопка..!

И опять докатилось, куда было приказано, какъ сумѣлъ постоять за честь довѣрителя умиѣйшая голова Володичка Кнопкинъ. Онъ, будто бы, сказалъ губернатору:

— Гдѣ же, ваше превосходительство, бывше благородные львы? Первое мѣсто заняли кипы хлопка!

На что губернаторъ сказалъ находчиво:

— У меня... на гербахъ!

Это была его послѣдняя фраза, сказанная такъ храбро. Его свалили козни враговъ. Въ Луйскѣ же говорили съ гордостью.

— Нашъ-то... второго ужъ!

— Ну, какъ второго?

— А Копыткина-то! Да по замотинскому-то дѣлу?!

И начинали вспоминать и перетряхивать знаменитое дѣло, которое войдетъ въ исторiю. Въ этомъ дѣлѣ были и подлоги, и увѣчья, и каторга, и гибель благородныхъ Замотинныхъ, и торжество Прохора Никоныча. Были здѣсь и хищенiя, и всякiя другiя злоупотребленiя, и доброе участiе губернатора, искавшаго правду, и груды вѣрныхъ и невѣрныхъ бумагъ, и надруганiе надъ женскою честью. И деньги—много денегъ, неизвѣстно куда запропавшихъ. Это было дѣло, приковавшее вниманiе многихъ губернiй; это было единоборство Балдягина съ одной стороны и мѣстныхъ властей—съ другой. Это было дѣло, стоившее Балдягину миллиона и давшее ему пять миллионъ и торжество. Но исторiя этого дѣла могла бы составить романъ въ десятокъ томовъ, судя по тому, что въ архивахъ многихъ казенныхъ мѣстъ завелись особые, «замотинскiе», уголки. Да и трудно касаться этого жуткаго дѣла. И опасно касаться. Еще живъ Балдягинъ, и далеко прошли корни его, перекинулись за предѣлы губернии и даютъ отпрыски. Съ каждымъ днемъ больше и больше мчится по асфальтовымъ мостовымъ шумящихъ и чадныхъ автомобилей, незримыми путями связанныхъ съ Луйскимъ уѣздомъ, подолгу останавливающихся у громкихъ подъѣздовъ. И не настала еще пора безстрашно изобразить всю правду. Ибо самое даже слово—правда все еще мирно покоится въ словаряхъ и не выглядываетъ на свѣтъ Божiй. А въ Луйскѣ....

Всеѣмъ извѣстенъ горькiй онытъ казначейскаго чиновника Ягодкина, недѣли метавшагося по городку и отыскивавшаго все какую-то свою правду,

которая то представлялась ему въ видѣ жены-красавицы, куда-то пропавшей въ одинъ изъ ненастныхъ октябрьскихъ вечеровъ, то въ видѣ потеряннаго мѣста, кѣмъ-то изъ-подъ него вырваннаго, то въ видѣ оплеухи, данной имъ казначею, или плевковъ «въ хари балдягинскихъ лакеевъ», зажимающихъ ротъ голосу истины. Долгіе дни и ночи метался Ягодкинъ, по улицамъ и тупичкамъ, округъ каменныхъ корпусовъ, охватившихъ и зацементированныхъ городокъ, долгіе дни и ночи грозилъ и плакалъ и, наконецъ, взялъ былъ съ полчинымъ, съ перочиннымъ ножомъ въ карманѣ, и водворенъ въ полицейское управленіе. А потомъ полетѣли телеграммы и бумаги, открылся таинственный заговоръ, выплыла для всѣхъ очевидная неблагонадежность, и ловко притворявшися некателемъ какой-то поправленной правды, Ягодкинъ, былъ водворенъ въ губернію, въ солидное зданіе, и пресѣкъ мятежную жизнь свою непредусмотрительно оставленнымъ во второмъ карманѣ казеннымъ перочиннымъ ножомъ. Такъ и не могъ узнать сумасбродъ, гдѣ пропадала его правда, и гдѣ проживала три мѣсяца его жена-красавица, послѣ смерти супруга уютно устроившаяся въ новомъ домикѣ за кисейными занавѣсками на пенсію въ десять рублей, аккуратно выплачиваемую нотаріусомъ Ракоглазовымъ по порученію неизвѣстнаго благодѣтеля,—на пенсію въ десять рублей, чего хватало съ избыткомъ при безумно-красивыхъ глазахъ вдовушки Ягодкиной и при любезномъ содѣйствіи молодыхъ посѣтителей съ Торговой и Казначейской. И не только безумно-красивые глаза и какія-то «безстыдныя губы, созданныя для грѣшныхъ ноцѣлуевъ», какъ говорилъ соборный протоіакопъ Неопалимовъ, помогали безбѣдно существовать вдовѣ, сколько многихъ манившее, заигрывающее сознаніе, что это не просто Ягодкина вдова, сколько—бывшая... того-съ... самого! И поглядывали на каменные громады съ трубами.

И только одинъ несуразный портной Балдягинъ въ пьяномъ видѣ зычно кричалъ въ Живодерномъ переулкѣ, противъ окошекъ вдовы, что она не его дочь собачья, не его, Василья Балдягина, портного, а того брюхатаго кожелупа любовница, родная племянница! Храбро кричалъ портной, что наказала его судьба, дала его фамилію честную кожелупу, чертп бѣ его задавили!

И начиналъ сыпать такимъ горохомъ, который даже и въ Луйскѣ почти-что вышелъ изъ обихода.

И если бѣ не этотъ храбрый портной, кончавшій праздничные часы за рѣшеткой, мало бы кто узналъ, что у потомственнаго почетнаго гражданина и мануфактуръ—совѣтника Прохора Никоныча Балдягина есть родной братъ, занимающійся честнымъ рукоесломъ и ни-когда!... никогда не протянувшій руки къ проклятому кожелупу за помощь. Ибо хоть и не разъ протягивалъ онъ руку, но не съ вытянутыми пальцами, а крѣпко собранными въ кулакъ, чтобы погрозить высоченнымъ каменнымъ трубамъ и укрывшимся за тополями колоннамъ дома, бывшаго предводителя дворянства Замотина, нынѣ Балдягина.

Мало кто вѣрилъ портному. Правда, сочинялись исторіи, какъ портной вылетѣлъ однажды съ задняго крыльца балдягинскаго дворца, когда вздумалъ явиться и доказывать свою родословную, какъ самъ неправникъ вызывалъ портного и убѣждалъ оставить лишніе разговоры передъ окошками вдовы Ягодкиной, угрожая крѣпкими мѣрами, какъ въ ногожнн сентябрьскій вечеръ къ кособокому домншку портного съ ревомъ подкатилъ огромный автомобиль съ сядьно подвыпившимъ Никодимомъ Прохорычемъ, старшимъ сыномъ Балдя-

гина, и какъ Никодимъ Прохорыхъ (хорошо видѣли въ окно) удостоилъ выпить чайку за непокрытымъ столомъ, ѣлъ ситный хлѣбъ и одѣлялъ рублями сопливыхъ внучатъ портного, а самъ все трясъ портнову руку и горячо въ чемъ-то увѣрялъ, а портной качалъ головой и дѣлалъ рукой все такъ: пожалуйста, не подумайте, мы тоже на свѣтѣ существуемъ!

Было еще очень странное обстоятельство, связывавшее портного съ Балдягинымъ.

Прачка Василиса Кривая, у которой мужъ, поваръ, зарѣзалъ балдягискаго лакея, по секрету передавала пѣкоторымъ и всѣмъ попемпогу, что своими глазами видѣла, какъ въ тѣ будоражные дни, когда начиналась забастовка, портной выпустилъ изъ своихъ воротъ одного паренъка въ высокой бараньей шапкѣ но самые глаза, и божилась, что своими ушами слышала, какъ портной въ-украдку сказалъ:

— Дай Богъ на счастье, Степанъ Прохорычъ... берегись!

Ужъ не младшаго ли балдягискаго сына, племянника своего незнаемаго, пропащаго, нелюбимаго отцомъ, провожалъ несуразный портной? Съ того жуткаго дня (съ этого дня и начинается правильный ходъ романа) многіе видѣли въ городкѣ этого молодцеватаго паренъка, который съ папашенькой былъ на ножахъ и прожигалъ наѣдомъ въ квартирѣ врача земской больницы Всеволода Гіацинтова, очень подозрительнаго человѣка, отвергавшаго Бога и религію. Что хорошаго могъ получить молодой человѣкъ отъ этого Гіацинтова? Веѣ сосѣди могли отвѣтить: «не знаемъ, но и плохого отъ доктора не видали, а ихъ сестрица Нина Семеновна, удивительная красавица, конечно, не всегда вели себя доброкачественно» ...

— Что хорошаго?—вопросалъ соборный протопопъ Крестоцвѣтовъ.— Наружность всегда обманчива... Хотя и носятъ иные прозваніе отъ чистыхъ и ароматныхъ цвѣтовъ, по въ сердцѣ у нихъ пѣвка. Такъ и анчаръ,—съ виду зрачепъ и крѣнокъ силою жизни, въ нѣдрахъ же таитъ разрушеніе и смерть. А Пину Семеповиу, какъ веѣмъ извѣстно, я выгналъ изъ моего дома за пагубное вліяніе. И никому не порекомендую брать руководительницей дѣтей даже по французскому языку!

Не любилъ протопопъ доктора Гіацинтова, который когда-то подавалъ надежды итти въ академію и взять за себя старшую дочь протопопа Вассу съ хорошимъ мѣстомъ у Женъ Мурносницъ, а на дѣлѣ оказался пустымъ и гордомыслящимъ человѣнкомъ.

II.

Корпуса балдягинскихъ фабрикъ, съ десяткомъ тихо курящихся черноголовыхъ трубъ, полукольцомъ охватываютъ край городка, унирающійся въ лощину. Изъ этой лощины-оврага тянется разбитое ухабиетое шоссе, по которому съ ранняго утра до поздней ночи плывутъ и плывутъ подводы съ грязными кипами вытирающаго въ дырѣ хлопка—къ фабричнымъ сараямъ, и уплываютъ въ лощину, къ неблизкой станціи желѣзной дороги, другія подводы, укрытыя сѣрымъ брезентомъ: то ползетъ безконечная выработка—мѣталь и ситець. Отъ постояннаго громаханья стоитъ надъ городкомъ томящій и скучный шорохъ желѣза и камня. На оклизоумъ деревянномъ мосту черезъ Луйку вѣчно тор-

чать сбившіяся въ сѣрую груду подводы въ гомонѣ неуступчивыхъ возчиковъ. Здѣсь бьютъ кнутовищами и сапожищами подѣ брюхо лошадей, выстегиваютъ испуганные глаза, рвутъ ноздри и ломаютъ оглобли. Потому всѣ въ городкѣ зовутъ этотъ дырявый осклизлый мостъ—Тѣснымъ.

По берегамъ радужной, въ черноту, Луйки, гдѣ, кажется, никогда не течетъ, а дремлетъ окрашенная вода, подернутая пыльнымъ жирнымъ налетомъ, съ выскакивающими и пропадающими пузырями невѣдомыхъ газовъ,—самое людное мѣсто Луйска. На городскомъ бережку, въ заросляхъ лопуха и крапивы, сидятъ и лежатъ цѣлыми днями, въ лѣтнее время, праздные люди, растерявшіе шапки и сапоги, копошится луйская рвань, вышибленная съ фабрикъ, отводящая душу въ прогулахъ. Бродятъ здѣсь, въ заросляхъ, жепскій визгъ и дикіе крики пропойной мастеровщины, топутъ вздохи упившихся. Здѣсь много стекла, окровавленныхъ тряпокъ и забытыхъ опорковъ. Здѣсь много вытоптанныхъ плѣшищъ, на которыхъ играютъ въ орлянку и ремешокъ и занимаются поножовщиной. Здѣсь сотни младенцевъ получили зачатіе, и ежегодно десятки малепькихъ труновъ находятъ случайные люди въ рогожныхъ кулечкахъ подѣ бережками, съ перетянутыми шейками и ртами, забитыми тряпкой. Здѣсь вся почва пропитана отбросомъ. Зовутъ это мѣсто—Погаповымъ, а на полицейскомъ жаргонѣ за нимъ укрѣпилось едва ли удобопроизносимое прозвище—Задъ. Въ ночное время обыватель сюда не заглядываетъ. Только-только, въ попедѣльничъ на ооминной, подѣ свѣженасыпанной кучей мусора помощникъ машиниста балдягинской фабрики Иванъ Семенычъ открылъ блѣдныя красивыя ноги уже мѣсяцъ пропавшей Нади-портнихи, и теперь въ городкѣ, по слухамъ, орудуетъ партія сыщиковъ изъ Москвы, выписанныхъ по настоянію Прохора Никонича, но пока ничего не дознавшихъ. Бѣгаетъ на потѣху фабричнымъ черная собачонка съ бѣлыми лапками, обнюхиваетъ заборы и ничего не находитъ.

Отступя отъ рѣки, на полверсты тянется бережкомъ сѣрый высокій заборъ, съ поломанными гвоздями. Подѣ заборомъ лежатъ взѣрошенные фигуры, загордивъ собой тропку, часто ногами или головами въ гниющихъ лужахъ, играютъ въ холодкѣ въ карты, пьютъ водку; стаятся бродячія собаки. За заборомъ—балдягинское царство каменныхъ корпусовъ, сараевъ и складовъ, изрѣзанное путями громыхающихъ вагонетокъ, ревущее и стрекочущее, въ запахѣ нефти, хлора и красокъ. Тамъ, на двадцати десятинахъ, не растетъ ни одного деревца, и только упорно насаждаемая аллея изъ тополей, передъ окнами главной конторы, борется блѣдными листьями съ отравляющимъ хлоромъ.

По ночамъ на широкомъ просторѣ высятся голубыя солнца, и свѣтъ ихъ, холодный и ровный, дѣлаетъ каменныя громады еще болѣе мертвыми. Вѣетъ ото всего холодомъ и тоской. И всегда тихо-тихо курятся черноголовыя трубы.

Но если заглянуть на фабричное становище съ фасада, съ балдягинскаго проспекта, ровнаго, какъ стрѣла, хотя бы съ самаго дальняго края его, отъ базарно-соборной площади,—въ глаза ударитъ золотыми пузатыми буквами съ рѣшетчатой вывѣски надъ воротами: «Мануфактура П. П. Балдягина». Бьетъ въ глаза асфальтовый лакъ чугунныхъ воротъ, съ натугой отворяемыхъ крѣпкимъ, какъ коневья жила, татарникомъ, вѣрнымъ стражемъ. Это—«балдягинскія» ворота: ихъ отворяютъ только хозяину да самымъ почетнымъ лицамъ. Для прочихъ—буднія, въ сторонѣ; для груза—фабричныя, еще дальше. Двадцать тысячъ фабричныхъ входятъ и выходятъ калитками на цѣпяхъ, съ чугунными кресто-

внами: летомъ не пробѣжишь. До Прохора Никоныча добраться трудно: живетъ онъ въ двухъэтажномъ домѣ-особнякѣ, бокъ-о-бокъ съ главной конторой. Окна особняка глядятъ на проспектъ, къ собору, ясными вечерами горятъ нестерпимо отъ солнца. Сюда попадешь только черезъ балдягинскія ворота: огражденъ особнякъ и контора каменными стѣнами отъ корпусовъ, только и есть одинъ ходъ къ корпусамъ—чугунная узенькая калитка, отворяемая тѣмъ же татаринномъ. А это такой человѣкъ, съ которымъ говорить трудно. Потачки не даетъ никому, даже директорамъ отдѣловъ. И потому посылтъ кличку—Собачье Шило. Его не любятъ, но все вѣрятъ въ его неподкупность. Все знаютъ, что Собачье Шило не боится самого Прохора Никоныча и наотрѣзъ отказался принять крещение. Передаютъ такой разговоръ:

— Крестись, свиное ухо, тыщу рублей получишь!

— Мало.

— Ахъ, Чортъ Иванычъ... а двѣ?!

— Мало.

— А три?!

— Все мало. Законъ не купиай, не продай.

Плюнулъ Прохоръ Никонычъ и подарилъ молтинникъ.

Поговариваютъ въ городкѣ, что татаринъ за двадцать лѣтъ службы знаетъ немало. Но ни слова не говоритъ скуластый Асанъ, только узитъ сонные глазки и чмокаетъ.

III.

У Прохора Никоныча есть еще домъ-дворецъ, родовой домъ Замотинныхъ, перешедшій къ нему съ цѣлымъ рядомъ имѣній. Домъ этотъ полоинъ остатковъ блестящаго прошлаго, бывшей замотинской славы. Въ немъ еще можно видѣтъ въ витринахъ ряды отличій поколѣній Замотинныхъ, жалованныхъ вещей и грамотъ, креслы въ чехлахъ, на которыхъ сидѣвали когда-то люди высокаго положенія, что-то такое сказали или выкушали чашечку кофе. Въ горкахъ и шифоньерахъ краснаго дерева съ золотомъ, съ чудесной тонкой мозаикой итальянскаго перламутра, и теперь еще ибно глядятся въ тихихъ краскахъ хрупкй фарфоръ, зажелтѣвшй въ граяхъ хрусталь, тускйбютъ золотые разводы на чашечкахъ, глядятъ слѣными глазами блѣднощекй, шелковыя маркизы изъ севра, таятся по уголкамъ пожелтѣвшйе вѣра въ золотѣ, кости и перламутрѣ, съ незримыми слѣдами вздоховъ и ноцѣлуевъ, въ тонкомъ ароматѣ прошедшаго, котораго ни вернуть, ни поддѣлать никакимъ ухищренйамъ современности. Въ залахъ съ колонами какъ-будто и сейчасъ все еще ходятъ неслышно внимательные лакен въ чулкахъ, въ атласныхъ туфелькахъ съ пряжками, въ льняныхъ парикахъ, и до сихъ поръ еще сохранился въ дворецкой кисловатый запахъ дешевой пудры. Десятокъ сбившихся со счета курантовъ еще отбиваютъ печальное время, вышгрываютъ попрыгивающй мелодйи. Пузатые кресла въ золотѣ, на кривыхъ топкихъ пожкахъ, крытые штофынымъ шёлкомъ, и овальныя зеркала въ пятнахъ, въ золоченыхъ медальонахъ и завитушкахъ, и мраморныя статуи на красныхъ, съ золотомъ, тумбочкахъ, и шестолетняя комната, и курильня, и угловая карточная, и круглая, биллиардная, и дамскй салонъ, и цѣлая амфилада покоевъ всякаго назначенія до длинныхъ лакейскихъ съ залавками, съ пятнами дремавшихъ головъ;

кривые ходы съ лѣсенками въ колонкахъ, потайные шкафы въ стѣнахъ, закоулки и тупики, теплыя старыя комнаты съ лежанками въ голубыхъ птицахъ, съ черными кивотами, съ тяжелыми образами и ароматомъ плѣсени и старья. И даже гербъ на фронтонѣ дома, подновленный синей и желтой краской.

Это—парадный домъ на широкую ногу, теперь съ электричествомъ въ дорогой арматурѣ (на двѣнадцать тысячъ ламповъ однихъ поставлено!—радушно говорятъ обыватели). Здѣсь Балдягинъ принимаетъ лицъ высокаго положенія отъ губернатора и кончая министрами, заѣзжавшими въ Луйскъ, когда ихъ воля того хотѣла. Обычно же проживаетъ въ домѣ при фабрикахъ. Тамъ—дубъ и чугуи, мѣдь и сумракъ даже въ яркіе вѣшніе дни. Тамъ солидно и холодно. Не дрожитъ, за что ни возьмись. Не разбѣгается глазъ, не слышитъ ухо мягкихъ и легкихъ звуковъ. Здѣсь можно покойно разбираться въ планахъ и начинаніяхъ.

А отдыхать... Для отдыха было много всякихъ другихъ мѣстъ—для отдыха и развлеченія. Можно было поѣхать въ Зеленый Дворъ, гдѣ... Но мало кто зналъ, что было для развлеченій въ Зеленомъ Дворѣ. Ходили слухи, говорили о какихъ-то таинственныхъ, полныхъ и бѣги ночахъ въ Зеленомъ Дворѣ, объ оргіяхъ въ мавританскомъ дворцѣ, о каретахъ съ опущенными занавѣсками, пробиравшихся въ почные часы по недавно проложенному шоссе, о восточныхъ баняхъ, будто бы построенныхъ въ самое послѣднее время, о зеркальныхъ стѣнахъ и потолкахъ... но никто не могъ сообщить что-нибудь достовѣрное. Знали только, что живетъ въ Зеленомъ Дворѣ старшій Кузьма, бывший кучеръ, да двѣ старухи. Пріѣзжавшіе съ каретами кучера немедленно отъѣзжали на конскій дворъ, вереть за пять, и возвращались по вызову въ телефонъ, обыкновенно, дня черезъ три. Отъ нихъ-то и было извѣстно, что въ кареты на станціи садились дѣвицы и дамы, очень роскошно одѣтыя, и везли съ собой большія коробки. Очевидно, у Прохора Никоныча былъ, просто-на-просто, легучій гаремъ. Да и кому же какое дѣло до того, какъ проводитъ свободное время Прохоръ Никонычъ, первый человѣкъ Луйска? Проводилъ онъ время въ собственномъ помѣщеніи, ровно никого не беспокоилъ, никто на него не жаловался. А дѣлать фальшивыя бумажки или совершать уголовщину надобности никакой не было.

Говорятъ, что одинъ изъ недолго побывшихъ на своемъ посту губернаторовъ въ откровенной бесѣдѣ за тонкими винами намекнулъ Прохору Никонычу, не покажетъ ли онъ какихъ «особенныхъ и таинственныхъ рѣдкостей», которыя яко бы сохраняются у него въ одной изъ усадебъ; но Прохоръ Никонычъ не смутился и съ готовностью предложилъ показать мавританскій домикъ и даже попарить губернатора въ банькѣ. И странная у людей психологія: послѣ такой готовности у губернатора пропалъ интересъ. Однако ходили слухи, что губернаторъ однажды, когда Прохоръ Никонычъ отдыхалъ въ Зеленомъ Дворѣ, заблудившись, будто бы, на охотѣ, подѣхалъ верхомъ къ основному воротамъ усадьбы (исправникъ и трое урядниковъ хоронились въ лѣсу) и попросился. И опять ничего не нашелъ, только хорошо вымылъ его старшій Кузьма въ турецкой душистой банькѣ, да Прохоръ Никонычъ угостилъ холодной телятиной безъ вина: въ Зеленомъ Дворѣ горячаго не варили и винаго погреба не держали.

Былъ еще слухъ, что Прохора Никоныча прижалъ самый тотъ губернаторъ къ стѣнѣ, намекнувъ деликатно, что поговариваютъ о т а к и хъ наклонностяхъ Прохора Никоныча, насчетъ женскаго пола, и даже потрепалъ его по плечу. Но и тутъ ничего не вышло. Прохоръ Никонычъ, будто бы, въ упоръ глядя

на искусителя, сказалъ на ушко такое, что тотъ замахалъ руками и поперхнулся. Вскорѣ послѣ сего онъ оставилъ губернію.

Но въ Луйскѣ ходила такая уйма великихъ отвратительныхъ слуховъ о всякомъ мало-мальски отмѣченномъ печатью судьбы человѣкѣ, что если бы дать всему вѣру, пришлось бы всѣхъ видныхъ людей, по меньшей мѣрѣ, отправить на поселеніе. Даже о такомъ глубоко религіозномъ человѣкѣ, отцѣ семи дочерей, мирномъ торговцѣ мукой и овсомъ, соборномъ старостѣ съ медалями на груди, Михаилѣ Степанычѣ Мушкинѣ шопоткомъ говорили, что... Но даже языкъ не выговорить эту гнусность. Къ тому же этотъ уважаемый человѣкъ былъ почителемъ пріюта для малолѣтнихъ.

Говорили о протопопѣ, будто беретъ на себя посредничество по устройству въ приходы и скупаетъ восковые огарки у сельскихъ церковныхъ старостъ, вѣшаетъ на фальшивомъ безменѣ и уже отъ себя сдаетъ на епархіальный заводъ. Говорили про операциі съ соборными суммами, будто бы вѣчно пребывающими въ оборотахъ лабаза отца семи дочерей. Говорили о предѣдателѣ земской управы, проложившемъ шоссе въ собственное имѣніе, куда развѣ только и ѣздить, что за лежцами, на омутъ. Говорили о податномъ, построенномъ изъ балдыгинскаго лѣсу... Изъ какого же лѣсу строиться, если кругомъ только и есть, что балдыгинскій?

— А почему фабричный инспекторъ, вонъ, балдыгинскую харчевую лавку не накрываетъ?

А фабричный инспекторъ потому и не накрывалъ, что даже и не балдыгинская она была, а какъ бы подбалдыгинская: кредитовался и затягивались рабочіе у Фунтикова, а развѣ инспекторъ святой, что можетъ знать всякія торговыя комбинаціи? Фабричная же контора брала на себя только посредничество.

— А почему, вонъ, у казначея породистые гуся заведѣны и курочки плимут-роки?

— Да дѣтей у него крестилъ управитель балдыгинской усадьбы... ну, на крестниковъ!

— Такъ-такъ... А почему крестилъ? Чтобъ артельщиковъ въ казначействѣ не задерживали на ущербъ прочей публикѣ! Ну, а по-вашему почтовое отдѣленіе тоже святое мѣсто?

— Ну, знаете...

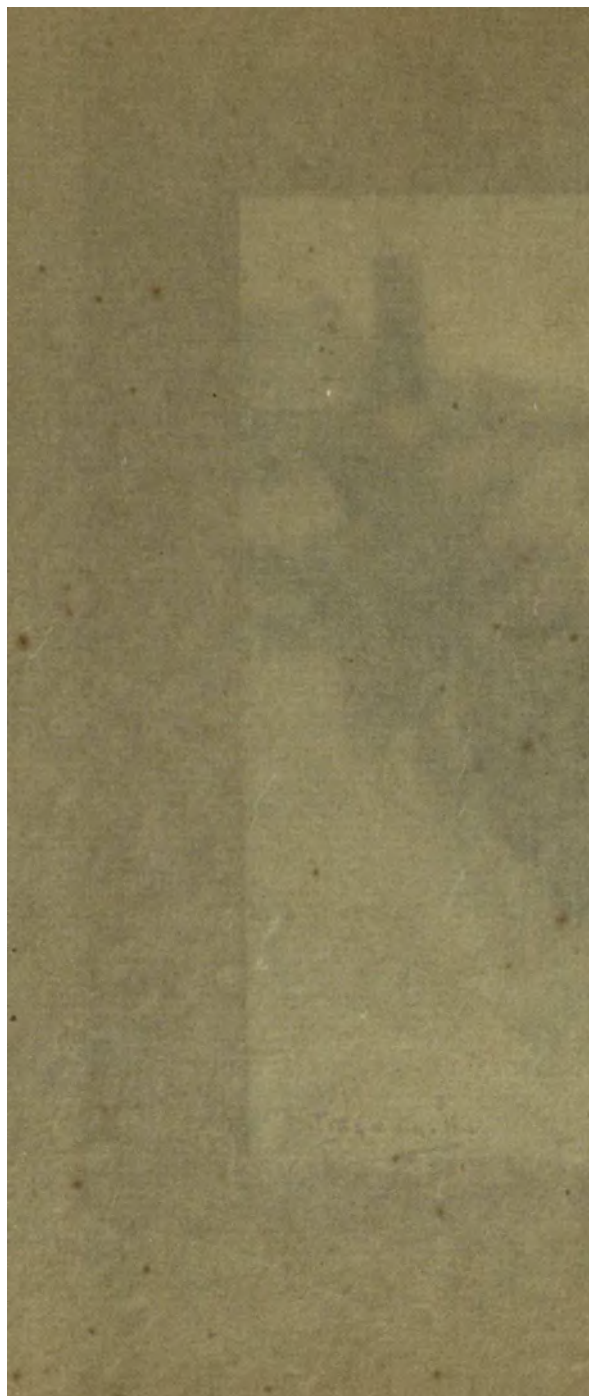
— Знаемъ-съ. Вы, вонъ, Акулину Семеновну пощупайте нацотъ этихъ дѣловъ. Почему это, объясните, я васъ прошу, главный булгахтеръ балдыгинскій, какъ сядетъ въ трышку съ Иваномъ Петровичемъ, обязательно ему разъ въ мѣсяцъ, двадцатаго числа, сто съ четвертью пропграетъ?

— Это вы про надзирателя-то? Напрасно-съ. Вотъ ужъ именно на кого могу положиться... Значитъ, вы и врачебный персональ можете заподозрить что вонъ, сказываютъ, волокомъ фабричныхъ съ коекъ тащутъ, чтобы даромъ не валялись?

— А почему главному врачу съ экоиомѣ сливочное масло пудами да разныхъ тамъ рапжерейныхъ штукъ не по сезону доставляютъ? для рабочаго пропитанія?!

— Чтобы Архипъ Антонычъ?! Да онъ моей жемѣ операцию дѣлалъ... святой человѣкъ!

Такіе споры велись только о спорныхъ лицахъ. О прочихъ не спорили, а просто, какъ бы обмѣнивались мыслями.



А. С. Степановъ.
Въ сумеркахъ.



- Усачь-то нашъ опять въ туриэ покатишь.
- Гм... Опять казначею на ренту заказъ будетъ.
- Трактирщика потрясли.
- Да, да... желѣзку словилъ! Везеть Ивану Петровичу.
- Податшixa-то родила! че-орпенькин... хе-хе-хе...
- Ну, Платонъ Маркычъ! И какъ онъ успѣваетъ!..

Довольно объ этомъ. Это вовсе не достопримѣчательность Луйска, а какъ бы естественное свойство воздуха слабо вентилируемаго и лишенаго озона самодѣтельности. Такъ выразился однажды санитарный врачъ Филоменинъ, дѣлавшій попытки посадить въ городкѣ самоочищеніе посредствомъ взаимнаго обмена мыслей, но не успѣлъ въ этомъ по нѣкоторымъ обстоятельствамъ. Все это вовсе не коренное свойство бѣднаго Луйска, потому что городокъ этотъ сравнительно просвѣщенный, въ которомъ насаждаютъ науку посредствомъ полной женской гимназии и мужской шестиклассной. Это городокъ живой, съ безпокойнымъ фабричнымъ населеніемъ, будящимъ мирный сонъ обывателей. Такъ сказала на выпускномъ актѣ въ женской гимназии устроитель любительскихъ спектаклей, учитель словесности Мухотаевъ, котораго потомъ изводилъ въ клубъ исправникъ, открывшій въ немъ юмориста, равнаго себѣ въ камъ.

Именно, будятъ! Форточку открылъ—тутъ тебѣ и сло-весность!

Городъ Луискъ—городъ достаточно культурный. Довольный приѣмомъ въ замотинскомъ домѣ-дворцѣ, передъ ликами мраморныхъ статуй, созерцая сквозной фарфоръ, слушая чарующую музыку запрятавшаго на хоры фабричнаго оркестра, недолговѣчный губернаторъ, заблудившійся на охотѣ, сказалъ, расстроганный:

— Вотстину, это самый культурный изъ моихъ городовъ. Я не говорю о губерніи, конечно, но тамъ... гм... губернія! А тутъ...—топко продолжалъ онъ, всматриваясь въ пагую Диану и проливая вязки ликеръ на коверъ,—чудесно. Только вотъ мостовыя немпожко... И какъ пріятно, что изъ этой глуши, изъ лѣсныхъ и болотныхъ угловъ... тянутся нити туда, въ центръ организма... Насъ связываетъ милая, несравненная Иша Прохорова!

Онъ говорилъ о единственной дочери Прохора Никоньча, недавно вышедшей замужъ за товарища министра...

И в. Ш м е л е в ъ.



ОРАНЖЕРЕЯ.

Войдите въ эти дни войны
Въ цвѣтунціи міръ оранжерей,
Гдѣ чисты ладыши весны
И изощренны орхидей,
Гдѣ розы влажны на стеблѣ,
Какъ бы обрызнуты росой,
Гдѣ блестятъ солнце на стеклѣ
Передъ яварскою весною.

Въ стѣнахъ изиѣженныхъ теплицъ,
Какъ бы незнающихъ печалей,
Какъ много блѣдныхъ скорбныхъ лицъ
И сколько траурныхъ вуалей,
Въ глазахъ невыплаканныхъ слезъ,
Въ походкѣ подкопной силы,
И сколько чудныхъ, свѣжихъ розъ
Песутъ на свѣжя могилы.

И. Вильде.



ПОЛЯРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ ПОЛНОЧЬ.

(Островъ Новая Земля.)

Снѣга тамъ слагаютъ напѣвы,
И горы тамъ гимны поютъ,
Вершины, какъ мудрыя дѣвы,
Свѣтильники въ полночь зажгутъ.
И солнце, снѣга озаря,
Свершаетъ надъ безднами ходъ,
И глетчеры въ полночь сверкая,
Спускаютъ свой огненный ледъ.
И бури тогда умолкаютъ,
И штормъ въ океанѣ молчитъ,
Вершины трепещутъ, сіяютъ,—
Неслышное ясно звучитъ...

Художникъ Василій Переплетчиковъ.

ПОСЛѢДНЕЕ ПИСЬМО.

«Мама моя, прости мнѣ все горе, что я причинила тебѣ и позволь въ этомъ послѣднемъ письмѣ съ родины высказать все, что терзаетъ мою душу.

Пожалѣй меня, мамочка, я такъ несчастна, какъ никогда и не думала, что можетъ быть человѣкъ! Я понимаю, что это наказаніе мнѣ за то, что я заставила тебя пережить, и я не ропщу, я все выдержу, но я не могу не сказать тебѣ о томъ, какъ мнѣ тяжело! Я знаю, ты меня пожалѣешь, ты меня простишь...

Съ чего начать? Что самое ужасное въ моемъ положеніи?

Конечно то, что я остаюсь совсѣмъ одна, что я уѣзжаю въ несправедливую страну, и что мой мужъ призванъ въ войска и будетъ сражаться противъ моихъ братьевъ—русскихъ.

Неужели ты эту возможность предвидѣла, когда такъ горячо возставала противъ моего брака? Не можетъ быть... вѣдь не я одна выходила за иностранца. Или сердцемъ ты чувствовала, что именно въ данномъ случаѣ «не будетъ добра», какъ ты говорила?

Но, мама моя дорогая, пойми меня—вѣдь мнѣ казалось, что я его люблю. Я даже уважала его за то, что онъ не захотѣлъ перейти въ русское подданство. Я съ радостью пошла за нимъ и стала сама германской подданной. Мнѣ все это казалось пустой формальностью, и такъ естественнымъ находила я то, что не онъ идетъ за мной, а я—за нимъ.

И вѣдь мы были счастливы эти два года. Я не скажу, чтобы не замѣтила я нѣкотораго несходства нашихъ взглядовъ, но мы умѣли ладить и Генри говорить, что онъ любитъ меня все больше и больше, что я наполнила всю его жизнь, и что безъ меня онъ уже не представляетъ себѣ жизни.

До сихъ поръ Богъ не посылалъ намъ дѣтей. Ты знаешь, это огорчало насъ обоихъ... Огорчало и тебя. И я не писала тебѣ, я хотѣла сдѣлать сюрпризъ... А теперь я ужъ и не знаю, какъ ты отнесешься къ тому, что у меня будетъ ребенокъ, который родится въ чужой странѣ, въ чужой для меня семьѣ. Я не сказала еще тебѣ, что Генри отвозитъ меня къ своимъ родителямъ, да если бы и не отвозилъ—все равно, говоритъ онъ, я, какъ германская подданная, не имѣю права жить въ Россіи, и въ нашемъ пограничномъ городкѣ, гдѣ все-таки было у меня гнѣздо, мнѣ тоже оставаться нельзя.

Какое ужасное сцѣпленіе обстоятельствъ!

Я не могу утѣшать себя мыслью, что война, какъ все на свѣтѣ, кончится, что я буду имѣть возможность пріѣхать къ тебѣ, показать моего ребенка, видѣть, слышать, цѣловать тебя. Не могу! Война только начинается, не видно конца, да если и доживу я до этого конца, я не знаю, что останется отъ меня, я ничего не знаю, кромѣ того, что сейчасъ мнѣ нестерпимо...

Завтра мы уѣзжаемъ въ имѣніе родителей Генриха. Вещи частью проданы, частью сданы на храненіе. Меня это не интересуеетъ. Я беру съ собою только портреты моихъ дорогихъ, да нѣсколько русскихъ книгъ.

Какъ ни далеко жила я отъ тебя, мама моя, все-таки я жила въ Россіи, теперь же я буду отрѣзана отъ моей родины... и въ какое ужасное время! Только сейчасъ, я понимаю, что значитъ для человѣка родина. Но къ чему мнѣ это пониманіе!

Не буду описывать тебѣ, что я пережила, когда узнала о войнѣ.

Я не сразу сообразила весь ужасъ того, что мой мужъ будетъ сражаться противъ моихъ братьевъ, не сразу повѣрила тому, что не могу остаться въ Россіи, и что жить мнѣ предстоитъ на родинѣ мужа. Все это какъ-то одно за другимъ сваливалось на мою бѣдную голову и лишало меня силъ приняться за письмо тебѣ. Я понимала, какъ едѣлаю тебѣ больно.

Но время не терпитъ. Я спѣшу все-таки, хотя и несвязно, сказать тебѣ все...

Прости же меня, родная моя!.. Впрочемъ, я знаю, ты простила. Ну пожалѣй, благослови меня... Только не страдай за меня, я заслужила то, что переживаю. И судьба еще милостива ко мнѣ—у меня будетъ утѣшеніе—мой ребенокъ, вѣдь его у меня ужъ никто не отниметъ, и я воспитаю его въ любви къ моей родинѣ... Боже мой, мама... что же это? Вѣдь его родиной будетъ не Россія.

А родители отца моего ребенка захотятъ воспитать его въ любви къ ихъ родинѣ, и я, жена ихъ сына и мать ихъ внука, я всегда останусь ненавистной имъ русской.

Мама, я теряю голову! Я признаюсь тебѣ въ томъ, въ чемъ не хотѣла сознаться два года тому назадъ, мнѣ его родные не понравились, я неправду написала тебѣ, что они добрые и хорошие. Я не знаю, какіе они, я только чувствую, что боюсь ихъ, понимаю, что они мнѣ чужіе, чужіе!

Что же мнѣ дѣлать?

Я молила Генриха отпустить меня домой... Но онъ правъ, мнѣ теперь туда нельзя. Если бы хоть не имѣлъ онъ отношенія къ военной службѣ. Я готова была бы не видѣть тебя, но знать, что онъ будетъ драться противъ русскихъ... это выше моихъ силъ! Это какой-то кошмаръ!.. Мнѣ надо во что бы то ни стало справиться съ мыслями, овладѣть собою.

Ради Бога, мамочка, ты не тревожься обо мнѣ. Я пишу, что чувствую, я дѣлаю тебѣ больно, но, родная моя, я только тебѣ могу крикнуть, какъ больно мнѣ... Я чувствую себя безпомощнымъ ребенкомъ и уже не въ состояніи разсуждать. Когда я прихожу въ себя, я понимаю, какъ я эгоистична.

Поэтому я до сихъ поръ и не писала тебѣ, но теперь... теперь ты и такъ чувствуешь, каково мнѣ. И пусть лучше и тебѣ будетъ больно, только не подумала бы ты, что я примирилась съ моимъ положеніемъ и считаю его нормальнымъ.

Я обѣщаю тебѣ терпѣть, я постараюсь выносить и выходить мое дитя. Я вѣрю, что къ тому времени, когда оно вырастетъ, многое перемѣнится и еще мо-

жетъ быть, все будетъ хорошо для насъ съ тобою. Иди насъ, мама, мы приѣдемъ къ тебѣ, я и мой ребенокъ, мы твои, только твои!

Сейчасъ вернется Генрихъ, мнѣ нужно успѣть отправить письмо. Я не хочу, чтобы онъ зналъ его содержаніе.

Прощай, моя мама, благослови меня.

Еще одно слово... Мамочка, если бы возможно было вернуть прошлое... Если бы сейчасъ возможно было убѣжать къ тебѣ и спрятаться около тебя...

Неужели и письма отъ тебя не получу я до конца войны?

Найди возможность написать мнѣ. Забудь, что я не послушалась тебя и вышла за Генриха. Теперь я пойму малѣйшій намекъ и сдѣлаю все, какъ ты скажешь... Скажи же только, что мнѣ дѣлать?

Видишь ли... я все не могу написать тебѣ самага главнаго... Это такъ сложно и страшно... Я любила Генриха, это для меня вѣ сомнѣній. Правда, я не думала, что онъ нѣмецъ, а я русская, и могутъ быть вопросы, на которыхъ мы никогда не сойдемся, но мы сходились на главномъ для насъ въ то время, на любви. Теперь я начинаю понимать, что та любовь, которая сблизила насъ, была, съ моей стороны, не настоящая любовь, а только увлеченіе, страсть, можетъ быть... Онъ увѣряетъ, что съ его стороны была и есть глубокая любовь. Тѣмъ хуже, тѣмъ тяжелѣе, потому что моя страсть, какъ вѣроятно, всякая страсть, чѣмъ сильнѣе вспыхнула, тѣмъ скорѣе погасла. Мнѣ кажется теперь, что общаго между нами никогда не будетъ ничего. Ребенокъ? Я хочу, чтобы ребенокъ былъ только мой...

Дѣлаю приписку на вокзалѣ. Генрихъ вышелъ. Поѣзда еще нѣтъ. Публики столько, что я не знаю, какъ все мы помѣстимся. Пишу карандашемъ на подоконникѣ. Не безпокойся, мама. Я вполне владѣю собой. Все вокругъ до того растеряны, такъ много малодушныхъ, трусливыхъ, эгонстовъ... Я не хочу осуждать, но я не хочу сама быть такой. Я твоя дочь и буду достойна тебя.

Это ничего, что я ѣду въ враждебную страну, къ чужимъ мнѣ людямъ и съ человѣкомъ, который сталъ мнѣ чужимъ, все эти условности такой пустякъ въ сравненіи съ тѣмъ, что теперь предстоитъ пережить каждому.

Я вѣрю, что моя родина, великая Россія выйдетъ побѣдительницей изъ этой ужасной войны. Я вѣрю, что мой ребенокъ будетъ русскимъ, хотя отецъ его нѣмецъ. Я вѣрю, что я еще увижу тебя, моя мама, и буду жить на моей родинѣ. А тамъ, у нихъ, я буду настоящей русской женщиной, я сумѣю нести гордо и терпѣливо мой крестъ и выйду и я, какъ моя родина, побѣдительницей изъ посланнаго испытанія. Еще вѣрю я, что ты меня простила, мама моя, и что ты будешь охранять насъ твоей молитвой, меня и дѣтку...

Пора... Я бѣгу опустить письмо...

Всеми мыслями, всей душой я буду съ тобой, мама, и съ моей родиной» .

Е к а т е р и н а Э к ѣ .

ВЪ Д О Р О Г Ъ.

Глухая почь. Уснулъ вагонъ.
Въ купѣ едва горитъ свѣча.
Встревоженъ мой дорожный сонъ,
Слеза неожиданно горяча.
Но заглушаютъ тихій стонъ
Колеса, яростно стуча...

И вотъ стою я у окна,
Смотрю въ поля, въ нѣмую муть,
Душа разлукою полна...
Возможно ль сердцу отдохнуть?
Снѣга и тусклая луна,—
Все дальше, дальше долги путь.

Мелькнутъ кусты, обрывъ рѣки,
Съ тяжелымъ шумомъ темный мостъ.
Сторожевые огоньки,
Какой-то одинокій постъ...
Мнѣ не забыть своей тоски,
Ты, сердце бѣдное,—погостъ!

Ты помнишь все, что не вернуть,
Что безвозвратно отошло...
Въ нѣмую снѣговую муть
Гляжу въ оконное стекло.
О, еслибъ все забыть, заснуть!
И изнемогъ, мнѣ тяжело...

Николай Ашукинъ.



П О С Т О М Ъ.

Отецъ Иванъ съ молитвой и крестомъ...
Отъ старой ризы—запахъ тлѣнья...
Бывало, слушаю рождественскимъ постомъ
Домашняго молебна пѣнопѣнья.

Отъ сыроватыхъ, вымытыхъ половъ,
Отъ розовыхъ мерцающихъ лампадокъ,
Отъ бѣлыхъ скатертей угольничковъ-столовъ
Мой дѣтскій день, мой дѣтскій праздникъ сладокъ.

Арсеній Бибииковъ.

И Н В А Л И Д Ъ.

— Запято!—свирѣпо заревѣлъ кто-то, приподнявшись, когда проводникъ раскрылъ дверь купэ.—Къ чорту! Раненые.

Вездѣ было набито биткомъ. Сидѣло по пять, по шесть человекъ. Безнадежно разведя руками, проводникъ исчезъ, а я усѣлся въ коридорѣ вагона на свой чемоданъ и сталъ терпѣливо ждать.

Поѣздъ то шелъ, то останавливался, то снова трогался и опять надолго замиралъ. Иногда сзади нарасталъ тяжелый гулъ и мимо съ лязганьемъ катились безконечныя вагоны. Насъ обгоняли вопиющіе поѣзда. При свѣтѣ тусклыхъ огней было видно, какъ проворно выскакивали и бѣжали съ чайниками солдаты и я смотрѣлъ на нихъ, думалъ о томъ, что пропеходитъ тамъ, куда ихъ везутъ, дремалъ и слушалъ густой храпъ, несущійся изъ-за дверей плотно закрытыхъ купэ.

Утромъ, спотыкаясь о мои венцы, заспанные пассажиры оглядывали меня съ презрительнымъ недоумѣніемъ—неудачниковъ презираютъ даже въ вагонахъ. Открылось, наконецъ, и то купэ, въ которомъ такъ сурово встрѣтили меня вчера. Оттуда вышелъ сначала безусый прапорщикъ съ унылымъ лицомъ, за нимъ красивый, съ энергично закрученными усами поручикъ и послѣ нихъ, горбясь и дергая ногами, выльзъ высоки, сѣрый капитанъ.

Онъ-то и крикнулъ вчера на меня такъ свирѣпо. Теперь же, съ трудомъ пробравшись мимо, онъ кинулъ на меня быстрый взглядъ, а возвращаясь назадъ, остановился, задергался, стукнулся кофѣномъ о стѣнку и, сердито еказавъ:—а, чортъ!—участливо обратился ко мнѣ.

— А вы такъ и прокашителили безъ мѣста цѣлую ночь?

— И вотъ такъ всегда,—говорилъ онъ черезъ полчаса, когда я уже сидѣлъ въ очищенномъ для меня уголкѣ, а онъ лежалъ, поднимая вверхъ то одну, то другую ногу.—Какъ сунется сразу новый человекъ, такъ сначала такъ бы ему, кажется, глотку и перервалъ. А обнюхаетъ и ничего. Даже пріятно.

Кромѣ трехъ офицеровъ въ купэ былъ еще молодой американецъ. Онъ сидѣлъ у окна прямо, какъ палка, и хотя не понималъ ни слова по-русски, но чувствовалъ себя, повидимому, превосходно. Безусый прапорщикъ фхалъ на войну. Отъ него такъ и вѣяло покорной тоской. Энергичный поручикъ, сидя въ ногахъ у капитана, говорилъ ему.

— Ну что, юноша? Все грустите и думаете, что васъ убьютъ?

— Я это знаю,—съ тихой улыбкой отвѣчалъ прапорщикъ.

— Пустяки! Вернетесь великолѣпнѣйшимъ образомъ домой и снова заживете съ вашей женой. Не надо поддаваться мрачнымъ мыслямъ.

— Я и не поддаюсь,—покорно отвѣтилъ тотъ.—Я просто чувствую, что меня убьютъ. Ну, что жъ... Это будетъ въ родѣ платы за счастье, которое я получилъ.

Очевидно, они продолжали начатый раньше разговоръ. Лежавшій капитанъ прислушался, повернулъ свое сѣрое, съ залысинами на лбу лицо и сказалъ:

— А вѣдь смотрите, васъ и въ самомъ дѣлѣ убьютъ. У васъ есть что-то въ лицѣ. У меня офицеръ въ ротѣ все говорилъ:—убьютъ, убьютъ,—и вѣдь ухлопали. Только высунулся изъ окопа, трахъ—шрапнелью и прямо, какъ рѣшето. Пуль десять попало. Такъ у него было вотъ такое же лицо, какъ у васъ.

Я посмотрѣлъ на капитана. Рѣшительно этого не надо было говорить, такъ какъ прапорщикъ сразу сталъ еще грустнѣе. И въ то же время было ясно, что капитанъ могъ такъ говорить, потому что у него было что-то очень ужъ простое въ глазахъ.

Но я не дослушалъ разговора. Безоппная почъ давала себя знать и у меня слипались глаза. Улучивъ моментъ, я взобрался наверхъ, вытянулся тамъ и сразу заснулъ, а когда часа черезъ два спустился внизъ, то все было попрежнему: американаецъ смотрѣлъ въ окно, прапорщикъ сидѣлъ съ тихимъ уныніемъ на лицѣ, энергичный поручикъ разливалъ чай, а капитанъ лежалъ на своемъ мѣстѣ, поднимая вверхъ то одну, то другую ногу, и стоналъ.

— Выспались?—дружелюбно обратился онъ ко мнѣ и, охая, прибавилъ:—А у меня всѣ трещины болятъ.

— Ну, берите же вашъ стаканъ, капитанъ,—говорилъ ему энергичный поручикъ.

— О-хо-хо!—стоналъ тотъ.—Весь я пустой, весь я пустой!..—Бережно спустивъ ноги, онъ сѣлъ, сказавъ:—И въ самомъ дѣлѣ, хоть водицей себя, что ли, налить?—потянулся къ стакану и началъ смѣяться: протянутая рука запырнула во всѣ стороны, такъ что пришлось перехватить ее другой рукой.

— Вотъ,—проговорилъ онъ.—Одна прошла, а эта все пляшетъ. Все не можетъ забыть, какъ я пальцами окопъ себѣ рылъ.

— Но пѣтъ, вы скажите мнѣ,—глотнувъ чаю, оглядѣлся онъ кругомъ.—Идиотъ я, или пѣтъ? Вмѣсто того, чтобы сидѣть себѣ въ Москвѣ, у родныхъ, надо было тащиться чуть не за двѣ тысячи верстъ! Недѣля туда, недѣля назадъ, дорога чуть не сто рублей, и все можно было устроить по почтѣ. Не иначе, какъ эта проклятая контузія вышибла у меня послѣдній умъ. Въѣхало вотъ точно дышломъ въ башку, сѣлъ на поѣздъ и покатилъ.

— И знаете, для чего?—обратился онъ прямо ко мнѣ.—А для того, что остался у меня тамъ старый чемоданъ—забылъ его внопыхахъ—а въ чемоданѣ мундиръ. Такъ непременно сталъ онъ мнѣ нуженъ. Теперь вотъ везу его и ругаю себя на чемъ свѣтъ стоитъ.

— Вы понимаете!—съ настоящимъ отчаяніемъ продолжалъ онъ.—Вѣдь эти двѣ педѣли я могъ бы провести у своихъ. У меня племянница есть—играетъ на рояли, какъ Богъ. Слушаю и плачу. Сколько бы я ее послушаться могъ! А сколько бы здоровья накопилъ! А мнѣ больше мѣсяца лѣчиться нельзя.

— Ну, капитанъ,—успокоительно замѣтилъ энергичный поручикъ,—полечитесь и побольше. Надо произвести основательный ремонтъ. У васъ здорово таки расхлябались всѣ винты.

— Что вы, что вы!—испугался капитанъ.—Какъ можно! А рота-то какъ? У меня теперь вся рота новая—старыхъ всего человѣкъ пятьдесятъ. Надо ихъ, батюшка, узнать. Нѣтъ, нечего тутъ и говорить! Я и теперь ужъ еле здѣсь сижу. Тѣломъ здѣсь, а душой тамъ. Нѣтъ, еще недѣльку, и въ путь.

Онъ замахалъ руками, и руки опять принялись сами собой плясать. Сразу потухнувъ, капитанъ легъ и жалобно проговорилъ:

— Весь пустой! И здоровъ весь, и цѣло все, а точно выпотрошили изъ меня все путро. Вотъ жукъ иной разъ такъ на дорогѣ лежитъ. По виду жукъ, какъ жукъ, а шевельнешь—одна кожа. Такъ вотъ и я. О-хо-хо-хо-хо!..—и безнадежно скрестилъ руки за головой.

— Вы были ранены, капитанъ?—спросилъ его я, но онъ только взглянулъ на меня и, не отвѣтивъ, жалобно продолжалъ.

— Ночью спишь, спишь, и вдругъ тебя пачпеть засовывать въ мѣшокъ, такъ что заревешь отъ страха, какъ быкъ. Проснешься утромъ, видишь ясно, что остается тебѣ одно—кончать—больше никакихъ ходовъ, а дряблость такая, что пальцемъ не можешь пошевелить. Днемъ разойдешься, стрѣльнетъ тебѣ что-нибудь въ башку, и сдѣлаешь какую-нибудь чушь. Нѣтъ, плохо, плохо! Никуда не годенъ человѣкъ.

— Куда, говорите, раненъ?—вспомнилъ онъ мой вопросъ.—Да никуда. То-то вотъ и горе мое, что совѣмъ пустяки, а сталъ дрянъ. Эхъ, если бы мнѣ хоть руку, или ногу оторвало! Счастливецемъ бы былъ!

— А вы говорили, контузія?

— Ну, вотъ тоже контузія! Развѣ такія коптузіи бываютъ? Я, батюшка, видѣлъ, какъ по пастоящему контузить. Ъхалъ человѣкъ верхомъ, а тутъ какъ ахпеть, да вмѣстѣ съ лошадей его вверхъ. Лошадь векочила и дрожить, какъ осинный листъ, а онъ шмякъ! да часа четыре безъ памяти. Опомнися потомъ, полопоталъ:—бе-бе-бе...—и опять безъ памяти. А у меня что? Сижу себѣ въ окопѣ и говорю солдату:—Ну ко, Семеповъ, дай, братъ, сухаря.—Взялъ въ ротъ, пачалъ сосать, и вдругъ вверхъ ногами! Только сухаремъ подавился. Ну, конечно, потомъ иногда въ глазахъ темнота. Нѣтъ, контузія развѣ подбавила немножко, а главное, я думаю, оттого, что я пальцами себѣ окопъ рылъ.

— Это какъ?

— Да такъ, въ землю уйтн хотѣлъ. И понимаете,—продолжая, очевидно, какой-то прежній разговоръ, обратился онъ къ энергичному поручику,—проснулся сегодня утромъ, лежу и думаю о томъ, какъ у меня гнусно сложилась жизнь—возрастъ уже тридцать-семь, нѣтъ ни жены, ни дѣтей, одна рота, да и ту не разберу, люблю, или нѣтъ, кажется, скорѣй не люблю. Захотѣлъ потомъ вспомнить:—а пу ко, гдѣ же это я землю пальцами рылъ?—Вспоминалъ, вспоминалъ, такъ и не могъ—все имена позабылъ! Подумалъ потомъ:—Ну, хорошо, а что же, вообще, я помню?—И оказывается, ничего. Три мѣсяца въ походѣ, а только и осталось одно, что идемъ. Днемъ идемъ, почью идемъ, и въ солнце, и въ дождь, и въ холодъ, и въ тепло—все идемъ. Идемъ и спимъ. И я сплю, и лошадь у меня спитъ, и солдаты спятъ—только грязь: чвакъ, чвакъ. И больше ничего. Ни атакъ, ни окоповъ, ни городовъ, ни деревень, ничего не помню. Все позабылъ. Нѣтъ, еще помню одно. Сидимъ въ окопѣ, вытаскиваю папироску—а я съ собой ихъ десять тысячъ штукъ взялъ, да племянница мнѣ портенгаръ въ родѣ чемодана пода-

рила—чуть не полтысячи влѣзаетъ въ него—такъ вытану папирску, хочу закурить, взгляну кругомъ, и со всѣхъ сторонъ ко мнѣ умильные морды—такъ и смотрять: дескать, угостить, или нѣтъ? Ну, чортъ съ вами, сейчасъ же на двухъ по папирскѣ и разошлешь. Вотъ это только и помню, а больше ничего.

— А какъ землю пальцами рылъ,—снова обратился опъ прямо ко мнѣ,—это помню. Точно выжгло во мнѣ. Удивительно ясно помню. И деревню, и болото, и позиции—все помню. Понимаете, вотъ такъ деревня, а за деревней большущее болото, а за болотомъ австрійцы, и надо намъ ихъ вышибать. И, конечно, они ждуть, что мы полѣземъ напрямкомъ, а мы рѣшаемъ ихъ надуть. И вотъ, дается мнѣ такая задача: пока наши будутъ дѣлать обходъ, произвести съ ротой фальшивую атаку во фронтъ. Ну, конечно, чего узя тутъ—прямо, стало-быгъ, полный разстрѣлъ. И веду, понимаете, роту къ деревнѣ, проходимъ черезъ гороховое поле, такъ вся рота давай горохъ рвать. Даже обидно стало—и сыты, только что обѣдъ съѣли, и сами знаютъ, что на смерть идутъ, а все-таки надо въ послѣдній разъ этой прелести пожрать.—Ребята,—говорю,—смотрите, плохо будетъ!—Ну, и конечно, сигналъ къ атакѣ, а у нихъ животы схватило. Положимъ, и жутко было. Наша артиллерія сзади, австрійская спереди, надъ головой точно лѣние воютъ, а какъ вышли изъ деревни да развернули цѣпь, такъ, понимаете, какъ пошло! Деревню австрійцы сейчасъ же зажгли—снарядъ съ одного боку, снарядъ съ другого, снарядъ въ средину—запалась она, какъ можжевеловый кустъ, а мы по этой плюминации впередъ. И тутъ, понимаете, точно ураганъ—пулеметы, ружейный огонь, шрапнель, снаряды—такая музыка, что нѣтъ никакой возможности, какъ бѣжали, такъ сразу же всѣ на животы и только лопаты мелькаютъ, да земля вверхъ летитъ. А рядомъ со мной топяосенькое деревцо. Приткнулся я за нимъ—деревня горитъ, рота моя, болото, окопы—все, какъ на ладошкѣ, а сверху такъ и сыплеть. Обсыпаетъ меня листьями и сучками, деревцо только встряхивается, какъ живое, солдатники мои зарылись, какъ кроты и лопатки впередъ выставили, а я лежу на виду и въ головѣ одно:—Сейчасъ убьютъ!—Какъ треснетъ вверхъ, такъ сейчасъ же:—Вотъ эта убьютъ!—А тутъ, понимаете, цѣлыми букетами, цѣлыми букетами, такъ что только вой въ ухахъ, и помню ужъ одно: хочу уйти, какъ можно глубже въ землю, рою ее пальцами и на голову сыплю. И что вы думаете—вѣдь вырылъ такъ себѣ ямку, втиснулся въ нее, и сверху шашкой прикрылся!

— А потомъ?

— А потомъ деревня догорѣла, пальба прекратилась и я повелъ роту на соединенье съ полкомъ.

— А окопы взяли?

— Взяли,—равнодушно отвѣтилъ капитанъ и уныло прибавилъ:—окопы-то взяли, а у меня тутъ, должно быть, и соскочило что-то съ винта, а педѣли черезъ три подбавило еще. Шли вотъ также въ атаку, залегли, потомъ побѣжали и вдругъ—трахъ!—точно палкой меня по ногѣ. Упалъ носомъ въ грязь, перевернулся, хочу съѣсть и въ то же время хлопъ!—да въ ту же ногу, только повыше, еще разъ. Боже ты мой!—Ну, думаю,—сейчасъ еще выше и прямо въ животъ!—И, понимаете, такой ужасъ, что хоть опять въ землю уйти. На перевязочномъ чортъ знаетъ что—чуть не истерика, и Бога, и чорта клянупа, а на повѣрку вышло, что первая шрапнелька икру чуть-чуть пробрала, а вторая такъ сама изъ брюкъ вытряхнулась—па излетѣ уже была.

— У васъ, капитанъ,—авторитетно вмѣшался энергичный поручикъ,—ранено не столько тѣло, сколько первы, душа. Вы плохо питались, сильно устали и истощились. На этой почвѣ все и произошло. Просто-напросто, вамъ надо хорошенько отдохнуть.

— Не надо было мнѣ уѣзжать оттуда!—яростно схватился капитанъ.— Вотъ въ чемъ главная суть. Вѣдь какъ я молилъ:—ради Бога, оставьте вы меня здѣсь, какія же это раны!—Такъ нѣтъ. Вотъ такъ же, какъ вы:—Надо отдохнуть, надо отдохнуть!—Да нельзя,—говорю,—мнѣ отдыхать. Я размякну совѣзмъ!—Ну, вотъ тебѣ и отдохнулъ! Тамъ бы я тянулся, или къ лѣшему! ухлопало бы меня, а выльзъ изъ пекла, нюхнулъ другой жизни и сканутился совѣзмъ.

— Ужъ сказать, что ли, все?—приподнявшись на локоть, съ отчаяніемъ обратился онъ ко мнѣ.—Ухъ! Презирайте меня! Понимаете, страхъ меня одо-лѣлъ! Даже не страхъ, а чортъ знаетъ что. Какъ вотъ подумаю, что опять буду лежать и пальцами землю рыть, такъ точно въ мѣшокъ меня головой и хоть сейчасъ же пулю себѣ въ лобъ. Болѣзнь, болѣзнь! Самъ знаю, что болѣзнь, что ка-кая-то тамъ штука въ нервахъ произошла, да развѣ мнѣ легче отъ этого? Я понимаю, если бы мнѣ руку, или ногу отхватило, ну, тутъ ужъ лежи себѣ и кряхти, а какъ же я могу, весь цѣлый, здѣсь сидѣть! Да вѣдь рота-то моя тамъ, вѣдь бои-то идутъ, вѣдь шрапнелью-то жарятъ въ нихъ! Да меня здѣсь стыдъ живьемъ заѣстъ! Нѣтъ, нечего тутъ. Я такъ и рѣшилъ: поживу еще недѣльку, потомъ удеру и опять въ окопъ. А если еще что такое произойдетъ, такъ къ чорту!—прямо револьверъ и въ башку.

Г. Яблочковъ.



ПѢСНЯ О РАЗСВѢТѢ.

Нѣтъ, струнъ моей души, малютка, не тревожь —
Звонъ сладостныхъ молитвъ умолкъ въ ихъ строѣ;
Въ годину бѣдствій—въ сердца только дрожь
И сѣтуетъ душа, какъ море грозное.

Родная жизнь, какъ стебель камыша,
Колеблется во мглѣ надеждъ неясныхъ
И смотритъ въ даль, усталостью дыша,
Какъ странница въ пустынѣ горь безгласныхъ...

Когда же мы придемъ сквозь боль вѣковъ
Къ той пристани безбольной всѣхъ алкапій,
Гдѣ намъ сверкнетъ, раскинувъ синій кровъ,
Просторъ небесъ, ликующихъ безъ граи?..

Нашъ путь—во мглѣ, безмѣренъ древній гнетъ,
Поить сердца и думы лишь печалью...
И ветхою часовней въ мѣрѣ ждетъ
Родная жизнь молитвы тихой счастья...

Нѣтъ, струнъ моей души, малютка, не тревожь—
Пѣвучихъ словъ любви ты жаждешь тщетно!
Въ ночь рабскихъ пытокъ, вся тоска и дрожь
Въ моей душѣ—одинъ напѣвъ разсвѣтный...

А л . Ц а т у р і а н ъ .

Переводъ съ армянскаго
(по рукописи) Ю. Балтрушайтиса.



А. М. Васнецовъ
«Золотая рыбка».



КЛИЧЪ МУЗЫКА



1915
Г.

ИЗЪ ЕВАНГЕЛІЯ ОТЪ ІОАННА.

(Гл. XV, ст. 13.)

С. Рахманиновъ.

Довольно медленно.

Голосъ.

Довольно медленно.

Piano.

Больши се я люб . ве ни . кто . . . же и . мать , да кто

ду . шу сво . ю — по . ложить за дру .

усиливая звукъ и ускоряя

mf

p

f *задерживая*

Г И С В О

задерживая *л. р.*

mf

Я.

mf

р *вз* *прежнемъ* *темнѣ*

mf *п. р.* *f*

р *pp*

С. Рахманиновъ.
16-го Февраля 1915.

РУССКАЯ ПѢСНЯ.

Обработка А. Глазунова.

Canto. *Andante.*

Не ве - лять Ма - шѣ за рѣ - - - за -

Piano. *Andante.*

p

рѣ - чень - ку хо - дить, Не ве - лять Ма - шѣ мо - ло..... ахъ мо -

лод - чи - ка лю - бить. А мо - лод - чикъ

a tempo *mf*

то лю - би - - лю - би - тель до - ро - гой онъ не

чув_ству_етъ лю - бо.... лю - бо - ви ни ка - кой

rit. *a tempo*

Ка - ко - ва лю - бвь на свѣ - на свѣ - ть го - ю -

mf

за сто - ить Ма - шень - ка за - пла.... за - пла - ка - ны гла -

за.

mf *dim.* *pp*

А. Ткачевъ

АРИОЗО ОЛЕ

Изъ 3-го акта оперы „ОЛЕ ИЗЪ НОРДЛАНДА“

М. Ипполитовъ-Ивановъ.

Andantino quasi Allegretto.

Canto. *mf*
Въз - ту чуд-ну-ю

Piano. *p*

mf
ночь на-ка-ну-нѣ вѣн-чанъ - я, я хо-тѣлъ бы съ то-бой го-во-

mf *p*

mf
рять безъ кон-ца. Я хо-тѣлъ бы глѣ-дѣть въ твои див-ны-я

p

mf
о - чи и мо-лю объ од-номъ что бы ми-гъ э-тотъ длил-ся бы

mf

mf poco accelerando e crescendo

вѣч - но. Пусть намъ свѣ-тить лу - на, и мер -

p poco accelerando e crescendo

mf

ца - ють сѣне_бесѣ звѣз - ды крот - кі - я намъ, ти_химъ свѣ_томъ сво -

mf

mf

имъ. Пусть о - ку - та - етъ насъ

mf

p

но_чи тьма *pp* ти_ши_но_ю сво_ей

p *pp*

p riten. *a tempo* *p*

Мысль бо ю од ни... Я хо чу го во

p *mf*

рять лишь о томъ какъ люб лю я, какъ люб лю я те бя, какъ ты

mf *p*

миѣ до ро га, мо я Гер да! Въэ ту чуд ну ю

p *p*

ночь, въэ ту див ну ю ночь я хо тѣлъ бы съто

p *pp riten.*
о́й го - во - ритъ безъ кон - ца, безъ кон -

a tempo
ца!

p a tempo *mf*
pp

p *pp*

M. Schubert

БЪЛГРАДЪ. ВЕЛЕНГРАД.*)

СЛОВАЦКАЯ НАРОДНАЯ ПѢСНЯ.

А. Гречаниновъ.

Moderate.

1.(3.5.) Ты, Бѣлградъ мой, Бѣлградъ, ты мо-гу-чій у-тебъ!
 Bě-le-hrad, Bě-le-hrad, ty vy-so-ká-ska-la!

Мно-го слезъ, горькихъ слезъ ты ма-те-рямъ при-несъ,
 Ne jed-na ma-tie-ka, ne jed-na ma-tie-ka

Взяв-ши ихъ сы-но-вей... 2.(4) Сле-зы те-
 sy-na o-pla-ka-la... Pla-ka-la

rall. *a tempo* *rall.* *a tempo* *Fine.*

кутъ рѣкой, сердце пол-но тос-кой, Слезь по-токъ въ камень бьетъ,
 i pla-ce, sl-zy jej ra-da-ju, Na tvr-dom ka-me-ni,

*) „Sbornik slovenských národních písní, pověstí“ etc., vydává Matice Slovenská. Svazok I, vo Viedni, 1870, p. 7, № 2 Спр. Mich. Chrástok, „Veniec“ 22.

rall.

въ томъ кам.нѣ я . му рветъ, Въ кам.нѣ я . му рветъ...
 na tvr.dom ka.me.ni ja . mu pre . bi . ja . jú...

3. Дѣва груститъ въ слезахъ, въ сердцѣ горе и страхъ,
 —Гдѣ-же ты, милый мой? Жду друга я домой
 Изъ края дальняго.
4. Все вѣсти мнѣ несутъ, тяжело душу гнетутъ,
 Что въ кровавомъ бою за родину свою
 Паль милый мой навѣкъ!
5. Мать вскрикнула моя:—осѣдлайте коня,
 За духовнымъ отцомъ скачите поскорѣй,
 Смерть близится ужъ къ ней!...

-
3. Oplakava milá teŕ svojho milého,
 Ze se jej nevraca, že se jej ne vraca
 Zo světa širého:
 4. —Zavše mi noviny za novinami šly,
 Ze mojho milého, že mojho milého
 Na vojně zabili!
 5. —,Jaj!“ Zkřikla mamička: „sedlajte konička,
 Jedte pre farara, jedte pre farara,
 Umera Anička!“

A. Právník

Moderato.

Piano.

1. Ро - ди - ма - я Нит - ра, Нит - ра до - ро - га - я!
1. Ni - tra mi - la, Ni - tra, ty vy - so - ka Ni - tra!

rall.

Poco più mosso.

Гдѣ бы - лы - я лѣ - та тво - е - го рас - цвѣ - та
Kde zé sú tie sa - sy, kde zé sú tie sa - sy,

rall. a tempo

и сла - вы тво - ей? тѣ - ня?
v ktorých si ty kyi - tla?

mf

più f e rall.

- | | |
|--|--|
| 2. Родимая Нитра, мать словаковъ, Нитра, —
На тебя гляжу я, весь въслезахъ, тоскуя,
Плача о быломъ.... | 2. Nitra milá, Nitra, ty slovenská mati!
So pozrem na teba, čo pozrem na teba,
Musim zaplakati. |
| 3. Была ты главою надъ страной родною,
Надъ родимымъ краемъ — Вислой и Дунаемъ,
Родиною всей... | 3. Ty si bola nekdy všetkých krajín hlava,
V ktorých teče Dunaj, v ktorých teče Dunaj,
Visla i Morava. |
| 4. Твоя слава скрылась, тѣнью вся затмилась:
Такъ проходятъ годы счастья и свободы
Безвозвратнымъ сномъ... | 4. Teraz tvoja sláva v teni skrytá leži:
Tak sa casy menia, tak sa casy menia,
Tak tento svet beži! |


*) „Sborník slovenských národných piesní, povestí“ etc., vydava Matice slovenská, zväzok I, vo Viedni, 1870, p. 7, № 1. Срв. J. Kollar, „Narodny Zpíevanky“, d. I, str. 29. Нитра — бывшая столица Нитрянскаго словацкаго княжества, вошедшаго въ составъ Австрійской монархіи.

PRÉLUDE.

А. Скрябинъ. Op. 74 № 2.

Tres lent, contemplatif.

Piano. *pp*



pp *dim.* *smorz.*



A. Scriabin

ИЗЪ „АНТИЧНОЙ СЮИТЫ“
„СПЯЩАЯ РЪКА“

С. Василенко.

Andante con moto e teneramente.

Piano.

p dolce *poco string.*

piu sostenuto *p* *piu p* *cresc.* *marc*

poco string.

rit. *cresc.* *mf*

a tempo *poco string.* *piu sosten.*

affrettando

pp marc. cresc. mf

più tranquillo rit. Poco più mosso.

pp p p

cantando cresc.

appassionato e con moto accelerando molto

stringendo

relocissimo

f *meno f*

poco meno mosso

p

rallentando

m.d. *pp* *p*

Tranquillo. *ritard.*

p *pp* *p* *p*

Tempo I. *poco string.* *poco sos.*

poco string. *poco sos.*

tenuto *affrettand.*

pp *cresc.*

piu tranquillo *rallent.* *a tempo*

p

riten. *a tempo* *poco piu*

pp

mosso *riten.*

riten.

a tempo *Sostenuto.*

Sostenuto.

Сергей Васильевич

„MIRAGE“

Арсений Корещенко.

Andante con moto.

Violino. *con sord.*
p *mp* *mf*

Piano. *p* *mp*

a tempo
espress.
dim. e rit. *p* *mf* *cresc.*

dim *rit.* *mp* *cresc.*

dim. poco rit. *p* *mf*

dim. poco rit. *sf*

f *dim.* *rit.* *p* *molto rit.*

f *dim.* *rit.* *p*

Quasi improvvisato e poco a poco in tempo.

First system of musical notation. The upper staff (treble clef) begins with a piano (*pp*) dynamic and a *mf* dynamic later. The lower staff (piano) also begins with a piano (*pp*) dynamic. The music is in a key with one flat and a 3/4 time signature.

Second system of musical notation. The upper staff is marked *pp* and *senza sord.*. The lower staff is marked *pp* and *cresc.*. The music continues with dynamic markings and articulation.

Third system of musical notation. The upper staff is marked *senza sord.*, *mp*, and *dim.*. The lower staff is marked *mp* and *dim.*. The music features complex rhythmic patterns and dynamic changes.

Fourth system of musical notation. The upper staff is marked *(4 corde)*, *p*, and *poco a poco cresc.*. The lower staff is marked *pp*. The music concludes with a *pp* dynamic.

First system of musical notation, featuring a vocal line and piano accompaniment. The piano part includes the instruction *accelerando*.

Second system of musical notation, continuing the vocal and piano parts. The piano part includes the instruction *ff*.

Third system of musical notation, featuring a vocal line with a trill and piano accompaniment. The piano part includes the instruction *ad libitum*.

Fourth system of musical notation, featuring a vocal line with a long melisma and piano accompaniment. The piano part includes the instruction *molto cresc.* and *Adagio.* The system concludes with *rit.*, *ff colla parte*, and *m. d.*

Арсений Корецкий

О Г Л А В Л Е Н И Е.

	стр.
Л. Авилова.—Покой	7
Д. Айзманъ.—Удачный случай	15
Ю. Балтрушайтисъ. Стих.—Напутствіе	19
Вячеславъ Ивановъ. Стих.—Рождество.—«Finis Bellonae».	20
Леонидъ Андреевъ.—Младость	21
К. Арсеньевъ.—Новыя орудія разрушенія	35
К. Бальмонтъ. Стих.—Ирландская дѣвушка	38
К. Баранцевичъ.—Маразмъ	39
А. Блокъ. Стих.—Въ чужбину по гудящей стали	42
Ю. Веселовскій. Стих.—Изъ Вьеле-Гриффона	42
Ф. Батюшковъ.—Ооъ оптимизмѣ Верхарена	43
Валерій Брюсовъ. Стих.—Пиршество войны	46
Ив. Бунинъ.—Грамматика любви	47
В. Вересаевъ.—Къ Деметрѣ.—(Изъ Гомеровыхъ гимновъ)	54
А. Е. Грушинскій.—Изъ «Шах-Наме» Фирдуси	66
Ив. Бѣлоусовъ. Стих.—Идетъ дорога подъ гору	70
Зинаида Тулубъ.—Стихотвореніе	70
Серг. Глаголь.—Мойше Іохидеъ	71
Н. Давыдовъ.—Изъ прошлаго	73
Г. Вяткинъ. Стих.—Прощаніе	86
И. Петровскій. Стих.—Скалистый финскій кражъ	86
С. Елпатьевскій.—Ольриджъ и Шевченко	87
Мих. Гальперинъ. Стих.—Врагъ	90
Павелъ Тулубъ. Стих.—Въ Дигъпровскомъ лиманѣ	90
Бор. Зайцевъ.—Жизнь и Смерть	91
Л. Мунштейнъ. Стих.—Нѣтъ больше радости	94
С. Кондурушкинъ.—Наташа Дядина	95
А. О. Кони.—Земноводный Кругъ	99
Гр. Ф. Л. Соллогубъ.—Неизданныя стихотворенія	109
Н. Крашенинниковъ.—Тишина	111

	стр.
Вл. Ладыженскій. Стих.—Хмуры сумерки	118
Н. Каревъ. Стих.—Нѣтъ, Богъ аскетовъ	118
Л. Нелидова.—Встрѣча	119
Вл. Гиляровскій. Стих.—Узникъ	126
Ада Чумаченко. Стих.—Свѣтлое дѣтское платье	126
М. Пришвинъ.—На братской линіи	127
Е. И.—Стих.—Поздняя осень	130
А. Петровскій. Стих.—Донъ зимою	130
А. Серафимовичъ.—Золотой якорь	131
В. А. Слѣпцовъ.—Сцены у мирового судьи	135
П. Сухотинъ. Стих.—Сжигало солнце	144
А. Ширяевецъ. Стих.—Зимнее	144
И. Сургучевъ.—Прихожане прелестной Маріатты	145
А. Оедоровъ. Стих.—На войнѣ	150
С. Мамонтовъ. Стих.—Артиллерійски сопеть	150
В. Тардовъ.—Храмъ Единства	151
Валеріи Брюсовъ. Стих.—Поле битвы	156
Н. Телешевъ.—Катя-вожакъ	157
Илья Толстой.—Призраки	167
К. Треневъ.—«Письма»	171
Оедоръ Сологубъ.—Два стихотворенія	176
А. Черемновъ.—Попутчики	177
А. П. Чеховъ.—Письмо къ сестрѣ	194
Н. Шкляръ.—Въ горахъ	195
Т. Щепкина-Куперникъ. Стих.—Лебеди	199
Ив. Шмелевъ.—Въ Лужскомъ уѣздѣ	201
Н. Вильде. Стих.—Оранжевая	210
В. Переплетчиковъ. Стих.—Полярная солнечная полпоча	210
Екатерина Экъ.—Послѣднее письмо	211
Н. Ашукинъ. Стих.—Въ дорогѣ	214
А. Бибииковъ.—Стихотвореніе	214
Г. Яблочковъ.—Инвалидъ	215
Ал. Цатуріанъ.—Пѣсня о разсвѣтѣ	220

Н О Т Ы.

Рахманиновъ С. В.—Изъ Евангелія отъ Іоанна	222
Глазуновъ А. К.—Русская пѣсня	224
Ипполитовъ-Ивановъ М. М.—Аріозо Оле; изъ оперы	226
Гречаниновъ А. Т.—Двѣ словацкія пѣсни: «Бѣлградъ», «Нитра»	230
Скрябинъ А. Н.—Прелюдія	233
Василенко С. П.—«Спящая рѣка»—изъ античной сюиты	234
Корещенко А. Н.—«Миражъ», для скрипки и рояля	238

КАРТИНЫ И РИСУНКИ.

	стр.
Васнецовъ В. М.—Пересвѣтъ и Ослябя	8—9
Рѣпинъ И. Е.—Портретъ Л. Н. Толстого	16—17
Васнецовъ Ап. М.—Въ осадное сидѣнье	32—33
Полѣновъ В. Д.—Рисунокъ къ картинѣ: «Кто изъ васъ безъ грѣха»?	48—49
Нестеровъ М. В.—Тихія воды	72—73
Настернакъ Л. О.—Ольриджъ и Шевченко	88—89
Васнецовъ В. М.—Единоборство Пересвѣта съ Челибеемъ	104—105
Рѣпинъ И. Е.—Этюдъ	120—121
Виноградовъ С. А.—Играетъ	136—137
Настернакъ Л. О.—Въ лазаретѣ	152—153
Лысенко А. В.—Въ блиндажѣ	168—169
Исрелетчиковъ В. В.—Берегъ Сѣверной Двины	192—193
Степановъ А. С.—Въ сумеркахъ	208—209
Васнецовъ А. М.—Золотая рыбка	220—221
Бродскій И. И.—Пострадавшие	98
Карзинкина Е. А.—Весна	41
Карзинкина Е. А.—Зимой	166
Кругликова Е. С.—Раненые	45
Лысенко А. В.—Путь сообщения	93
Шанксъ Э. Я.—«Дождалась»	85
Шанксъ, Э. Я.—Товарищамъ	129

Обложка, титулъ и графика
Георгія Пашкова.



ПОДПИСНОЙ ЛИСТЪ
на изданіе сборника «КЛИЧЪ».

Т-во В. В. Думнова, насл. Бр. Салаевыхъ, 1200 р.—Т-во И. Д. Сытина 1000 р.—Т-во М. Г. Кувшинова 850 р.—П. И. Юргенсонъ 600 р.—Контрагентство А. С. Суворина 500 р.—К^о В. Говарда 500 р.—К. К. Фихтенбергъ 500 р.—И. И. Флоръ 500 р.—Т-во И. Н. Кушперевъ и К^о 400 р.—Т-во А. А. Левенсонъ 400 р.—Т-во А. И. Мамонтова 400 р.—В. И. Бѣляниновъ, представитель Т-ва Н-въ К. П. Печаткина 300 р.—Бр. Башмаковы 200 р.—Т-во Н. П. Карбасниковъ 200 р.—А. С. Панафидина 200 р.—И. Б. Поздѣевъ, «Наука», 200 р.—Д. И. Тихомировъ 200 р.—Т-во М. О. Вольфъ 150 р.—Т-во И. М. Машистова 150 р.—Э. Э. Вальштабъ, представитель Акц. О-ва «Дубровка», 100 р.—И. П. Залѣскій, «Сотрудникъ Школъ», 100 р.—М. В. Клюкинъ 100 р.—«Московское Издательство» П. И. Крашенинникова 100 р.—Мюръ и Мерилизъ 100 р.—А. И. Поплавекій 100 р.—К-во М. и С. Сабашниковыхъ 100 р.—А. Д. Ступинъ 100 р.—Т-во «Печатня» С. П. Яковлева 100 р.—В. С. Спиридоновъ и А. М. Михайловъ 25 р.

Итого: 9375 р.

Кромѣ того, отъ Московскаго Литературно - Художественнаго Кружка поступилъ весь сборъ отъ устроеннаго 10 марта Вечера сборника «Кличъ» 573 р. 72 к.

Всего къ дню выхода книги пожертвовано: 9.948 р. 72 к.